



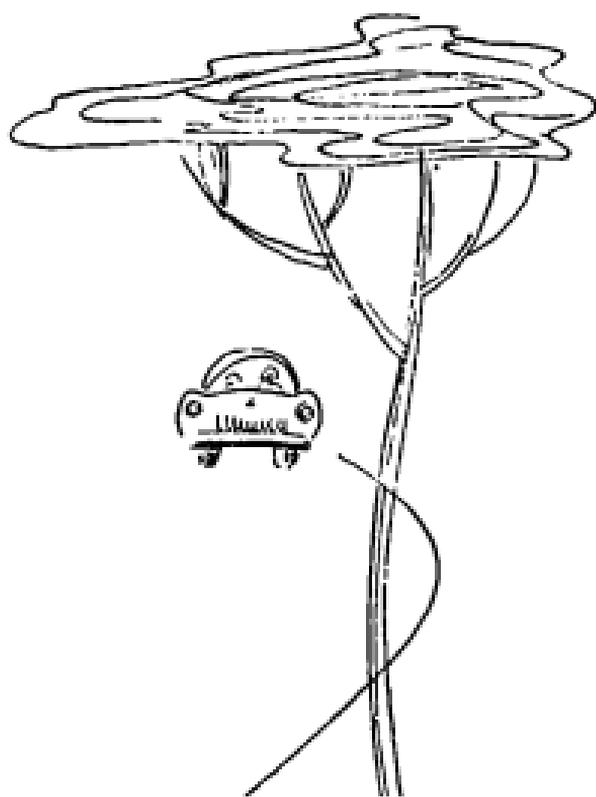
НЮЭЛЬ
КАМЕФ



**Я
ВИДЕЛ,
КАК
ЖИВЕТ
ИТАЛИЯ**



Я ВИДЕЛ, КАК



НОЗД
КАМЕФ

ЖИВЕТ ИТАЛИЯ

ПУТЕШЕСТВИЯ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФАНТАСТИКА

Noël Calef

J'AI VU VIVRE L'ITALIE

Перевод с французского
А. БРАГИНСКОГО, А. ГЕРЦЕНБЕРГА,
Л. ЗАВЬЯЛОВОЙ

Французский журналист Ноэль Калеф вместе с женой в течение четырех месяцев путешествовал на автомашине по Италии, проехав 12 тысяч километров. «Наши глаза были широко раскрыты, наш слух настроен. Мы смотрели, слушали, старались понять...» — пишет он.

Для Калефа Италия — не только гроты Капри и Амальфи, не только древности Равенны и Беневента, не только красоты альпийских озер и Неаполитанского залива. Италия для него — это прежде всего 48 миллионов итальянцев с их надеждами и заботами. О своих встречах с людьми, о том, как живет, чем дышит сегодняшняя Италия, о многих ее злободневных проблемах автор написал эту увлекательную книгу.

Оформление художника О. И. АЙЗМАНА

Во введении обычно пишут о том, о чем потом в книге не говорят.

Я всегда мечтал написать введение, но никогда ничего такого придумать не мог. На этот раз у меня, слава богу, есть одна идея. Слава богу потому, что рассказ о путешествии не может обойтись без предисловия.

Мне хотелось бы адресовать это введение некоторой особой категории читателей, появившейся на свет совсем недавно в связи с тем, что приключения под названием туризм стали доступны людям со средним достатком.

Приезжает, скажем, некто из Греции и приглашает вас пообедать. Его жена, гордая только что приобретенной кулинарной эрудицией, пытается приготовить пилав и папузакии; разумеется, она портит их, и после этого ей остается рассчитывать только на вашу вежливость. И, конечно же, вы не только отведываете, но и считаете себя обязанным попросить еще. На десерт вам подают очень сладкие лукумы, которые вызывают утихшую было зубную боль. Но ваши муки на этом не кончаются. Вас усаживают, гасят свет и принимаются показывать на экране цветные фотографии. Они тоже испорчены, да так, что вы невольно начинаете поминать добром папузакии.

Но мои слова предназначаются не этим путешественникам.

Есть еще люди вроде меня. Вместо фотографий они привозят путевые очерки. Если книга опубликована — это полбеды: когда автор подарит вам книгу, вы можете вежливо поблагодарить его и не обязаны читать. Если он спросит ваше мнение, вы можете

избежать катастрофы, призвав на помощь немножко хладнокровия. Придайте лицу выражение заинтересованности и молчите, и ваш друг подробно и обстоятельно объяснит вам (приходите ко мне, я покажу вам, как это делается), что ему пришлось ограничиться отведенным ему объемом, что пришлось отказаться от сотни интересных мелочей и что это очень прискорбно, поскольку...

Но и не его я имею в виду.

Точно так же мое предисловие отнюдь не предназначено и для путешественников-профессионалов, интересующихся в первую очередь гостиницами, казино, пляжами (есть там водные лыжи или нет), дорогами, мерами предосторожности от карманников, тем, что делать в стране, чтобы не чувствовать себя простаком, и т. д. Эти brave туристы берут с собой в багаж шоры и ухитряются провозить их через все таможни.

И уж ни в коем случае не стану я обращаться к тому парню, который орет:

— Лиры? Что ж вы раньше-то не сказали? Я покупаю их в Стамбуле через аргентинского друга, имеющего счет в долларах в Цюрихском банке.

Вся эта фауна ничего не найдет для себя в моем предисловии.

Я обращаюсь к озлобленному неудачнику, убежденному, что он испортил отпуск, заехав в никому не ведомую скучную дыру, расположенную далеко от моря, от гор и от равнин, от реки и от растительности, которому попалась плохая квартира, которого плохо кормили, за которым плохо ухаживали, когда он страдал несварением желудка или когда у него был солнечный удар. Всего этого он никогда не простит человечеству. По никому не ведомым причинам он застрял в безвестной деревне и смертельно тосковал там. Теперь он хочет заставить вас дорого заплатить за это.

Это он, обьевшись у вас в гостях пилавом, утверждает, что едал его в местах, не известных ни одному простому смертному, и именно там — это все знают — готовят лучший пилав в мире.

Это он прерывает показ цветных фотографий, говоря, что фотограф упустил самое интересное.

Это он будет ругать гостиницу, где вам жилось так удобно, и даст уже ненужный вам единственный правильный совет против воров, таможенников, автомобилистов.

Это он покупает лиры не в Стамбуле — из-за Багдадского пакта, — а в Белграде.

Это он подчеркнуто не дрогнет, когда вы, позабыв осторожность, вдруг скажете:

— Я вот был в Италии...

Италия? Так оно и есть. Вы чувствуете, как у вас в недрах желудка зарождается комплекс неполноценности. Под устремленным на вас ироническим взглядом, полным пренебрежения к любым чужим воспоминаниям, вы тем не менее — хотя уже с долей беспокойства, знакомого людям, которые непременно хотят произнести «Массачусетс» на американский лад, но не уверены в своем выговоре, — продолжаете:

— Я побывал в Риме, Неаполе, Палермо, Милане, Флоренции...

Добрый малый услужливо и насмешливо добавляет:

— В Генуе, Венеции, Болонье...

Он лучше вас знает названия городов. Не он ли целый месяц изучал их по карте?

Словом, дав вам немного поплутать и запутаться до того, что вы вообще пожалеете о своем путешествии, он отводит глаза, чтобы вы не прочли загоревшегося в них торжества, и с невинным видом спрашивает:

— А Дзинга?

Молчите, несчастный! Но поздно: вы уже попали в западню, переспросив:

— Дзинга?

— Ну да, Дзинга, что за Казабоной, между Кротоне и Корильяно. Дзинга, Дзинга?!

Если ваша злополучная звезда и в самом деле завела вас в эту Дзингу, ни в коем случае не признавайтесь в этом. Вас припрут к стенке, заставят сознаться, что вы никогда не были ни на развалинах греческого театра, ни в римском цирке, ни, наконец, в доме, где родился Тартемпиони такой-то.

— Вы, конечно, даже не читали его произведений...

Он-то, бедняга, вынужден был приняться за них, так как под рукой другого чтения не было.

А вообще я совершенно напрасно говорю вам все это. Такого человека ничто не остановит. Он будет описывать улицы, мостовые, поля, цветущие или безжизненные (в зависимости от его настроения), небо, горизонт; или заговорит о спагетти и хлебе без соли, перечислит меню своих обедов от первого до последнего, расскажет о туалетах женщин, об обстановке в домах. Обо всем. И в конце концов скажет:

— Если вы когда-либо еще поедете в Италию, непременно побывайте в Дзинге. Это типично, необычно, уникально, шедеврально.

Однако не стройте иллюзий. Это еще не конец. Это лишь хитрый, обходный маневр, за которым последует новая атака: ведь он никогда, ни за что на свете не простит вам вашего интересного путешествия, вашего восторга от шедевров искусства и того, что вам удалось открыть для себя народ и страну.

Вот ему-то, опасному, мстительному, нетерпимому к чужим мнениям путешественнику, и посвящено мое предисловие.

Я довожу до его сведения, что мы отправились втроем: моя жена Лилла, я и Пафнутий — автомобиль марки «Дофин». Мы назвали машину Пафнутием, чтобы досадить ему, этому человеку из Дзинги, так как были уверены, что ему известны все святые, кроме Пафнутия. (Впрочем, мы немного схитрили: Пафнутий не святой, а всего лишь присноблаженный.) Обрато мы прибыли все трое в отличном состоянии, проехав 12 тысяч километров и многим обогатившись за те четыре месяца, когда нам то и дело приходилось встречаться с людьми, чьи заботы и чаяния не похожи на наши. Многих мы полюбили, некоторые вызывали в нас отвращение, совсем так же, как это бывает и у нас на родине. Наши глаза были широко раскрыты, наш слух настроен. Мы смотрели, слушали, старались понять. Всего мы не увидели. И услышали не все. В книге мы расскажем лишь о том, что п о к а з а л о с ь нам понятным, когда мы увидели, как живут итальянцы.

Трудно охарактеризовать народ несколькими словами. Но если прожить в стране какое-то время и терпеливо изучать этот народ, вам откроются некоторые главные его черты, особенно если вы будете исходить из общепризнанных положений, ставших аксиомами.

Вот они:

Итальянец ленив.

Во всем мире итальянцев охотно используют как превосходных работников.

Итальянец вор, особенно на юге.

За четыре месяца итальянцы не украли у нас и булавки.

Итальянец фанфарон.

Итальянец тихоня.

Итальянки изумительно красивы.

У итальянок волосатые ноги.

У итальянцев тяжелая кухня.

У итальянцев божественная кухня.

Итальянцы невежественны.

Каждый третий итальянец *dottore** чего-нибудь.

Итальянец попрошайка.

Итальянец обладает исключительным чувством собственного достоинства.

Итальянец трус.

Итальянец умеет смотреть смерти в глаза.

Итальянец лишен чувства юмора.

Итальянец самый веселый человек на свете.

Итальянец живет своим прошлым.

Итальянец с ошеломляющей быстротой стремится в будущее.

Итальянец такой.

Итальянец сякой.

В Италии 48 миллионов итальянцев.

Что же касается Дзинги за Казабоной, то мы проехали мимо нее. Что делать, посетим ее в другой раз.

Как это ни парадоксально, но мне хочется, чтобы желчный путешественник, описанный в нашем предисловии, оказался единственным его читателем. Остальные пусть сразу приступают к первой главе.

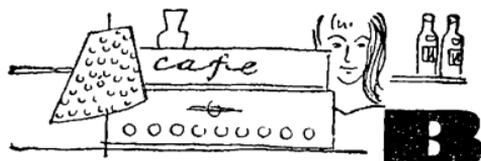
* Доктор (*итал.*).

Они будут совершенно правы, потому что эта книга в отличие от ее предисловия предназначена всем, кто любит людей.

Она посвящена всем выдающимся и рядовым людям, официальным лицам и простым гражданам, которые так горячо нас встречали, так братски принимали. Мне не хватает слов, чтобы поблагодарить всех их за любезность и отзывчивость.

Спасибо им всем от всей души!

Пьемонт



В Италию входишь как в сквер, где играют дети. Их дружный смех, крики и гомон ошеломляют вас сразу, где бы вы ни переступили границу. Мы часто бывали в Италии, и всегда первое впечатление оказывалось одинаковым. И что нас всякий раз потрясало, так это дети: место, которое им отводится в жизни, быт, в котором ребенок центральная фигура, деятельность или отсутствие ее в зависимости от все тех же *figli*, что буквально должно означать «сыновья», а в разговорной речи — «дети». От Домодоссолы до Реджо-ди-Калабрия у всех итальянцев есть общее характерное качество, независимое от их социального положения: все они обожают детей. Дети здесь повсюду: в домах, в церкви, на морском или речном берегу, на улицах, на деревьях, на тротуарах, на шоссе. Они копошатся, ковыляют, бегают, ползают на собственных задках или мчатся на мотороллерах — *figli, figli, figli*. Автомобилист обнаруживает их у себя под колесами, турист — под ногами, а одетый с иголки итальянец, которого ни за что на свете не заставить нести сверток, — на своих руках или плечах. Они осаждают вас повсюду, эти *benedetti figli**, и клячат конфетку (и какой остопоп внушил им, что туристы путешествуют, набив карманы конфетами?!). Они предлагают почистить ботинки, отворяют или затворяют

* Благословенные дети (*итал.*).

дверцу автомашины, берутся проводить до гаража, гостиницы, ресторана, на пляж, куда угодно. Это из-за них, едва ступив на итальянскую землю, словно по мановению волшебной палочки, становишься членом семьи (одним из *figli di mamma* — маминих детей) и получаешь право вмешиваться в жизнь этих детей с их грязными ушами и ногтями в трауре.

Дело не в том, что итальянец безгранично любит своих собственных детей. Он просто любит детей, *punto e basta**. Он взволнован, растроган и потрясен детьми. Мои собственные наблюдения позволяют мне утверждать, что итальянец женится не столько ради любимой девушки, сколько ради будущих детей. Именно так.

При этом ребенок не становится кумиром. Это совсем не обязательно. И здесь детей бьют, обижают, позволяют им умирать от голода и болезней. Конечно, в том случае, если их не нежат, не нянчатся с ними и не лезут из кожи вон, пичкая их до ушей всякими деликатесами вплоть до птичьего молока. Бывает даже, детей обучают хорошим манерам и разумно воспитывают. Но что исключительно и так характерно для Италии — жизнь каждого протекает здесь в непосредственной зависимости от детей.

Едва познакомившись с человеком, итальянец неизменно спрашивает:

— У вас есть дети?

Услышав отрицательный ответ, он бывает буквально ошеломлен и не умеет этого скрыть. Женщина при этом всплеснет руками и огорченно покачает головой. *Che disgrazia!* Какое несчастье! Когда собеседник оказывается соотечественником, никакая сила не разубедит ее в том, что он, вероятно, очень прогневил бога, если заслужил такое наказание. Что же касается иностранцев, например меня, то итальянцы уже привыкли к их странностям... «Правда, что вы не едите *la pasta*** перед обедом?»

Разумеется, итальянцы делятся на северян и южан... Но не будем спешить. Впереди у нас еще триста страниц, чтобы поговорить об этом...

* И все тут (*итал.*).

** Домашнее изделие из теста.— *Прим. перев.*

Мы только что пересекли границу. «Sunny Italy»* — то и дело читали мы на щитах, установленных вдоль всей дороги. Идет проливной дождь. Piove a dirotto**... Даже у неаполитанцев есть на такой случай свое выражение — chiove a ze funno***, и это доказывает, что дождь известен и на юге. Но мы никак не можем отделаться от ощущения, что туристское агентство надуло нас, лишив солнца, которое было оплачено вместе с талонами на бензин. Чтобы подбодрить себя, мы произносим на итальянский манер фаталистское «Маh!» Ма, ничего не поделаешь!

Настроение улучшается только при виде огромного плаката, по которому слезами стекает дождь: «Большая крытая стоянка для механизмов» — извещает он, не моргнув глазом, по-французски. «Механизм» — это, надо полагать, машина, автомобиль. На итальянских дорогах нужно быть начеку с этими «механизмами», иначе вам грозят incidenti; что же касается accidenti, то это уже кусок ругательства****. Это слово обозначает любые неприятности, которые только можно пожелать ближнему: от апоплексического удара до неудачи в супружеской жизни. В отдельных случаях это слово употребляется самостоятельно: accidenti! Тогда это уже так грубо, что даже неудобно растолковывать. И все потому, что, как нам сказали, итальянский язык отчасти похож на китайский. Одно и то же слово приобретает различный смысл в зависимости от интонации. Слово! А что сказать о междометиях, сопровождаемых жестами? Это ведь тоже целый язык.

Так на чем же мы остановились? Итак, мы прибыли в Боргоманеро, и надо было решать, куда ехать дальше — в Милан или Турин, с какого из этих больших городов начинать наше путешествие. Для этого необходимо было выпить кофе. На одной из улиц я остановил машину около тротуара. Полицейский тотчас покинул свой пост и, вежливо приложив

* Солнечная Италия (англ.).

** Льет через край (итал.).

*** Льет так, что можно растаять (неаполит. диалект).

**** По-французски именно «accident» значит — «несчастный случай». — Прим. перев.

руку к фуражке, объяснил нам, что в двадцати метрах отсюда находится платная стоянка автомобилей. Я спросил, нельзя ли оставить машину здесь. «Конечно, — ответил он, — разница только в том, что здесь стоянка бесплатная». — «Тем лучше», — решительно заявила Лилла. Весьма удивленный полицейский поклонился, снова взял под козырек и пошел во свояси, в свое укрытие, чтобы спокойно поразмыслить над психологией иностранцев, которые предпочитают ничего не платить и оставить машину у тротуара, тогда как за свои сто лир они могли бы упросить сторожа специальной стоянки быть настолько любезным и выделить им местечко. Впрочем, все было не так-то просто. Как мы узнали потом, итальянскому автомобилисту всюду мерещатся воры. Поэтому машину следует ставить лишь там, где сторож с нарукавной повязкой и с сумкой на животе выдает вам квитанцию. Только это и может гарантировать от кражи.

Словом, мы вошли в кафе, чтобы выпить чашечку эспresso. Но, хотя кофе был превосходным, он не помог нам принять решение. Когда мы вернулись в наш «механизм», Лилла заявила: «Турин». Она сказала это наобум, просто так. Обычно такая манера приводит меня на грань нервного потрясения. Но сегодня, отчасти оттого, что я образцовый муж, отчасти из-за имеющихся у меня особых причин посетить вначале этот город, я подчинился.

До войны Турин слыл маленьким Парижем. Теперь мы его едва узнаем.

Впрочем, люди не изменились. Они стали немножко стремительнее, но готовность услужить и гостеприимство остались прежними. Мы еще не проголодались после завтрака в Швейцарии и пообедать собирались чем-нибудь полегче. Но куда же девались их латтерии, их молочные? К нам подошел молодой человек.

— Вы не здешние? Вы что-то ищете?

Узнав, в чем дело, он вызвался нас проводить. Действительно, найти то, что нам было нужно, оказалось не так легко. Молодой человек уже не хотел нас покидать. Он отказался закусить вместе с нами и терпеливо ждал, пока мы кончим есть. Ему

очень хотелось «угостить нас кофе». Мы оскорбили бы его до глубины души, если бы предложили деньги за услуги.

Потом состоялась великолепная прогулка. Наш спутник знал город, любил и ненавидел его одновременно. Эта смесь ненависти и любви к своей родине — еще одна отличительная особенность итальянца. Он привык считать, что в других странах дела идут лучше. Если станешь его разубеждать, он надуется, как ребенок, которого не принимают всерьез, или начнет раздраженно критиковать местные обычаи, образ жизни, парламентаризм, религию, воинскую доблесть. Он вскрывает их, разоблачает, добавляет еще и сам ужасается собственным преувеличениям. Пятнадцать лет назад такое изливание кончалось заявлением: «Я никогда не был фашистом». Сейчас ваш собеседник скажет, что желал бы покинуть родину. Впрочем, едва в разговор вступит его соотечественник, итальянец превращается в ортодоксального соглашателя и с таким же жаром доказывает, что священники — святые, военные — герои, министры и депутаты — идеалисты, а вся Италия населена лишь достойнейшими потомками римлян первых лет христианства.

С озадачивающей легкостью наш юный чичероне раскрыл нам свое сердце. Уже через полчаса он доверительно поведал о своей любви к туристке-англичанке, которую ему довелось сопровождать целое утро в качестве гида. Описывая ее, он загорается и умоляет, чтобы мы согласились встретиться с ней завтра. «Это ужасно! — ломает он себе руки, — она уезжает в полдень». Мы кажемся ему людьми настолько *per bene**, что он хотел бы получить наш совет.

Лилла спрашивает:

— А она знает, что вы ее любите?

— Конечно! — восклицает он. Ведь он же порядочный молодой человек. Кажется даже, что она готова (уже?) выйти за него замуж. И, конечно же, если их разлучат, в Великобритании и Италии в один из дней будет одним самоубийством больше.

* Достойными (итал.).

Я задаю традиционный вопрос:

— Почему вы хотите жениться?

Некоторое время он смотрит на меня подозрительно. Не глупее ли я, чем кажусь? Потом с самым невозмутимым видом бросает:

— Почему? Чтобы иметь детей. Ясно же!

На другой день мы знакомимся с молодой англичанкой. На мой взгляд, она вышла бы за кого угодно, лишь бы нашелся охотник. Безо всякого смущения и позабыв о своей великой любви, наш молодой человек поясняет:

— К тому же это один из способов уехать из Италии.

Бедняга! Самое печальное, что в его словах нет ни капли цинизма. Мы расстаемся с ним перед Duomo di San Giovanni*. Он хочет помолиться мадонне, чтобы она умилила отца его невесты, владельца небольшого заводика в районе Манчестера.

Чтобы немного рассеяться после этого разговора, Лилла затаскивает меня в бар. Она обожает кофе и больше всего любит бельгийский, затем турецкий и отфильтрованный. Эспрессо у нее на четвертом месте, непосредственно перед американским и английским, и можно подумать, что она упрямо пьет эспрессо только для того, чтобы укрепиться в своем нежелании отдать ему предпочтение.

Сказать по правде, невероятное обилие баров нас слегка удивляет. Их здесь, пожалуй, больше, чем гостиниц в Париже. Все они чистенькие; из десяти девять очень опрятны и оригинально декорированы. Около аппарата, готовящего кофе (его название — гаджиа), хлопочет бармен с завитой шевелюрой. Оцинкованной стойки в зале нет, вместо нее витрины, полные пирожных, которые радуют глаз, но не вызывают большого желания их попробовать.

Итальянцы обожают свои подслащенные «легкие завтраки». Если вы захотите съесть что-нибудь соленое, официант придет в смятение: то есть, как соленое? В некоторых барах есть электрические тостеры**. Зато получить отдельно кусок масла и положить его

* Собор св. Иоанна (итал.).

** Аппараты для поджаривания гренок.— Прим. перев.

самолично на свой гренок — целая проблема. Бутерброды здесь обычно готовят целиком, закладывая в аппарат масло и сыр, которые переплавляются вместе. Не скажу, что это невкусно, но это совсем не то, что наши булочки со сливками!

Увы, все мы одинаковы. Сами-то мы берем с собой в путешествие наши привычки и гнетущий груз ностальгии. А стоит американцу добавить клубничного мармелада в спагетти под болонским соусом*, мы начинаем вопить о вандализме.

Лилла допивает свою чашку крепкого кофе до последней из пяти капель, которые в нее вмещаются, и заявляет, что ей решительно больше нравится бельгийский. Мы совершаем маленькую прогулку. В самом деле, Турин — приятный город, но какой-то ни французский, ни итальянский. Через каждые три шага — это расстояние от одной витрины до другой — у Лиллы вырывается легкий крик: «Цены!» Первое впечатление — лира вопреки курсу равноценна франку. Вещь, которая стоит во Франции тысячу франков, обходится здесь в тысячу лир. Это позволяет французу, делающему покупки в Италии, значительно сэкономить. Странно видеть почтовый ящик, установленный в передней части троллейбуса. Совсем ведь просто, но надо было додуматься! Вымотанные жарой и усталостью, мы обсуждаем это на террасе третьего за это утро бара и приходим к окончательному выводу, что такая изобретательность обусловлена чисто итальянской жадой прогресса. Изящный старый щеголь за соседним столиком отложил в сторону газету и, приподняв шляпу, представился нам по-французски. Это — граф. Поцеловав Лилле руку, он садится и говорит нам, что не следует принимать светляков за светочи. Сам он старый друг Франции и никогда не был фашистом.

— Конечно, я был в партии, как и все...

Говорится это мимоходом, с пренебрежительным жестом, как о пустяке. Что касается почтовых ящиков, это несомненно прогресс. Но беда, и притом *spraventevole* (ужасная), в том, что где бы они ни нахо-

* Увы, я был свидетелем такого случая. Хозяин ресторана упал в обморок.

дились — на стенах домов или в троллейбусах, — эти ящики очищаются только тогда, когда попадают на глаза почтовому служащему.

Безо всякой видимой связи щеголеватый господин опять принимается рассказывать о своей любви к латинской сестре. Здесь, на южных склонах Альп, латинской сестрой называют Францию. Весь Пьемонт буквально пылает любовью к ней. Доказательства? И он тащит меня в туалет, очень тесный из-за экономии места, где показывает надпись — французскую, по крайней мере по идее, — «уборная» с орфографической ошибкой. Это заставляет его страдать: все, решительно все делается лишь наполювину. Разве нельзя было обратиться за советом к нему, старому клиенту и известному во всем квартале знатоку французского языка. Он судорожно выхватывает из жилетного кармана красный мелок, гневно зачеркивает одну и гордо ставит другую букву... делая новую орфографическую ошибку. Литтре*, должно быть, в этот момент перевернулся в гробу, но наш пьемонтец, безусловно, проспал ночь без кошмаров.

Остается час до завтрака. Мы решаем нанести визит одному человеку, нас ему рекомендовали. Это совсем рядом. Новый квартал. Новые кварталы для нас еще новость. Но потом мы убедимся, что в Италии их немало.

Человеку, к которому мы пожаловали, лет пятьдесят пять — шестьдесят. Он ощущает это не без грусти. Он руководит крупнейшим на Севере отделением одного из национальных агентств печати.

Нельзя сказать, что нас приняли радушно. Нет — нас приняли торжественно и восторженно. Может быть, такое впечатление сложилось у нас благодаря пышности итальянского языка (которой невозможно избежать при переводе на французский), но... Мы его спасли! Мы ехали так далеко исключительно для того, чтобы доставить ему удовольствие, вывести его из затруднительного положения, осветить лучом солнца его жизнь!

* Литтре — автор французского толкового словаря.—Прим. перев.

Не успеваем мы расположиться в комфортабельных креслах роскошного кабинета, как по повелительному знаку хозяина посыльный приводит мальчика из бара, лет восьми-двенадцати. Мальчик держит поднос, на котором разложены сэндвичи, проколотые зубочистками, чашки с кофе, печенье и всякая всячина.

Закормленные, осыпанные лестными комплиментами, разомлевшие от уюта, мы вдруг подпрыгиваем от неожиданности — наш хозяин вскакивает, вызывает прислугу и обрушивается с упреками: холодная вода, черт побери, где холодная вода?

Едва завязался разговор, наш собеседник бросается в атаку. Кофе? Да, конечно, в Италии отличный кофе. Но ведь его привозят издалека, за него приходится дорого платить. Восстановление городов? Но ведь из-за хищений и безумного стремления к роскоши оно обходится слишком дорого. А в результате процветает постыдная спекуляция. Свободных квартир, ожидающих покупателя или нанимателя, больше, чем трущоб. Но это же хорошо! — предполагает Лилла. Отнюдь нет! Город разрастается, а проку никакого. Переселенцы, приток которых не прекращается, все эти сицилийцы, калабрийцы и венецианцы, умножают население трущоб, а новые дома стоят пустыми и ветшают раньше времени.

Он оставляет в покое столь нелепую жилищную проблему и обращается к вопросу о постоянном притоке безработных в промышленные районы Пьемонта. Это настоящее нашествие (по 150 человек в день), с которым свирепо борются административные органы и профсоюзы: первые — чтобы избежать перенаселения, вторые — чтобы сохранить уровень зарплаты. Дошло до того, что для южанина переселение внутри страны стало делом таким же сложным, как и поездка за границу. Полиция выследит его и вышлет обратно, если он не успел еще обзавестись работой. Но, чтобы получить эту работу, ему нужен вид на жительство. Заколдованный круг, который можно разорвать, только обойдя закон. Вот вам пример. Приезжает на север сицилиец. Первое время он живет у кого-либо из родных или

друзей. Он готов на все. Ведь любая зарплата здесь выше, чем нищенский заработок на его родном острове. Ценой долготерпения, лишений и постоянных безропотно переносимых унижений, ценой такой нужды, о которой средний француз и понятия не имеет, ему наконец удастся получить место. Работа! Первое время разнорабочего считают учеником. Ему платят от 10 до 30 тысяч лир в месяц (при условии, что он работает каждый день). Снабженный справкой об этой работе, подняв на ноги всех своих знакомых, используя кумовство или дружбу с каким-нибудь курьером из квестуры*, вооруженный терпением, смирением и необыкновенным упорством, он месяцами, а если нужно годами, будет осаждать учреждения, пока его не внесут в соответствующий список. Тем временем он уже написал домой и снял угол. К нему переезжают жена и дети, затем брат со своей семьей, за которым последуют один за другим двоюродные братья. И опять возобновляются хлопоты. Новые просители так же скромны в своих притязаниях: с них довольно и корочки хлеба. Условия существования на родине выработали в них такую выносливость, что они сумеют перенести что угодно в городе на Севере, лишь бы избежать адской жизни на Юге.

Пьемонтцы, конечно, недовольны и с полным основанием называют это нашествием. Средняя заработная плата рабочих здесь составляет 60 тысяч лир в месяц. Они стремятся защитить свой уровень жизни, которого достигли с таким трудом. Конкуренция нелегальной рабочей силы их раздражает. Они и думать не хотят о возвращении к здоровым и чистым радостям обеда, состоящего из килограмма черствого хлеба и луковицы, подобранной утром на помойке. И они, конечно, правы. Но что же делать?

Эта вражда на почве профессиональных интересов только усугубляет замалчиваемый конфликт между Севером и Югом. Северяне выбрали в парламент депутатов, которые выделяют большую часть национального дохода на улучшение существования населения Юга. Северяне добровольно платят весьма

* Квестура — полицейское управление.— *Прим. перев.*

обременительные налоги. Разве это недостаточное участие в улучшении положения южных братьев?

Но это не все. Эти господа с Юга к тому же еще горлопаны, фанфароны и бабники. Они привозят с собой собственные понятия о законах чести, в любой момент готовы вспомнить о кровной мести и пускают в ход ножи, не задумываясь.

Наш собеседник настроен пессимистически, но он знает, что говорит. Изливши все единым духом, он останавливается, чтобы отдышаться, и, пользуясь этим, я задаю ему вопрос: как может просуществовать семья, имея на прожитие 20 тысяч лир в месяц? Ответ и на этот раз вполне резонен и не отличается от того, что я слышал раньше — в семье ведь работают несколько человек.

— Но, — прерывает его Лилла, — у людей, которые «поднимаются» до Турина, нет никакой квалификации?

Действительно, никакой, соглашается наш собеседник. Это все *braccianti* — поденщики. Для приложения их скромных познаний в земледелии здесь, на Севере, нет никакой возможности. «Но ведь Верчеллезе самый крупный поставщик риса в Европе?» — восклицаю я и вижу улыбку горькой мудрости: вот какое зло может принести такой фильм, как «Горький рис»*, вот каким ложным представлениям он помог распространиться.

Он встает и вытирает себе лоб.

— Кончился Верчеллезе. Он пал, этот Верчеллезе. Прощай, рис! И знаете отчего? Из-за отсутствия специализированной рабочей силы! Те, кто приезжают из Апулии и Калабрии, не умеют возделывать рис. Северяне же, которые умеют — или умели — это делать, не хотят получать нищенскую плату. Все теперь едут в Турин. На заводах «Фиат» работают меньше, более регулярно, а зарабатывают больше. По вечерам можно ходить в кино, дансинг, в воскресенье — футбол! Посмотрите только на меню рестора-

* «Горький рис» — фильм режиссера Джузеппе де Сантиса, в котором показана эксплуатация сборщиц риса в долине По.—
Прим. перев.

нов — повсюду pasta. Рис подают все реже и реже. Можете сообщить об этом французам.

И в самом деле, в 1942 году по продовольственным карточкам во всей Италии к северу от Болоньи выдавали рис, а макароны — только к югу от нее. Ныне же весь Север принялся за спагетти.

— А священники? — восклицает наш собеседник. — Я бы хотел, чтобы вы сами узнали об их делах. Вот я вам только что говорил о венецианцах*. К ним относятся лучше. И знаете почему? Потому что Венеция — один из оплотов клерикализма в Италии. С венецианцами всегда можно быть спокойным. Ни горлопанства, ни беганья за юбками. А их женщины — это замечательные няньки; они, конечно, ханжи в своем благочестии, но весьма благоразумны. Жизнь никогда не заводит их на панель.

Торговый Милан и промышленный Турин — это в некотором роде два сосца, питающие Юг. А Рим — о столице всегда отзываются одинаково — это музей, где полно чиновников.

— И священников! Никогда не забывайте о священниках, если хотите хоть что-то понять в Италии!

Уже поздно, и мы прощаемся. Но наш новый друг не хочет, чтобы мы так быстро покинули Турин. Сегодня вечером мы вместе должны пойти куда-нибудь. А завтра, в субботу, нам покажут одну фабрику. И вот он уже повис на телефоне, используя все свое влияние, настаивает на соединении с междугородной, назначает встречу и вешает трубку.

Когда я поблагодарил его, он ответил великолепной фразой:

— Право, не за что! Разве я не следовал правилам французской вежливости?

Вечером мы знакомимся с его женой. Это живая, изящная, как большинство итальянок, женщина. Нас ведут обедать в «Caval de Bronz»**. Что сказать об этом ресторане? Разве только то, что, если бы не его оформление, он ничем бы не отличался от любого

* Венеция — это не только те земли, к которым подплывают в гондолах. Область Венеции гораздо обширнее.

** «Бронзовая лошадь» (итал.).

другого в Европе*. Потом мы идем в театр. Труппа Джино Черви играет «Кошку на горящей крыше»**. Я упоминаю об этом в связи с забавной реакцией моего нового итальянского друга. Он долго хмурил брови, узнавая об очередных радостях и горестях героя, которого великолепно играл Габриеле Ферретти, и не мог оторвать глаз — как, кстати, и я сам — от Леи Падовани, кошки. Затем, наклонившись ко мне, он внезапно прошептал:

— Почему он не доведет с ней все до конца, вместо того чтобы разводить столько историй? По крайней мере, проверил бы, есть ли у нее склонность к половым извращениям или нет?

На другой день — экскурсия в Альбу и посещение шоколадной фабрики. Меня это интересует потому, что сегодня в Италии есть поколение современных кондотьеров. Сегодня поля их сражений — промышленность. Оливетти, ди Лауро, Ансальдо, Маттеи, Марцотто — вот имена этих конкистадоров, сумевших сколотить себе империи даже в наше время. И у нас во Франции есть, наверное, такие же могучие капитаны. Но их деятельность менее заметна. Мне кажется, здешним во многом помогают сделки с небом, о которых уже говорилось и с которыми нам придется встречаться в Италии повсюду.

* Мы лишь три раза обедали в незаурядных ресторанах — в Турине, Сан-Джиминьяно и Фьезоле. Вообще же в Италии рестораны самые обычные. Повсюду светлые тона стен, белые скатерти (даже не клетчатые). Характерное убранство — бутылки кьянти и саями свешиваются с потолка. Это бывает и в Париже. Можно сказать, что в Италии нет ресторанов, а одни столовые.

Попутно мы тщетно искали гастрономические традиции в ресторанах. Во Франции говорят об омлете мамыши Пуляр и цыпленке мамыши Фийу. В разных районах страны у ресторанов есть свои фирменные блюда. Парижане могут проехать 300 километров, чтобы пообедать в Солье, издаются специальные путеводители для моторизованных гурманов. В Италии нет ничего подобного. Лилла спрашивала повсюду о специальностях ресторанов. Ответ был один — la pasta. Иногда с одним соусом, иногда с другим, чаще всего соус из vongole (род мидий). С настоящей — и чудесной — итальянской кухней можно познакомиться только у кого-нибудь дома, на семейном обеде. Единственное исключение — болонский соус, который, если можно так выразиться, обошел весь мир, и bistecca (бифштекс) по-флорентийски, который теперь подают во всей Италии.

** Пьеса американского драматурга Теннесси Уильямса.—
Прим. перев.

Фабрика была основана неким Джованни Ферреро. Как велит традиция, он «перепробовал все профессии», перед тем как нашел свой собственный путь. После войны, в 1946—1947 годах, воодушевленный, как утверждает легенда, «стремлением дать детям и обездоленным предметы роскоши, доступные доселе лишь самым богатым», он купил старый мотоцикл (я говорю то, что сам слышал) и переделал его в фургончик (как в фильме «Дорога»^{*}). Нагрузив его недогигими конфетами, Ферреро стал ездить по деревням, причем особое внимание уделял тем из них, куда торговцы наведывались редко. Он продавал детям сласти, удовлетворяясь ничтожной прибылью. Во время этих первых поездок его посетили музы коммерции и благотворительности. Он закупил по дешевке лесные орехи, которых в тех местах великое множество и которые там никому не нужны, и, наварив у себя дома с помощью своего брата Пьетро (технического руководителя предприятия) сладостей, опять отправился в вояж. На этот раз выручка позволила ему перенести производство в небольшой сарай.

Сегодня его фабрика (если говорить об объеме продукции) — самое крупное в Европе предприятие по производству шоколада и различных кондитерских изделий, в том числе и сладковатых «легких завтраков», которые всегда есть в любом итальянском баре. Главный принцип фирмы — продавать дешево и непосредственно потребителю. Мотоцикл породил целое потомство. Фабрика Ферреро имеет сейчас более двух тысяч грузовых мотороллеров. Они развозят ежедневно свыше 15 тонн сладостей.

Сам Джованни недавно умер от инфаркта, ставшего такой модной болезнью среди людей, одержимых трудом. Ферреро работал пятнадцать-шестнадцать часов в день. Разные люди рассказывают о нем одно и то же. Это был ворчун-благотворитель, который вел спартанский образ жизни. Для разрядки он позволял себе только игру в шары. Детей у него не было. В Италии это считается большим несчастьем. Коснувшись этого вопроса, итальянцы не могут успо-

^{*} «Дорога» — один из наиболее известных фильмов режиссера Федерико Феллини. — *Прим. перев.*

коиться: такой добрый человек, мсье, такой хороший, всегда готовый оказать услугу — и вот... Интонация говорящего как бы намекает на какое-то событие в загадочном прошлом святого человека, которого господь покарал, не даровав ему потомства.

Патернализм — характерная черта итальянских предпринимателей. В руках некоторых из них — это орудие для достижения власти, для других — это прием, помогающий самым бесстыдным способом эксплуатировать «своих детей». Но похоже, что Ферреро искренне любил тех, кто от него зависел. Один мастер рассказал мне такой случай. Однажды ему «было не по себе» оттого, что заболел его сын.

— Хозяин поругал меня, мсье; он сказал, что в таком состоянии я не могу хорошо работать! Он держал меня за куртку и встряхивал. А я молчал и думал: наверное, у него есть из-за чего орать на меня, не кричит же он зря. И все-таки я удивился, зачем ему нужно хватать меня за одежду; обычно он не пускает руки в ход. Когда я вернулся домой, я нашел в кармане 50 тысяч лир, мсье. Да благословит его господь...

И все предприниматели здесь патерналисты. Чаше, конечно, по глубокому расчету. Такие, как Ферреро, искренне стремящиеся к справедливости, — исключение, которое лишь подтверждает правило; объективно патернализм нужен для того, чтоб водворить умиротворение там, где пробуждается протест...

Не вздумайте говорить северянам о сицилийских рабочих с их серными копами. В крайнем случае можно упомянуть о них как о несчастных, которые живут где-то в другой стране. Тогда в сердцах счастливых северян загорится огонек сочувствия: *roveri cristiani*, «бедные христиане». Но попробуйте напомнить этим счастливым, что их островок благополучия — явление исключительное, и они нахмурятся. А добавьте еще что-нибудь самое безобидное, например о том, что надо солидаризироваться с «другими», живущими за пределами их счастливого поселка, и они сочтут вас исчадием ада, подстрекателем, провокатором. А если к тому же вы будете настаивать, вас обзовут бесстыдной гадиной. На мелочи здесь не размениваются.

Ведь сицилиец — не итальянец.

Сам сицилиец и так и сяк подтвердит вам это.

Французам или англичанам, в чьих странах уже много веков назад население стало единой нацией, это может показаться просто невероятным. Здесь же понятие о национальном единстве не имеет никакого отношения к политическим убеждениям, если таковые вообще есть. Это понятие существует как теория, совершенно не связанная с повседневной реальностью. Вначале меня удивляло, как итальянцы рекомендуют себя при знакомстве. Они называют свое имя, звание, а затем родной город. Прежде всего они осознают себя миланцами, флорентийцами или неаполитанцами и уж только потом — итальянцами.

За редким исключением рабочий с фабрики Ферреро в Альбе не связан ни с кем из своих товарищей по классу из Сицилии, Калабрии, Рима. В лучшем случае он сознает свою принадлежность к туринской провинции, но даже Кунео — а это ведь недалеко — для него уже заграница! Там проживают *testoni*, сообщают нам полупрезрительно, полунасмешливо. Это слово обозначает одновременно и упрямство, и глупость. Посмеиваясь, нам рассказывают историю о знаменитом приеме в муниципалитете Кунео. Парадный зал был слишком мал, чтобы вместить всех гостей, и власти распорядились намылить пол и стены. Тестони скользили, упирались в стены, и им казалось, будто они «толкают стены и расширяют зал».

Наш гид ведет нас по цехам фабрики. Он так верит тому, о чем говорит, что привычную свою речь произносит именно в тот момент, когда одна из работниц набрала полные руки еще теплого теста: «Продукт, приготовляемый промышленным способом, самыми современными методами, как в Америке, никогда не соприкасается с руками рабочих». Я не выдерживаю и прерываю его: «Никогда?». Он оборачивается ко мне со снисходительной улыбкой человека, который давно знает, что все иностранцы скептики. «В случае крайней необходимости они надевают перчатки». Девушка слышит этот разговор и невозмутимо продолжает месить тесто голыми руками. Я решаю довести эксперимент до конца и подталкиваю локтем нашего туринского друга, который замороженно

слушает медоточивые речи гида. С широко открытыми, но слепыми глазами он подтверждает: «Прогресс, мой дорогой друг, Италия жаждет прогресса!»

Они ничего не видят, ничего не хотят видеть в своем отчаянном поиске общенациональных убеждений! Он доктор наук. У него три или четыре университетских титула, которые перечисляются в его визитной карточке. Но, как и простому рабочему, ему нужно верить. Без этого его подозрительность, печаль и пессимизм окажутся для него смертельными.

В Риме я был знаком когда-то с одним врачом. Спустя пятнадцать лет я продолжаю утверждать, что это был один из самых образованных итальянских интеллигентов. Его трезвый патриотизм не вызывал во мне никаких сомнений. Он написал книгу, изложив в ней впечатления, полученные им во время службы офицером в Югославии и Греции. Книга была наделена огромными моральными и философскими достоинствами, но он отказался ее издать, несмотря на ожидавший ее успех. Отказался потому, что в те трудные времена такая книга могла бы нанести ущерб Италии. Однажды в 1945 году я встретил его сияющим. Он бросился мне в объятия. «Я так счастлив! Снова, одним ударом, Италия реабилитировала себя, стерла позор прошлого. Милан только что освободился собственными силами. Такого еще никогда не было!» Изумленный, я пробормотал: «А Париж?». Он растерялся, слезы появились на его глазах; он был смущен. Он знал про Париж, но сейчас, в безудержном стремлении возвести свою родину на пьедестал почета, он не хотел о нем знать.

Шоколад Ферреро действительно дешевле, чем шоколад других итальянских фирм. Кроме того, все «подопечные» этой фирмы обеспечены высокой зарплатой и хорошим бытовым обслуживанием. Чуть что — сыплются премии и надбавки. Детям рабочих и служащих фирма предоставляет бесплатные школьные учебники, что обходится ей примерно в 5 миллионов лир в год. Ферреро купил поблизости от города замок и устроил в нем бесплатный дом отдыха для «своих людей». У него не было никаких личных потребностей, и деньги давали ему возможность создавать вокруг себя благополучие. Перед его

смертью фабрика приносила ему, говорят, два миллиона чистого дохода ежедневно. Полный наивного восхищения мастер, пытаясь на секунду представить себя на месте хозяина, беспокойно разводит руками:

— И что ему было с ними делать?

Несомненно, в памяти этого человека я останусь Фомой неверующим и притом не очень-то умным. Я спросил его, как реагируют итальянские и иностранные конкуренты на низкие цены (Ферреро подчас довольствовался 20 лирами там, где другие запрашивали 100) и на созданные здесь бытовые условия, так сильно отличающиеся от обычных в этой промышленности. Он смеется:

— Ега furbo, lui!

Слово «furbo» не соответствует нашему «плут», а скорее означает хитрец, ловкач. Если верить мастеру, никто в Италии не посмеет и пальцем тронуть фирму, ибо Ферреро сумел еще при жизни добиться монополии на сырье. Огромная производительность его фабрики позволяла ему закупать сырье целыми пароходами, оставляя на долю конкурентов лишь небольшие партии. Укрепив свою империю, Ферреро стал поставщиком сырья для других. Мастер утверждает:

— Мы можем оставить их на мели, когда захотим.

Когда он произносит эти слова, у него появляется холодный и жесткий взгляд герцога Сфорцы* Железная рука, отдающего приказ отрубить кому-то голову.

— Шапку долой! — шепчет мне Лилла, когда мы выходим на улицу, — такое за десять лет — это тебе не фунт изюму!

Она большой мастер таких формулировок, от которых усугубляется мой комплекс неполноценности.

Хозяин ресторана, где мы завтракаем, подтверждает, что если бы Ферреро захотел, он мог бы стать президентом республики. О, это вам не ди Лауро. Ди Лауро — судовладелец, ставший очень популярным мэром Неаполя. Правительство изгнало его из

* Сфорца — династия миланских герцогов в XV—XVI вв.—
Прим. перев.

муниципалитета, за что он начал мстить, проводя избирательную кампанию на свой лад. Пуская на ветер миллионы, он разъезжает по стране, сопровождаемый целым караваном прихлебателей, и вручает по килограмму макарон каждому, кто согласен голосовать за него. Но, по мнению нашего ресторатора, он все равно с треском провалится. И вообще из патерналистов-политиканов будет избран только Оливетти — фабрикант пишущих машинок, полномочный хозяин Ивреа. Этот демагог основал «очень левое» политическое течение *Comunità* (единство). Его программа: широкое местное самоуправление и участие рабочих и служащих в доходах предприятия и в его финансировании. Есть, правда, еще семья Аньелли, владельцы заводов «Фиат», «монопольные производители автомобилей в Италии», но... Хозяин ресторана делает презрительный жест рукой, отвергая Аньелли.

— Модель «1.100» никуда не годится! Нет, лучше поговорим о Ферреро. Вот это да! Вот это человек!

Опираясь на сжатые кулаки, он склоняется над столом и громко заключает:

— Он переписывался с Аике.

Должно быть, это весьма сильный аргумент, ибо наши друзья с ошеломленным видом (даже не интересуясь «о чем?») восклицают: «Как? Когда это было?» Я не сразу понимаю, о ком идет речь. Лилла соображает быстрее меня. Своим золотым карандашом, который я подарил ей к первой годовщине нашей свадьбы, она пишет мне три буквы: «Айк»*.

Что бы такое поесть в Альбе? Трюфели! Ресторатор Мора — король трюфелей, у него монополия на трюфели. В этом маленьком городке, где большинство населения занято сельским хозяйством, он оборудовал гастрономический привал, широко известный среди автомобилистов, едущих по дороге Турин — Генуя. По воскресеньям и в праздничные дни он обслуживает до трех тысяч пятисот посетителей**.

* Итальянцы стремятся приблизить произношение иностранных слов к их написанию.

** Никакого противоречия с тем, что сказано выше. Это просто единственный стоящий ресторан на этой дороге.

Мы возвращаемся под палящим солнцем. А ведь еще только-только перевалило за середину мая.

Я мечтал о съесте, но не тут-то было. Едва только я растянулся на постели в гостинице, как чьи-то нечеловеческие вопли вырвали меня из *dolce far niente**. Я высунулся из окна и увидел какого-то субъекта. Забравшись на эстраду, он орал, усиливаемый тремя громкоговорителями. Своими руками убийцы он душил микрофон. Волосы спадали ему на глаза, на шею, куда только могли. Акцент, резкий голос и жесты выдавали в нем южанина, а судя по тому, что он говорил, и по ненависти, которая слышалась в его голосе, это был настоящий бандит. Описывая нечеловеческие страдания своих незащищенных, жестоко эксплуатируемых дьяволами-капиталистами братьев, он взывал к мщению. В неистовстве и ораторском исступлении он сорвал с шеи платок. Он угрожал и разве что только не потрясал обрезом. Мне показалось, что вот-вот начнется потасовка. Иначе и быть не могло, скорее туда! Я быстро спустился по лестнице. Этот тип, должно быть, агент-provocateur. Когда я выбрался на площадь, крикун еще больше распалился. Он проклинал. Пусть кровь бедных рабочих, убитых невзгодами, словно фашистскими автоматами, падет на голову палачей. Перед оратором было всего три слушателя, из которых один — шофер единственного на стоянке такси, другой — полицейский с угла и третий — прохожий, который при моем появлении уже собирался уйти. Я спросил его: «Это коммунист?» — «Macché! (Да что вы!) — изумился он. — Это монархист!» И спокойно пошел прочь.

Италию нелегко понять.

Вечером — отдых. Вместе с нашими новыми друзьями мы поднимаемся в Супергу. Пейзаж, открывшийся нам при заходе солнца, великолепен. Виден весь Турин — компактный промышленный гигант, который оцетинился бесчисленными заводскими трубами и причудливо изогнулся, пересекая долину По.

Женщины, как обычно, болтают, чуть-чуть отстав, а мы шагаем впереди.

* Сладостное безделье (итал).

Поддавшись, вероятно, меланхолии заката, мой спутник открывает мне свою душу с доверием, которое особенно трогательно, если принять во внимание, что мы знакомы только двое суток. Он устал (он из тех южан, глядя на которых, начинаешь сомневаться в ходячем мнении о лености уроженцев Юга). Сейчас ему около шестидесяти лет, а на жизнь он зарабатывает с четырнадцати. Теперь, когда он достиг цели, получив высокий пост, ему хотелось бы уйти на пенсию. Администрация выплатит ему значительную liquidazione*. У него есть кое-какое имущество — дом во Флоренции и участок на острове Эльба, где цены в последние два года стремительно растут. «Почему он колеблется?» — удивляюсь я.

И он начинает яростно замазывать только что им самим нарисованную великолепную картину беззаботной жизни на пенсии. Деньги ничего не стоят. От правительства ждать нечего. Кто поручится, что у него завтра не отберут его все? В этой Италии, paese adorato**, приходится сидеть «между стульчаком поповской исповедальни и колом коммунистов».

— Порядочный человек здесь, caro amico***, находится на передовой линии фронта, на кровавом перекрестке эпохи. Восток и Запад целятся друг в друга через его истерзанное тело. Пополубы и попоеды (иными словами правые и левые) топчут его, выжидая момент, чтобы броситься друг на друга.

Что за язык! Но он и на самом деле боится; у него трое детей, и все они студенты, и все они вот столько не делают (жест: ноготь подносится к зубам), поедая его премиальные, его сбережения, его печень. И, как обычно, они же и повелевают, заставляя жить ради них.

— Нет, мсье, мы пока не можем трогать мою liquidazione.

Мы расстаемся довольно рано. У нас с Лиллой одинаковое впечатление — они довольны, что облегчили душу, и одновременно немного смущены тем, что так разоткровенничались перед чужими людьми.

* Вознаграждение при выходе в отставку. — Прим. перев.

** Обожаемая страна (итал.).

*** Дорогой друг (итал.).



Итальянцев не без основания считают людьми довольно апатичными. Представление же об их беспечности преувеличено. Преувеличено еще и потому, что об итальянцах судят главным образом по более колоритным южанам. Кто не знает такую анекдотическую историю. Неаполитанцу, растянувшемуся на набережной, турист предлагает деньги за то, чтобы тот снес его чемодан.

— Спасибо, — отвечает неаполитанец, не шевельнувшись. — Я уже поел сегодня.

Наша латинская сестра настроена довольно фаталистически. Это результат долгого влияния церкви и религиозных традиций, более глубоких, чем во Франции. В Италии человек охотно отдает себя в руки божьи, и поэтому нервы у него гораздо крепче, чем у француза, а температура всегда держится около нормальных 36—37 градусов. Он умеет плыть по течению, наслаждаться жизнью, не портить себе кровь; при появлении тринадцатого ребенка восклицает: «Бог нас не оставит!» Короче говоря, он умеет принимать жизнь с хорошей стороны.

Но...

Но посадите этого оптимиста-флегматика на колеса, как тотчас температура его тела поднимется до 40 градусов. На двух колесах — это Бартали, Коппи*, на четырех — Фанжио** (имен других чемпионов я не знаю). Посадите этого человека с пониженным жизненным тонусом на колеса — и он становится одержимым. Добавьте еще мотор — и перед вами параноик, для которого планета вращается не в ту сторону.

Конечно, итальянцы — лучшие в мире шоферы. Но вот беда: дорога не цирк. Итальянец с грустью признает это, но это не сдержит его ни на секунду. С застывшей на лице маской Нерона, вцепившись

* Известные велогонщики. — Прим. перев.

** Популярный автомобильный гонщик. — Прим. перев.

в руль мотороллера или баранку автомашины, он мчится. Он обгоняет время, ему нужно победить в гонке всех других, свою судьбу, свой мотор, правительство и самого себя. Цель у него одна: быть первым. Где? Впереди кого? Впереди чего? Это не имеет значения. У него могут разлететься поршни и лопнуть артерии, он будет жать на педаль газа так, что продавит ногой пол кабины, он истерзает цилиндры машины, все время требуя от них максимального напряжения, он будет героически рисковать своей жизнью и дойдет в бескорыстном благородстве до того, что поставит на карту вашу жизнь и жизнь соседа, но ему нужно обогнать! Когда его малолитражка обгонит вашу многосильную машину (вам просто противно, что эта вошь вцепилась вам в спину, и, обессилев, вы притормозите, чтобы пропустить его вперед), он при этом, к счастью, не оглянется! Ни нахального торжества, ни смиренной благодарности. И вряд ли у него промелькнет мысль о мадонне или каком-либо другом святом покровителе безумцев на колесах, который «помог ему». Не успев выровнять машину, не задумываясь о том, что у него осталось в баке и не разболтались ли колеса, он уже устремляет свой взор к следующему, который маячит далеко впереди и которого нужно догнать, загнать, обогнать, чтобы потом начать все сначала.

Во Франции одержимый такого рода все-таки сделает остановку, выпьет стаканчик, проверит часы, порадуетя, что сумел выжать хорошую скорость. В Италии — ничего подобного! Едва выйдя из машины, свирепый водитель сразу меняется: на его лице расцветает добродушная улыбка, и перед нами человек, который и мухи не обидит. Он безмятежно рассядется на террасе кафе, закажет Punt'e mes' *, вздохнет полной грудью и будет преспокойно терять секунды, которые он с риском для собственной жизни вырвал у судьбы.

Перед тем как отправиться в рейс, водители грузовиков часто пишут на кабинах своих мастодонтов заклинания: «Санта Мария, защити!», «Сан Дженнаро (святой Януарий — покровитель Неаполя),

* Полторы порции (ломбард. диалект).

дай мне вернуться целым и невредимым!» Эти надписи — разгадка причины шоферского исступления. Итальянец воспринимает автомобиль не как результат экономического прогресса, а как непостижимый дар божий. Садится ли он на свой мотороллер «Веспа» в две лошадиные силы или в свой автомобиль в сто девяносто восемь лошадиных сил — неважно, он вверяет себя силам небесным. Жизнь ведь не принадлежит ему — она одолжена ему создателем и может быть отобрана в любую минуту, тотчас же по предъявлении векселя. И какова бы она ни была — легкая или тяжелая, — итальянец беззаботно делает ее своей ставкой. Все равно живым он может остаться только в случае, если небесный бухгалтер вывел сальдо в его пользу. Нажимая на стартер, он запускает одновременно и мотор, и божественный механизм, отсчитывающий дни, отпущенные смертному на земле. Так не лучше ли сократить то время, в течение которого наше существование от нас не зависит?

Все вполне уравновешенные люди, которых мы встречали, были одержимы этим недугом. Например, зубной врач из Анконы, ставший впоследствии нашим другом, высокий и сильный малый, спортсмен, один из самых последовательных и ярых истребителей спагетти и мидий, здоровый и телом, и душой, рассудительный в спорах, женившийся на англичанке как по любви, так и из потребности попасть под чье-то трезвое воздействие, короче говоря, безусловно, уравновешенный человек... Едва этот человек сел за руль своей малюсенькой «Бьянкины», как, закусив удила, он превращался в самурая «камикадзе»* и явно терял рассудок. Безумцы! Все, как один, безумцы!

Превосходные водители, но...

В городе — то же самое, только опасность здесь несколько больше. Когда знаешь об этом, то, конечно, всегда стараешься уступить дорогу. И вот, дав предупредительный сигнал, чудом протиснувшись между вами и стремительно приближающейся встречной машиной, обогнавший вас автомобиль, едва оказавшись впереди, тут же резко сбавляет скорость. Не из

* Смертники. — *Прим. перев.*

предосторожности. Никоим образом! Ему просто нужно остановиться у тротуара. Проведя статистический анализ, мы с Лиллой установили, что тип, который метеором проносится в своем «Фиате-1000» требуя себе дорогу, в восьми случаях из десяти стремится приобщить вас к списку своих побед как раз перед самым концом своей сумасшедшей прогулки.

Но теперь мы предупреждены...

И еще одно. Никогда не спорьте с ними, у них всегда наготове аргумент: «Значит, в вашей стране нет правил движения?» Но в голосе и интонации слышится иное: «Легко врать тому, кто приехал изда-лека». И еще: «И угольщик хозяин у себя дома». Таким образом, иностранец всегда оказывается неправ. А поскольку по-итальянски они говорят, конечно, быстрее вас, вам остается лишь один шанс из ста выйти победителем в споре. Поэтому сохраняйте хладнокровие. Молчите. Благодарите создателя, что остались живы, и молитесь его охранить вас в следующий раз. Если вы из тех, кто подвержен суетной жажде мести, предлагаю вам такой прием. Сорвите с вашего противника галстук, обнажите его грудь. Можно держать пари, что у него на шее висит медальон в честь какого-нибудь святого. Схватите медальон и благоговейно поцелуйте. Итальянец не дурак. Он поймет, в чем дело, и вы вместе посмеетесь... если только он не разобьет вам физиономию еще до того, как вы прикоснетесь к его воротнику. Ведь итальянцы еще и очень проворны. И упаси вас бог что-нибудь им объяснять. Бесполезно...

Есть и другой способ привести их в чувство. Но он опасен. Я воспользовался им только раз и теперь заявляю, что никогда в жизни не испытывал большего страха. Это произошло на извилистой дороге из Палермо в Монреале. Расстояние между ними невелико, но дорога узка и к тому же стеснена троллейбусным движением. Вооружившись терпением, уважая законы, я тормозил каждый раз, когда троллейбус останавливался, пропуская встречный поток машин. Но вот какой-то на три четверти глухой фанфарон, наседавший на нас уже с километр, поручив свою душу создателю и закрыв глаза, бросился в свалку. Обезумев от страха, я вынужден был

взобратъся на тротуар и навлек на себя поток прокля-
тий толпы верующих, вышедших из церкви после
обедни. Когда входишь в раж, то потом трудно
бывает припомнить, какие чувства тебя в это время
обуревали. Я помню только, как, охваченный муж-
ской яростью, не обращая внимания на заклинания
Лиллы, безумный среди безумных, с артериями,
клокотавшими, как выхлопные трубы, я бросился
вдогонку за нахалом. Автомобилисту, у которого
в глазах все делается красным от бешенства, красный
светофор кажется зеленым. Чудом оставаясь невре-
димым, я несся вперед, делал дикие виражи (которые
здесь очень легко удаются кому угодно), преодолевал
заграждения, обгонял машины по одной и по две
сразу, все прибавляя и прибавляя скорость. Мой
враг сидел за рулем вульгарной и древней «Тополи-
но» с кузовом типа «жардиньер» (это значит — тележ-
ка зеленщика; но этот зеленщик был козлом в моем
огороде). Я должен был рассчитаться с ним или
подохнуть в больнице. Был ли тому причиной дух
вендетты, которым всегда насыщен воздух Сицилии,
или, может, я акробат, только не знал об этом, живя
в нормальной обстановке, но я догнал негодяя и
смелым маневром, позаимствованным из амери-
канских фильмов, принудил его остановиться. Благо-
дарение небу, парень был еще меньше меня ростом.
К счастью (для него), у меня не было намерения
драться. Из окна машины я стал корить его суровыми,
но справедливыми словами:

— У вас есть дети, синьор?

Он весь дрожал. Издали мои плечи кажутся
широкими, и, каюсь, мое лицо, вероятно, было
ужасно.

— Да, синьор,— ответил он.

— Сколько?

— Трое...— он поправился,— будет четверо через
несколько месяцев. Моя жена...— Я не дал ему
договорить.

— И вам не стыдно?

— Стыдно?— пробормотал он испуганно. По-че-му?

— Стыдно,— завопил я,— потому что вы просто
презираете и дар жизни, который вы получили от
бога, и ваши священные обязанности!

Он опустил голову.

По мнению Лиллы, для которой вообще нет ничего святого, униженный вид противника объяснялся не столько содержанием моей сильной речи, сколько яростным тоном и дальнобойными брызгами слюны, отлетавшими, по ее словам, больше чем на три метра. Вполне возможно. Но тем не менее, оробев, парень благоразумно пристроился нам в хвост. Когда оглушительный концерт гудков прервал нашу перепалку, я нарочно заставил себя ехать помедленнее и все время наблюдал за этим малым в зеркальце. Он об этом догадался и пытался улыбаться мне. Лилла между тем решила заступиться за несчастного многодетного отца. На свет были вытасщены предположения, гипотезы и соображения. А что, если, например, его младший ребенок болен? Или у его супруги начались схватки? Или вдруг он потерял место и упустит что-нибудь, если придет слишком поздно? Лилла родилась, чтобы быть командиром, и ее желания для меня — закон. Я посигналил автомобильному «ассу», что великодушно отпускаю его на свободу. Он проехал, крича *grazie**.

Но коса нашла на камень. (Да здравствуют половицы!) Пешеход в Италии не лучше автомобилиста. Для него машина — тоже явление божественное. Она, как молния, поражает лишь тех, кто отмечен судьбой; к чему же стараться ее избежать? Что суждено, то суждено.

Беда в том, что, во-первых, итальянцы живут вне дома, а, во-вторых, их полуостров явно перенаселен. Деревни лепятся одна к другой. Разрабатывая график своего путешествия, турист должен принимать во внимание не только моторизованных латинян, но и стулья, и кресла, которые перетаскиваются через улицу из дома в дом, молодежь, разгуливающую на Корсо, группы людей, спорящих о политике, процессии по случаю праздника любого из святых, записанных в святцах, праздники и фейерверки местного значения, начало и конец работы на заводах и занятий в школах, выставки, лотки под открытым

* Спасибо (итал.).

небом, грудных младенцев, ползущих на коленях или на задах поперек магистральной автострады, прямо к соседке, которая живет напротив (она еще и руки протягивает и зовет: «Vieni, tesoro!»*). И, наконец, бесчисленное множество стариков — глухих и слепых, — которые предпочитают шагать по гладкому шоссе, а не по заросшим обочинам (факт невероятный и утешительный — в этой благословенной стране люди умирают все же в старости).

— Все это благодаря покровительству святой девы, — утверждает один священник, в улыбке которого больше умиления, чем иронии.

— Это потому, что жизнь у нас стремительна, — научно объясняет мне мой друг, врач из Рима. Его автомобильную философию можно резюмировать в трех пунктах:

1. Другого автомобилиста надо рассматривать как существо подобное себе, то есть не чуждое страха. Чем ты нахальнее, тем больше шансов, что противник сробеет. Целься в свободное пространство. Нажимай правой ногой на газ, левой рукой на сигнал. Дополнительное указание: взывай к ангелам.

2. На перекрестке опасность может возникнуть не с двух сторон, а с четырех. Жми на газ, чтобы как можно быстрее выскочить из этой рискованной ситуации. Дополнительное указание: сигнал.

3. Нужно внушить себе, что пешеход — существо низшего порядка. Выбери наиболее неprovорного и, сигнала изо всех сил, направляй машину прямо на него. Дополнительное указание: жми на газ, чтобы нагнать на него побольше страха.

В числе обидных итальянских эпитетов есть слово «prepotente» — во французском языке оно исчезло. В словаре есть еще близкое к нему существительное, означающее «гнетущая мощь, всемогущая власть». Добавьте к этому неуемную гордыню, воинствующую несправедливость, презрение к закону — и вы поймете, что такое итальянский автомобилист. Впрочем, я ни разу не слышал, чтобы этот эпитет употребляли по отношению к акробатам дорог, и это убедительнее всего доказывает, что такое бешенст-

* Иди, сокровище! (итал.)

во присуще каждому и каждый воспринимает его как должное. Дорога — это всеобщая свара и драка, и выйти из нее невредимым — дело хитрое. Мотор переделывают, чтобы выиграть несколько лишних километров в час. Это увеличивает риск, но зато, по всеобщему мнению, позволяет быстрее убежать от смерти, которая подстерегает автомобилиста на каждом шагу. Игра идет по правилам catch as catch can*, допускающим любые приемы. Можно, например, отчаянно жестикулировать, симулируя самоубийство, и умолять другого остановиться, прося о помощи, а самому использовать его замешательство для того, чтобы обогнать его, сбить с пути, а потом догнать следующего и т. д. Остальное вам известно.

Мои собеседники, итальянцы, едва только я касался этого вопроса, возводили очи к небу, соглашаясь со мной, что движение на итальянских дорогах — это действительно sciagura (бедствие) и даже раскаивались в том, как они ведут себя, сидя за рулем, — а через несколько секунд снова слепо отдавали себя в руки судьбы.

Но вот странно: после того как я проехал по Италии 12 тысяч километров, у меня создалось впечатление, что в этой стране несчастных случаев не многим больше, чем у нас. Я даже стал задавать себе вопрос: может быть, это обман зрения, вызванный узостью итальянских дорог? Возможно. Не стану спорить. Но тем не менее беспорядочность автомобильного движения — это единственный национальный недостаток, который итальянцы признают даже в присутствии соотечественников. Несомненно, у них меньше автомобилей. Но дороги в Италии, по крайней мере, вдвое уже наших — я говорю об автомагистралях — и должны были бы иметь меньшую пропускную способность. Однако это не так.

А беспорядок все-таки абсолютный. Никакие дорожные знаки, никакие правила во внимание не принимаются. В Италии пуститься в путь на машине — все равно что принять участие в панамериканской автомобильной гонке, пожирающей множество

* Кэтч (англ.) — буквально: хватай, как можешь; вид борьбы. — Прим. перев.

человеческих жизней. Я видел, как огромная полицейская машина «Фиат-400» бросилась вдогонку за нарушителем. Водитель ее, захваченный игрой, позабыл о своей цели. Он перегнал преследуемого и изобразил знаком: «Ага, обставили!» О нарушении он к тому времени уже совершенно забыл.

Словом, все рискуют, но гибнут, слава богу, не все*.

— Ну и дела! — вздыхает Лилла, мастер лаконизмов, когда мы сворачиваем с автострады к дымному въезду в Милан и едем через промышленные окраины города, такие же безобразные, как и окраины всех других больших городов. Мы едва успеваем разнообразить ругательства. Нас жмут со всех сторон, толкают, нам сигналият, нас волокут вдоль улиц, блестящих от дождя, и протаскивают мимо всех запретительных дорожных знаков. И вдруг мы оказываемся на piazza del Duomo**. Перед нами претенциозный приземистый пирог, перегруженный деталями, настоящая мечта немецкого кондитера, такой же усложненный и вымученный, как иные композиции Леонора Фини, в которых сюрреализм вырастает из кошмаров. Глядя на знаменитый миланский Duomo, понимаешь, почему итальянцы называли такой стиль готическим, то есть варварским. Чтобы успокоить эстетов, поклонников Средневековья, спешу заверить, что мне очень нравятся и Шартрский собор, и собор Парижской богородицы. И, слава богу, лишь один этот миланский монумент (это моя личная точка зрения, без правительственной гарантии) заслуживает эпитета «варварский». Даже великолепная выдумка освещать ночью лучом прожектора фигуру

* Вот официальные цифры 1957 года: производство машин — 375 382 (во Франции 925 тыс.), движение — в целом 4 875 199 машин (во Франции 9 млн.). Несчастные случаи — 188 854 (во Франции 141 737), 6936 убитых (у нас 8283) и 148 421 раненых (у нас 130 614). Как видите, по дорожным происшествиям наша латинская сестра дает нам очко вперед. Больше несчастных случаев при почти вдвое меньшем количестве машин на дорогах. Особенно удивляет Германия (и в статистике бывают шутки): самая дисциплинированная нация в мире — чемпион Европы; в ФРГ 633 299 несчастных случаев, 12 386 убитых, 353 063 раненых. Но и ей не под силу тягаться с США с их 38 тысячами убитых, подумайте только!

** Соборная площадь (итал.).

мадоннины*, которая венчает здание и кажется парящей в черном небе, не спасает сей шедевр тупости. О нем и сказать-то хочется по-немецки: kolossal!

На этот счет у нас с Лиллой мнения совпали. Однако, едва мы нашли стоянку для Пафнутия, возникает спор. Лилла хочет побывать всюду. Для посещения церквей у нее в сумке приготовлено даже покрывало на голову и руки. Но мы договорились, что во время этой поездки музеи и памятники исключаются. В Италии им несть числа, а нас интересует человек, средний итальянец. Поэтому я и слушать ее не хочу, спорю, доказываю, напоминаю о ее обещаниях. Проявив таким образом свое «я», я следую за нею в собор.

За порогом совершенно иной мир. Величие, строгость, спокойствие, царящие здесь, волей-неволей внушают уважение; пораженный в самое сердце, я люблюсь огромными, нерасписанными нефами и чудесными витражами.

Миланцы называют свой собор незаконченным. Действительно, конкурс на отделку трех последних дверей был проведен совсем недавно... Но хватит о соборе**.

Для меня Милан — это Эмиль Винтер, теперь Эмилио Винтер; итальянцы произносят Винтере. Это друг. Брат. Мы познакомились с ним в лагере Урбисалья. Потом встретились в горах над Виссо зимой 1943/44 года. Там, разыскиваемый немцами, он ухитрялся ходить за больными и однажды спас английского офицера. Это исключительно мягкое и мирное, любящее и доброе существо. Немец. Мясник. У него маленькая фабрика в Милане. Всякий раз, когда вы едите в Италии «франкфуртские сосиски», знайте, что изготовил их мой друг Винтер.

За пятнадцать лет он не состарился. Но движения его стали медленнее и волосы поседели. Я спросил его о его делах.

— Мои-то дела идут превосходно, а вот Италия катится к экономической катастрофе.

* Уменьшительное от «мадонна». — *Прим. перев.*

** Если кому-нибудь требуется пояснение, то, желая быть добросовестным, я уточняю: он мне не нравится.

Это тот самый лейтмотив, который я еще услышу в разговорах большинства экономистов и предпринимателей.

Однако пора искать гостиницу. Словно нарочно большинство их стоит как раз там, где трамваи делают поворот. О, нам слишком хорошо известен их утренний скрежет, и поэтому мы укрываемся вдали от центра, на улице, где слышны только гудки автомобилей.

Хозяйка гостиницы расплывается в улыбке. Я спрашиваю:

— Как идут дела?

— *Benone* (великолепно), — отвечает она.

— Налоги не съедают все ваши доходы?

Она презрительно усмехается:

— *Macché!* (А-а, черт с ними!)

То, что налоги в Италии отнюдь не предмет беспокойства, подтвердится тоже еще много раз. Тому существуют две причины. Первая — изворотливость. Люди «устраиваются», а «устраиваться» и значит изворачиваться. Вторая причина — рост главным образом косвенных налогов. Например, бензин здесь дороже, чем у нас: 150 лир за литр. Туристы платят 100 лир. Отсюда блестящие возможности устраивать очень выгодные торговые дела.

Кроме того, во многих провинциях взимание налогов доверено *appaltatore* — откупщику, который подряжается их собирать. Как в сказке!

— Сегодня вечером мы спустимся в низы общества, — заявляет Лилла.

Мы обедаем в самом простонародном из всех простонародных кварталов. Маленькая закусочная с постоянными клиентами. Здесь такого рода заведение называется *траттория*. Посетителей обслуживают хозяин и хозяйка. В углу телевизор, который ревет во всю мочь, вещая последние известия. Хозяин старается вызвать нас на разговор о де Голле и, сам того не замечая, начинает говорить о себе. А ему есть о чем поговорить, бедняге! До выборов осталось пять дней — а кажется, что они уже были!

— Так всегда, *caro signore*. Станете вы бороться с господом богом? А ведь они его просто мобилизовали. Христианская демократия и священники

сумели притащить на землю всю святую троицу. Бог-отец стоит перед урной, Иисус протягивает вам бюллетень, а Святой дух ведет пропаганду.

Убеждения у нашего собеседника определенно левые, но в Италии нужно быть осторожным с выводами. В 1948 году из бесконечно длинной беседы с одним участником движения Сопротивления я узнал, что здесь встречаются коммунисты-монархисты, стоящие за полное восстановление светской власти церкви. Итальянец — еще больший индивидуалист, чем француз, он проводит свою собственную политику, не заботясь о партийной догме.

А пока хозяин дает волю своему раздражению против американцев. Никогда еще на этой планете ни одна страна не тратила столько денег для того, чтобы вызвать к себе ненависть.

— Наше правительство не свободно. Чтобы в этом убедиться, не требуется ни очков, ни умения читать и писать. Оно только выполняет приказы «Ваджингетона». Если Аике (мы уже знаем, это Аик) не даст согласия, дорогой мой, мы не будем иметь права поливать наши макароны мясным соусом. Однажды у нас уже было левое правительство*. Наши американские друзья разделались с ним в два счета. Ни доллара вам, сказали они. Христианские демократы! У них не большинство, а доллары. Долой Ватикан! Все священники прогнили, сударь. Все, кроме папы, да святится имя его. Он настоящий наместник бога на земле. Но он не знает о несчастьях народа. Он никогда не покидает Ватикан, где его окружают одни толстобрюхие. По моему виду, синьор, вы можете догадаться, что я...

Хозяин дает нам время подумать. Но не успела Лилла открыть рот, чтобы сказать «коммунист», он опережает ее:

— Я квалифицированный рабочий. Не из тех, кто подчас не имеет даже чистой рубахи. Я buono**, я умею работать. И тем не менее мне пришлось обратиться с завода, где у меня была хорошая работа.

* Когда это было?!

** Хороший (итал.).

Его жена приносит суп. Он ждет, пока она поставит дымящиеся тарелки, и страстно обнимает ее.

— Без такой выносливой и верующей женщины, сударь, мне бы оставалось только броситься в воду. Это благодаря ей у нас есть дети и есть чем их кормить. Попробуйте, мадам, попробуйте и скажите, умеет ли моя женушка готовить.

Лилла пробует. Я вижу по ее глазам, что она уже сомневается в его приверженности к коммунизму.

— Чудесный суп,— отвечает она.— А за кого вы голосуете в воскресенье?

Такой вопрос в Италии не звучит нескромно. На эту тему говорят открыто. Отвечает хозяйка.

— А за кого нам, бедным, голосовать! Нельзя же голосовать за кого-нибудь еще, кроме христианских демократов.

Я спрашиваю хозяина:

— Почему вам пришлось уйти с завода?

Он снова приходит в негодование:

— Почему? Потому, что он закрылся! Потому, что американцы ввозят те же товары, но продают их дешевле и дают по плану Маршалла деньги, чтобы мы эти товары покупали. А наши промышленники не обновили ни оборудование, ни методы производства. Эти *maledetti** больше всего заботятся о том, как бы потуже набить себе карманы.

Огромный детина за соседним столиком кладет ложку и вилку и фальцетом подтверждает справедливость этих слов:

— Нам нужна единая социалистическая партия. У нас их две. Одна хромает на левую ногу, у другой ампутирована правая.

Сказав это, он снова принимается за еду.

— Вы в воскресенье тоже голосуете за христианских демократов?

Он останавливает вилку в воздухе и начинает объяснять:

— Это единственный способ добиться мира в доме. До тех пор пока наши жены не перестанут ходить в церковь, мы...

* Проклятые (итал.).

Его жена — на ней шляпка, чтобы все видели, что она не какая-нибудь, — обрывает его:

— Ешь!

Он улыбается и замолкает. Хозяйка отвечает за него:

— Будь проклята Америка, которая нас бомбила во время войны, и будь проклят тот, кто ее открыл.

Они уже забыли, что Муссолини объявил войну США. Что касается того, кто открыл Америку...

— Но ведь Христофор Колумб был итальянцем? Разве нет?

Женщина широко открывает глаза. А муж ее презрительно роняет:

— Genovese! (Генуэзец!)

Ну, конечно же, это не совсем одно и то же — итальянец и генуэзец. Спор прекращается, так как по телевидению кончили передавать хронику, которая никого не интересовала, и начинается вечерняя программа. Все клиенты с тарелками в руках подсаживаются поближе к маленькому экрану. Мы с Лиллой остаемся одни в своем углу.

Возвращаясь домой, мы насчитали по дороге шесть бистро, тратторий, кафе и различных погребков. Во всех были телевизоры.

Просматривая газету, Лилла разрабатывает нашу программу на завтра. На piazza del Duomo открыта выставка, и, если верить «Голубому путеводителю», замок Сфорца тоже заслуживает посещения. Я категорически ее останавливаю. Никаких выставок, никаких музеев. Только люди. И точка. Лилла растеряна, она знает только два полюса притяжения: во-первых, памятники, во-вторых, рынки и обувные магазины.

— Но, овощи, мясо... — настаивает она.

— Единственное, на что я готов пойти ради того, чтобы ты смогла удовлетворить свое любопытство, это расстаться с тобой на завтра. Мы встретимся вечером в «Galleria»*.

Вот почему на следующий день я отправился в одиночное странствие.

* «Галерея» — пассаж, универсальный магазин.—Прим. перев.

Я начал с площади Миссори. Насколько мне известно, Миссори — единственный генерал, увековеченный верхом на изможденной лошади.

Один коммерсант, к которому я пришел без предупреждения, любезно согласился дать мне интервью. Как и все встречавшиеся мне до сих пор итальянцы, он очень расстроен: большинство голосов получают христианские демократы; ну и бог с ними — это «неизбежное зло». Иначе — прощай, свобода!

— Иначе мы на завтра же оказались бы коммунистами. Несчастье Италии, сударь, в том, что нет настоящей социалистической партии. (Знакомая песня; я уже слышал ее вчера вечером и еще раньше — во Франции.) Если бы была такая партия, она получила бы 80 процентов голосов.

Он вздыхает:

— Конечно, если церковь откажется от участия в избирательной кампании...

— Почему? Я считал, что итальянцы люди независимые и свободомыслящие...

— Это конечно так... Но не забывайте про жен! Они дают на мужей, и мужьям приходится время от времени ходить к обедне и голосовать на выборах *come Dio comanda**. Но не заставляйте меня говорить об этом, а то я поссорюсь дома с женой.

Он весь покраснелся. Я меняю тему разговора.

— Мне говорили, что дела идут хорошо.

Он сразу мрачнеет.

— Слишком хорошо. Мы несемся навстречу гибели. Кругом царят купля и продажа. Но от жадности итальянцы предпочитают покупать в кредит. Так что все это искусственно, одна видимость процветания. Нужно знать миланца. Заметьте себе, что он, конечно же, во сто крат лучше генуэзца или флорентийца (о южанах и говорить нечего). Но миланец ужасно любит жить не по средствам. Он блефует. Чтобы покрасоваться перед соседями, он заложит в ломбарде драгоценности жены, купленные в рассрочку, и отправится отдыхать за город. Депрессия в США ничто в сравнении с тем, что надвигается на нас. Новые дома растут как грибы, но старых квартир для

* Как бог велит (*итал.*).

продажи и сдачи внаем больше, чем новых. Да, мы пляшем, мы действительно пляшем. Но лишь для того, чтобы не чувствовать, как жмут новые ботинки!

— Но ведь промышленность и торговля процветают. Разве это не показатель здоровой экономики?

— Вы рассуждаете, как француз. У вас во Франции есть контроль за ценами, налогами, торговлей. Выдерживается или нет этот контроль — вопрос особый. Но так или иначе — это оружие в руках властей. У нас ничего подобного нет. Никакого контроля... У нас одинаковый продукт, одной и той же марки в двух соседних магазинах может продаваться по разным ценам. Темперамент склоняет итальянца к беспечности, к спекуляции. Он слишком верит в провидение, и поэтому экономика его страны не может быть здоровой. Сегодня все хотят иметь все, и немедленно. Стиральную машину, холодильник, радиоприемник, телевизор, электрический утюг, автомобиль и современную квартиру с горячей водой. Ради этого берут в долги и живут в долг до тех пор, пока не происходит взрыв. А это уже не кредит, синьор, это безумие. Деньги стали такой редкостью, что подчас, если у вас есть наличные, вы получаете 50 процентов скидки.

Он принимает таблетку, вероятно, для того, чтобы укротить разбушевавшуюся желчь, и, провожая меня, сокрушенно качает головой. Я не могу удержаться и задаю ему еще один вопрос:

— Ну, а ваши собственные дела?

В ответ — горькая улыбка.

— Если вы придете ко мне, вы окажетесь в одной из лучших миланских квартир с целой выставкой самых современных предметов сервиса. У меня автомобиль «Альфа Ромео», моя жена ездит за покупками на «Фиате-1100»; мы собираемся купить небольшую машину для сына, который осенью поступает на медицинский факультет. А пока я снял за 350 тысяч лир в месяц виллу на побережье, чтобы провести там отпуск. Дела, слава богу, идут хорошо, но лучше не задумываться, надолго ли это.

Он хватает меня за руку.

— У нас ежедневно опротестовывается векселей на один или два миллиарда. До свидания, мсье.

Десятью минутами позже Винтер подтверждает: — Правильно. Ну и что же? Ведь риск при торговле в кредит не превышает пяти процентов, а это в расчет не принимается.

У меня немного кружится голова. Личный опыт убедил Винтера в том, что самое главное — это уметь плясать даже на краю пропасти. Он приглашает меня на балкон и показывает на ощетилившийся небоскребами и кранами город. Совсем близко строится огромный дом.

— Это будет гостиница на американский манер — двадцать этажей. Целый город с кинотеатром, магазинами, бассейном, кондиционированным воздухом. В ней можно будет жить, совсем не выходя на улицу. А вот там, по другую сторону площади, видишь, дом? Его начнут разбирать на будущей неделе, чтобы выстроить новое здание. Еще один небоскреб. Снимают рельсы трамвая, роют туннель для метро. Но все это, брат, только с фасада. Милан живет не по средствам. Если бы у тебя был миллион лир звонкой монеты, ты мог бы купить весь центр — с Galleria в придачу. Жизнь здесь напоминает игру в покер: все блефуют. Можно выиграть и с двумя семерками, но для этого надо продержаться до последней ставки.

На улице у меня возникает ощущение, будто по крайней мере треть города состоит из новых домов. Правда, они не всегда построены со вкусом, зато мрамора, блеска, позолоты и украшений очень много. Новые арки вокруг Galleria отлично имитируют старый стиль. Но этот стиль, который все называют стилем Всемирной выставки, стал уже совершенно невыносим. Может быть, каждый здешний архитектор — нувориш? Я чуть не сломал шею, рассматривая смелый, но весьма мерзкий выступ последнего этажа небоскреба. Этот выступ венчает дом, как опухоль.

Вокруг снуют, торопятся, толкаются деловитые люди. Во всех направлениях мчатся с огромной скоростью машины. Невольно вспоминаешь о бродячьем движении, в котором частички мечутся во все стороны, то сталкиваясь, то разлетаясь в вечной кутерьме. Магазины завалены товарами. Люди входят, выходят с пакетами под мышкой. Спешат к ма-

пинам. Толчея, шум, гам. Вероятно, это и есть американский образ жизни. Люди ведут себя так, словно жить осталось всего несколько часов и нужно провести их в невероятном вихре деятельности. Повсюду плакаты (меня о них заранее предупреждали): «Vendesi» (продается), «Affitasi» (сдается). Магазины, квартиры. Все это не так уж уродливо, но и далеко не красиво. Но это придает городу определенное своеобразие.

Я облегченно вздыхаю: стоило пересечь мостовую — и оказываешься уже не в центре. Безо всякого перехода начинается провинция. На окнах, на балконах, на веревках, протянутых между фасадами домов, висит белье, словно удостоверение социальной принадлежности. По степени белизны, по качеству и состоянию этого белья прохожий может определить уровень благополучия, улицы или квартала.

У моего издателя я встречаю собратьев по перу, которые заводят ту же пластинку, но с некоторыми политическими обертонами. С их точки зрения, фашистской опасности больше не существует: единственные приверженцы прежнего режима — это те, кто из-за ложного представления о мужестве однажды совершив глупость, не желают в ней раскаяться. Зато, считают они, итальянская левая интеллигенция ведет более рискованный флирт с коммунистами, чем французская.

— Не оттого ли так получается, что единственные позиции, которых стоит придерживаться, — это крайние позиции?

Они обмениваются мнениями и несколько неуверенно рассуждают на эту тему, пока один из них не восклицает:

— На Юге это несомненно так!

Итак, новое подтверждение: невидимая граница, делящая Италию на две части, существует. В доказательствах приводят решение банков ввести летом «тропическое расписание рабочего времени» по ту сторону этой воображаемой линии.

— К югу от Сиены начинается Африка!

— Во всяком случае, возвращаясь к началу нашего разговора, нужно признать, что с фашистской

клоунадой покончено. Довольно сапог, помпонов и почетных кинжалов.

Чтобы я получил общее представление об экономической стороне жизни, мне предлагают пойти к редактору одной финансовой газеты. Прием, как всегда, самый сердечный. Меня угощают напитком, который мальчик-посыльный приносит из ближайшего бара. И сигаретой. Мой собеседник начинает:

— Да, Милан меняет кожу. В радиусе от одного до полутора километров от Собора 71 процент домов был уничтожен бомбежками. Если сюда добавить нормальные 10 процентов новых домов, построенных взамен обветшавших старых, то нетрудно понять, почему вам показалось, что центр города на 80 процентов построен заново, хотя небоскребов относительно не так уж много. Увеличение жилой площади не покрывает, конечно, потребности в ней. Но, как это ни парадоксально, предложения о продаже и сдаче внаем значительно превосходят спрос. Чем это объяснить? Слишком дорого. Почему же тогда строительство продолжается? Очень просто. Спекулятивные капиталовложения. Строительные предприятия финансируются обычно крупными финансовыми организациями. Наличные деньги — это в наше время целое событие, и если уж вам дали их в долг, вы должны обязательно вложить их в дело. Это свойство кредита. А вот вам другая сторона проблемы: квартиру в многоквартирном доме легче продать — в рассрочку, — чем сдать внаем. И это особенно относится к дорогим квартирам в новых домах. В наши дни потребитель привык получать за свои деньги что-нибудь осязаемое. Договор, который делает его через двадцать-тридцать лет собственником стен, в которых он живет, кажется ему чем-то более разумным, чем договор на съем, который фактически оставляет его с пустыми руками.

С блаженной улыбкой он продолжает:

— Но покупка квартиры в кредит — самая скверная в наше время операция. К счастью, когда средний покупатель берет карандаш и начинает выводить сальдо, он делает это, в общем-то, только для того, чтобы подсчитать свои возможности, а не для того, чтобы определить выгодность своего вклада. В де-

вяти случаях из десяти, чтобы приобрести квартиру, будущий владелец берет деньги в долг. Но в течение двадцати — двадцати пяти лет он будет ежегодно выплачивать взносы, которые значительно превосходят сумму квартплаты, и весь увязнет в долгах, делая в договорные сроки платежи по обязательству, за амортизацию и проценты. Наличных денег почти ни у кого нет, и проценты под ссуду уже сейчас подскочили до 11—12. Наш несчастный не видит дальше своего носа: в самом деле, пока он не расплатится за свою квартиру полностью, он освобождается от налогов за нее. Но ведь никому не известно, до каких размеров вырастут эти налоги через двадцать — двадцать пять лет. И если бы только это. Но нет! Совершенно очевидно, что за это время отчисления на содержание и ремонт дома возрастут. А, кроме того, покупатель будет уже слишком стар, когда сможет наконец свободно пользоваться своим приобретением.

Экономист с довольным видом откидывается на спинку кресла.

— Такой бурный приток средств в новое строительство вызван общей погоней за благами жизни, которые стали вдруг доступны людям со средним и даже со скудным достатком. Но главным образом это следствие введения твердой квартирной платы (вы, разумеется, не найдете квартиру с твердой квартплатой... если, конечно, не заплатите за это). И вообще строительство жилищ дает двойную выгоду: во-первых, оно приносит большую прибыль, а во-вторых, это хотя и иллюзорная, но все же чего-то стоящая страховка на случай девальвации. Теоретически лира, конечно, вне всякой опасности. Беда только в том, что ее покупательная способность падает с каждым днем. Сумма, которую надо выплатить через десять лет, но размер которой определен сегодня, может оказаться смехотворно малой по сравнению с зарплатой, которая за эти десять лет обязательно вырастет.

— А безработица? Говорят, у вас три-пять миллионов безработных.

Он останавливает меня величественным жестом руки.

— При всей своей правильности официальные данные не соответствуют действительности. Они учитывают множество людей, которые вовсе не расположены иметь зарегистрированную работу и даже стремятся избежать ее, чтобы иметь право на пособие по безработице. И если оптовые цены сейчас день ото дня падают, а розничные растут, то происходит это из-за бесконечного удлинения цепи посредников, в которую включаются эти добровольные безработные и безработные по призванию.

— Мне говорили, что ежедневно опротестовывается векселей на сумму один-два миллиарда.

— Ну и что же? Это просто специфика Италии, где всегда приходится считаться с профессиональным мошенничеством, которое, между прочим, совершенно не сказывается ни на частном предпринимательстве, ни на официальной кредитной системе.

— Один промышленник сказал мне сегодня утром, что жизнь в Милане напоминает игру в покер, где каждый блефует.

— Конечно. Но что в этом плохого? Предприимчивость итальянца неизбежно приводит его к тому, что он начинает жить не по средствам. Стало быть, он вынужден работать изо всех сил. Честолюбие всегда приносило пользу. Но, конечно, если вола впрячь сзади плуга, это может вызвать некоторые осложнения. Впрочем... теперь впрягают не волов, а тракторы.

— Купленные в кредит?

— Главное — пахать.

— Пожалуй.

Я спешу к месту встречи с Лиллой. Беру такси. Молодой и к тому же услужливый водитель принадлежит к породе людей, которые не боятся ни бога, ни черта, ни пешеходов, ни полицейских, ни машин. Чтобы побороть волнение и подавить страх, я спрашиваю: доволен ли он жизнью. «Очень, — отвечает он, — дела идут отлично». Сколько он платит налогов? Удивленный, он резко оборачивается и внимательно разглядывает меня. Я начинаю жалеть, что задал свой вопрос не на стоянке. Потом он говорит, что ответить на этот вопрос трудно: надо произвести очень сложный расчет. Словом, передо мной еще один лов-

кач, который умеет устраиваться. В свою очередь он интересуется, не журналист ли я. Он ищет журналиста, чтобы дать ему интервью. У него есть проект упорядочения уличного движения в Милане. Ибо... он не знает, обратил ли я внимание, но большинство автомобилистов — кроме него, конечно, — сумасшедшие! В ту же минуту волосы у меня встают дыбом. По самой середине улицы петляет на крошечном велосипеде мальчик не старше пяти лет. Перед ним на раме сидит его маленькая сестренка и смеется, показывая все зубы, которые успели вырасти у нее во рту. Ей нет и двух лет.

Лиллы нет ни перед одной из витрин «Galleria». В центре под куполом с вычурным витражом пол выложен мозаикой, изображающей быка. Там-то я и увидел мою жену. Она поставила свой острый каблук на самую деликатную часть тела животного и крутится на месте. Все миланцы считают, что этот ритуальный обряд *porta fortuna* *. Упомянутая часть тела бедного быка могла бы многое рассказать об этом обряде: миллионы каблуков почти стерли ее.

Лилла берет меня под руку и говорит, игнорируя мой растерянный и усталый вид:

— Просто безумие, мой дорогой, как вздоржала обувь!

Назавтра, перед тем как покинуть Милан, мы, конечно, пойдем, сверх нашей программы, на выставку, расположенную на Соборной площади, и в замок Сфорца.

Семь коммун



Держа путь на восток, мы тщетно пытаемся подвести кое-какие итоги. Северная Италия в гораздо большей степени, чем Франция, производит на нас впечатление процветающего края. Но сами итальянцы утверждают, что это картон-

* Приносит счастье (*итал.*).

ный фасад здания, что впереди их подстерегает катастрофа.

Впрочем, более значительным кажется мне другое. Все без исключения наши собеседники говорили о Юге. Простое упоминание о проблеме Юга уже полно глубокого смысла. Раньше это была запретная тема, и говорить о ней было так же неприлично, как рассказывать о своих семейных неурядицах. Воспитанные люди, словно по уговору, избегали ее. Разумеется, иногда ее обсуждали в официальных кругах. Но в обществе намеки на невероятную нищету, на нестерпимые условия, в которых живут люди южнее Неаполя, считались признаком дурного тона.

Юг волнуется! И это действительно любопытно. Все сейсмографы регистрируют толчки. Когда Карло Леви положил почин, написав «Христос остановился в Эболи», его отличную книгу встретили горячо и восторженно. Так могли бы приветствовать смелость гражданина, который открыто и мужественно заговорил об опасности сифилиса или о несправедливости остракизма в отношении матерей-одиночек. С тех пор утекло много воды, и Юг теперь у всех на устах. По общему мнению, чтобы получить представление об Италии, нужно побывать на Юге.

В Бергамо мы покидаем опасный платный каток, называемый автострадой, для того, чтобы позавтракать. И не раскисаемся. После несколько разочаровавшей нас новой нижней части города (какое-то нагромождение гигантских разноцветных кубиков для взрослых), после крутого подъема, оказавшегося серьезным испытанием для Пафнутия, мы выехали на прелестнейшую старинную площадь — пьядца Веккья (Старая площадь), таково ее вполне подходящее название. Посреди площади — фонтан, из которого охотно пили бы многочисленные голуби, если бы один старый самец-драчун не возомнил, что край фонтана — это часть его жизненного пространства. Вокруг необычайная тишина. Мы уже не раз наслаждались такой феноменальной тишиной в этой стране, самой шумной на свете. Наверное, это старые прекрасные камни заглушают шум и заставляют вас говорить тихо. И спорим мы с Лиллой тоже вполголоса. Я хочу съесть омлет. Вот уже двадцать лет, как

она, жалея мою печень, не дает мне яиц. Я же считаю... Короче, я заказываю бифштекс, а она омлет.

После Бергамо — Брешиа. Огромное разочарование. Промышленность и сопутствующий ей человеческий муравейник; трубы, венчающие город и тротуары, покрытые грязью, гонят нас дальше. Этому вездесущему архитектурному стилю Лилла придумала определение — спичечные коробки. Изощренной фантазии архитекторов хватает лишь на то, чтобы придумывать новые формы и раскраску неизбежных балкончиков. Плоские крыши придавливают город.

Впоследствии Верона укрепила наше убеждение в том, что камни истории должны бы пользоваться бóльшим уважением и быть более требовательными в своих отношениях с новыми зданиями, которые их окружают. Бывает, конечно, иной раз, что современный архитектор хорошо почувствует дух произведений своих предшественников и вписывает новый дом в ансамбль города, не вызывая у людей зубовного скрежета. Но чаще всего, увы, либо по небрежности, или по неспособности, либо по неопытности, либо по недостатку средств, либо, наконец, из-за всего этого, вместе взятого, «спичечную коробку» просто-напросто втыкают среди старины, из-за чего старина начинает казаться старьем. При этом происходит то, что мы называем (вспомнив нашу прежнюю работу на радио и тамошнюю терминологию) эффектом Ларсена, то есть появление диссонирующего звука, возникающего в результате акустического взаимодействия между микрофоном и репродуктором.

Мы были полны таких раздумий, как вдруг неожиданное зрелище захватывает нас целиком. Верона. Вот она, настоящая, единственная Верона былых времен, небрежно расположившаяся на берегу Адидже, словно старый, усталый, но гордый воин, опирающийся на свой щит. Какая прелесть! И столь же внезапно нас постигает новое разочарование! Между почтенными стенами протянулись электропровода. Движение регулируется светофорами. Со слезами на глазах представляешь себе Монтекки и Капулетти, преследующих друг друга по узким улочкам с оружием в руках и внезапно задержанных на перекрестке

красным светом. Джульетта в шортах, стоя на балконе, нетерпеливо отбивает своей ножкой, обутой в сандалии, джазовые такты, а Ромео, взобравшись на сверхсовременную пожарную лестницу, поднимается к ней безо всякого труда, потрясая радиоприемником на полупроводниках. Все это такой же шокинг, как лыжный костюм на рауте у маркизы.

Равнодушные к этим контрастам голуби воркуют на карнизах окон, слетаются к центру прелестной площади за зернами, которыми их кормит двухлетний ребенок. А вокруг — настоящий цирковой манеж: туристские машины проезжают под порталом, охраняемым полицейским в каске и белых перчатках, объезжают кругом площадь, уезжают под арку, видевшую века, и сразу попадают под власть другого полицейского, который направляет поток машин вдоль берега Адидже, по маршруту, разработанному «Обществом туризма».

Отринув это поруганное великолепие, мы возвращаемся на автостраду, не попрощавшись с бессмертными влюбленными. Ну как не пожалеть о щемящей нежности, которой некогда веяло от этих мест? Лилла успокаивает меня, замечая, что дать людям жилье и современный комфорт — дело, может быть, более срочное, чем сохранять города, посещаемые лишь туристами.

Вполне возможно. И тем не менее жаль. Вероятно, есть средство удовлетворить и тех и других. Правда, жизнь иной раз требует умения терпеливо ждать, и, конечно же, время, а не человек — самый большой иконоборец.

Цель нашего сегодняшнего маршрута — Азиаго. Здесь живет человек, с которым уже четыре года я очень хочу познакомиться. Это Марио Ригони-Стерн. Я перевел одну из его книг и полюбил одновременно и книгу, и человека, который ее написал. Это великодушный тип мужчины в возрасте между тридцатью пятью и сорока годами, типичный *alpino* *, с бородкой из тех, какие носили в прошлом веке, с растрепанными волосами, блестящими зубами и глазами невероятно милой наивности. Азиаго — это большая деревня

* Альпийский горец (*итал.*).

в горах над Виченцей, расположенная на высоте нескольких тысяч метров над уровнем моря.

Ригони встречает нас радостно. Наш приезд его прямо-таки растрогал. И где только итальянцы умудряются постоянно обновлять свои запасы приветливости, почти вышедшей из употребления вежливости и любезного отношения к иностранцам? Шесть часов в сутки без перерыва, с 8 утра до 2 дня, он отсиживает в *Município**, в земельном отделе; а после рассказывает нам сразу десять историй, и все они глубоко человечны, оригинальны и интересны. И касаются лично его — отца семейства и писателя. Как быть автору книги, получившей литературную премию — одну из самых крупных, но далеко не достаточную для того, чтобы можно было оставить службу и жить литературным трудом. Как ему, например:

а) выкручиваться с зарплатой в 54 тысячи лир в месяц?

б) писать новую книгу?

Зарплату он мог бы получать и побольше. Но за каждые примерно 4 тысячи лир в месяц ему придется увеличить свой рабочий день на целый час, а пособие по многосемейности уже входит в его зарплату: 6 тысяч на жену и по 2 тысячи на каждого из троих детей. Плата за квартиру — 9 тысяч лир. Школа, благодарение создателю, ничего не стоит, но зато учебники! В этом году на них ушло 22 тысячи. Репетитор для старшего сына (чтобы помочь перейти в следующий класс) — бедствие в 18 тысяч лир. С каждым новым нулем его лицо все больше темнеет, но ненадолго. И вот он уже говорит о своих горах. Когда дела идут плохо, когда он не знает, как справиться с нуждой, он берет свое ружье и идет в лес.

— Вы когда-нибудь слышали пение *urogallo* (разновидность тетерева)?

Белые зубы открываются в ослепительной улыбке, а смеющиеся глаза прячутся под веками.

— Это единственный способ позабыть о заботах! Завтра вы обедаете у нас. Я приду из муниципалитета после 2 часов дня. Мы сразу же отправимся на прогулку. Посмотрите, это интересно. Благодаря вашему

* Муниципалитет (*итал.*).

Наполеону Азиаго теперь забыт, но в течение многих веков он пользовался славой.

И я узнаю то, о чем нам никогда не говорили в школе. Рассказ Стерна похож на сказку.

В 1260 году впервые возникла Федерация Семи земель — Азиаго, Роана, Ротцо, Галлио, Энего, Фоца и Лузиана. Их союз, официально учрежденный в 1310 году, имел свое правительство, полицию, послов в Венеции, Вероне, Парме, Флоренции и Вене. Азиаго был политическим и административным центром Федерации. Великой традицией этой крошечной, никому не ведомой Швейцарии была борьба за свободу. Поэтому горцы всегда воевали. Даже на работу в поле крестьяне отправлялись с ружьями. В воскресенье, перед тем как подняться на кафедру, священник пересчитывал ружья, оставленные перед входом в церковь: не завелся ли среди прихожан умник, пренебрегающий обедней.

Но вот в 1807 году Наполеон подписал в Кампо-Формио договор, который положил конец независимости. Император отдал высокогорный район Австрии! Однако после 1848 года революционные настроения охватили и жителей Азиаго. Снова началась борьба, и наконец в 1866 году состоялось присоединение области к итальянскому королевству.

Сейчас самое беспокойное место бывшей федерации — деревня Сассо, в 13 километрах от Азиаго. Тамошные жители всегда были лесорубами. Много веков они валили деревья в своих лесах. Теперь же этот источник дохода иссяк. Люди стали угрюмыми, замкнутыми, озлобились. Эти ребячливые и невежественные бездельники каждую весну отправляются на заработки во Францию, а осенью возвращаются домой. Не умея с толком распорядиться своим скудным заработком, они всю зиму проводят в остерии *, где пьют граппа ** и играют в карты. Поножовщина случается редко. Это все-таки Север. Зато кулачные драки — сплошь и рядом. Сущие дети: они привозят из Франции электрические бритвы, а у них в деревне нет электричества.

* Харчевня.— *Прим. перев.*

** Виноградная водка.— *Прим. перев.*

Один булочник обвинил свои ботинки в том, что из-за них у него болят ноги; он разулся и наказал ботинки топором. Им не хватает хлеба, а они покупают кукол и всевозможные безделушки, чтобы походить на синьоров.

Особенно роскошно они жили в первые годы после первой мировой войны. С 14-го по 25 мая 1916 года на плоскогорье разыгралась большая битва. Неподдалеку от Азиаго еще высится памятник тридцати девяти тысячам погибших. Жители Сассо стали сборщиками лома. Вооруженные голодом и неопытностью, они отправлялись на поиски гранат, снарядов и другого железа, зарытого в земле или брошенного в траншеях. Иногда милосердная пресвятая дева посылала им большой неразорвавшийся снаряд килограммов на триста. Они подрывали его и осколки продавали как лом. Но часто только могильщик имел выгоду от этого сбора. На войне как на войне — не так ли? Некоторым хитрецам удавалось собирать даже порох. То было время отчаянного процветания. И сейчас еще в Сассо есть такие, что знают заветные места и отправляются туда спозаранку на работу. И тогда можно вдруг услышать взрыв, эхо которого прокатывается от вершины к вершине. Иногда какой-нибудь бедняга не возвращается домой...

Деревня Сассо входит в коммуну Азиаго. Ее представители заседают в муниципальном совете Азиаго. После последней войны они добились наконец денег на восстановление своей церкви, хотя было уже ясно, что самая деревня обречена на исчезновение. Тогда-то возник конфликт. Деревне отпустили деньги на электрификацию, а представители Сассо предпочли построить на них колокольню.

Сассо. Качающиеся камни, словно распатанные зубы, прицепились к неправильной формы утесу, похожему на десну старика. Уныло. Из тысячи человек в деревне осталось триста, в том числе шестьдесят мужчин, слишком старых или слишком молодых, чтобы работать. Почему они так упрямо цепляются за эту землю, переживая день за днем агонию своей маленькой родины? Они отвечают: а почему бы нет? И объясняют просто и прямо: *abbiamo la casa qui*. Здесь наш дом.

Ныне большинство домов пустоует. Не вполне отдавая себе отчет в том, что он делает, хозяин остерии, единственный, кому выгодно это упрямство, решил отремонтировать плиточный пол в зале для танцев. «Сассо уменьшается, а я расту», — комментирует он. К нему недавно приехал из Падуи сын, который учился на механика. Едва приехав, он сбрасывает свой городской пиджак и вмиг сливается с окружающей обстановкой. Вероятно, ему и в голову не приходит делать какие-нибудь сравнения между здешней жизнью и городской, настолько привязанность к дому, где бы он ни находился, кажется ему естественной.

Входит жажущий посетитель. Дважды он ездил в Австралию. И дважды возвращался к своему клочку земли на кладбище. Целый год ничего не делая и бывая лишь в этой остерии с ее совсем домашней обстановкой (за стаканом вина посетители здесь сами ходят на кухню), он истратил все свои деньги. Ему едва удалось наскрести на билет для третьей поездки. Я его спрашиваю:

— Вы опять вернетесь?

Он удивленно таращит глаза.

— Конечно. Как только соберу деньжат.

Некоторое время он размышляет над моим вопросом и добавляет:

— Куда же мне еще ехать? Здесь мой дом.

Тут в семьях говорят о поездках в далекие страны точно так же, как у нас рабочий в воскресенье вечером говорит: «Ах, завтра надо идти на завод».

Эмиграционные течения уносят этих лесорубов главным образом в Австралию и Канаду. Во Францию они тоже уезжают, но лишь на несколько месяцев. Передо мной рабочий, который не собирается во Францию нынешней весной. Я жду, что он сейчас начнет жаловаться на нашу страну. Ничего подобного.

— У меня еще остались деньги.

— А здесь действительно нечего делать?

Вся остерия хором протестует против такого предположения, начиная громко перебирать существующие возможности и загибать при этом пальцы. Джулио водит автобус между Сассо и Азиаго. Джованни

ежедневно работает на почте. Есть еще Оресте, торговец фруктами.

— А у нас с сыном эта остерия, — вмешивается хозяин. — И это все, если не считать торговца мороженым, галантерейщика и портнихи, да еще священника, ну да, конечно, священника...

— И еще *totocalcio*? — насмешливо спрашивает Лилла, стараясь побороть волну тоски, которая вдруг нахлынула на нас.

Но они невозмутимы: ни мрачный, ни веселый юмор до них не доходит. Шофер автобуса привозит и отвозит карточки *totocalcio* — футбольного тотализатора. Я настаиваю: значит, решительно никаких возможностей для работы?

Чтобы доказать мне обратное, меня выводят на дорогу. Неподалеку ручей прорезал узкое ущелье в скале. Ложе ручья высохло. Зимой он несет свои воды в Brentu, которая доносит их затем до Венеции. Когда-то этим путем сплавливали лес, срубленный в окрестностях Сассо. Судоверфи республики Святого Марка были в хороших отношениях со сплавщиками. Позже этим путем пользовались контрабандисты, которые высоко в горах, подальше от таможенников и налоговых инспекторов, выращивали свой табак. Его отвозили в город перекупщикам: они платили за него больше, чем правительство, которое ввело свою монополию на табак.

— Почему вы больше этим не занимаетесь?

Они разводят руками.

— Маh!

«Маh» — это значит «а черт его знает!» Одновременно это ответ, смысл которого целиком в интонации. Можно перевести и так: сами понимаете — отчасти — лень, отчасти — опасно, отчасти — некому, отчасти — привычка кататься по дальним странам и вообще плыть по течению.

Австралиец заключает:

— *Egano bei tempi*, — что равнозначно нашему: да, бывали хорошие времена.

Возвращаемся мы молча.

Одинокая и голая колокольня возвышается среди развалин и полуразвалин. Хозяин траттории рассказывает нам, что из-за отсутствия колокола священ-

ник ставит пластинку с записью колокольного звона. Муниципальный советник Ригони шепчет мне на ухо со смесью раздражения и восхищения:

— О! У них еще будут колокола! Они упрямы.

На обратном пути я спрашиваю его, почему в Азиаго продолжают считаться с этим бессмысленным упрямством. Оказывается, в далеком прошлом города Союза составляли конфедерацию с общим землепользованием. После договора в Кампо-Формио (1807) и до тех пор, пока фашизм не заменил избираемую администрацию назначаемыми подеста (мэрами), коммуны были связаны друг с другом общей собственностью, которой распоряжался муниципалитет. Под нажимом нотариусов и адвокатов, с помощью подеста и всех тех, кто был заинтересован в заключении подрядов на сотни миллионов лир (довоенных), коммуны решили разделиться. Разделившись, коммуны сами стали хозяевами своей земли. Случилось так, что деревня Азиаго, расположенная более выгодно, стала горным курортом. Там было построено несколько столярных мастерских и сыроварен; на время двух туристских сезонов — зимнего и летнего, по правде говоря, очень коротких здесь, — у Азиаго устанавливается связь с внешним миром. Сассо же оказалась в стороне. Но ее жители тем не менее остались совладельцами обширных земель коммуны. И вот...

— *Lasciamoli camprá**.

Всем нужно жить. Иначе говоря, муниципалитет достаточно богат, чтобы позволить себе роскошь уступить капризу жителей умирающей деревни.

Ригони улыбается, просит меня остановить машину и показывает тропинку.

— Один житель Сассо вернулся из Южной Америки три года тому назад с миллионом в кармане. Его дом был в конце этой тропинки, по которой тогда могли пройти только мулы и люди. Он расширил ее за свой счет, чтобы ездить по ней на кадиллаке.

Дом. Casa. Здесь он называется baita. В книге Ригони «Сержант в снегу» солдаты несчастного экспедиционного корпуса в России все время задают своему унтер-офицеру один и тот же вопрос:

* Пусть их живут (*итал.*).

— Скажите, сержант, мы увидим свой дом?

Теперь, когда я увидел этих людей, мне стала понятнее эта одержимость.

На другой день Ригони ведет меня на «общественную стройку», чтобы ознакомить с одной из итальянских социальных проблем. Стремясь как-то рассосать безработицу, министерство труда предоставляет некоторым организациям, ведущим строительство общественных зданий, значительные субсидии, предписывая использовать местных безработных по ставкам ниже тех, что утверждены профсоюзами. В девяти случаях из десяти, по словам моих собеседников, такого рода проекты представляют, поддерживают, навязывают силой... да, да, представьте себе! — священники.

Начальник стройки Витторио принадлежит к числу тех итальянцев, которые мне особенно нравятся: высокий, сильный, властный, с обдуманно жестами и речью, со спокойным и мягким взглядом. Неторопливая и спокойная сила. Надежный человек. Скала. Он старый социалист. У него собственное мнение о таких стройках.

— Когда вам плохо, вы принимаете аспирин. Это успокаивает боль, но не излечивает болезнь.

Плавным жестом руки он показывает мне огромное строящееся здание.

— Здесь будут жить четыреста городских детей со слабым здоровьем... из бедных кварталов. Здесь они подлечат свои бронхи. Летом во время каникул детей будет на двести человек больше. В радиусе трех километров отсюда строятся еще четыре таких дома. В Галлио прогорели два роскошных отеля; попы их купили для той же цели. Наш целебный горный воздух вернет здоровье примерно двум тысячам детей. Через десять лет они будут голосовать за Христианско-демократическую партию. И в свою очередь дадут деньги для того, чтобы сюда приехали лечиться и обратились бы в истинную веру другие, сейчас пока еще не родившиеся дети. *Non c'è fine ai mali dell' Italia.* (Нет конца бедам Италии.)

— Почему же другие партии не поступают так же?

— Потому что их предложения были бы отклонены, — спокойно, без всякой иронии отвечает он.

Тогда я загоняю его в угол:

— Как же вы относитесь к такому способу борьбы с безработицей? Минимальная зарплата, утвержденная профсоюзами, составляет для чернорабочего 1200—1300 лир в день. А на этих «стройках для рабочих» безработным платят 700 лир. Согласны ли с этим профсоюзы? — спрашиваю я.

— Да, они сами способствуют таким делам, эти профсоюзы! — восклицает он. — А то от этого у них будет gratta-sarı (мигрень, неприятности).

— А частные предприниматели? Они не протестуют против конкуренции государства?

— Нисколько. Вероятно, и они так или иначе находят свою выгоду. Власти смотрят сквозь пальцы на некоторые злоупотребления с их стороны. Я тебе — ты мне. Это общее правило.

Он сплевывает на землю.

— В общем-то мне стыдно. Стыдно, потому что все это делается на наши деньги. Потому, что хоть и делается то, что нужно, но делается в действительности не государством.

— За кого вы будете голосовать в воскресенье? Следует тяжелый вздох.

— За социалистов. За кого же еще голосовать? Это ничего не изменит, но голосовать против них еще хуже.

— А ваша жена?

Он долго смотрит на меня и отчетливо выговаривает:

— На избирательный участок ее отвозит в машине одна дама-патронесса. И моя жена очень гордится этим.

Проходит рабочий с тачкой и робко кланяется нам. Скрюченный и тощий, как гвоздь. Обождав, когда он пройдет, Витторио бросает:

— Что я вам говорил? Большинство здесь такие же, физически истощенные люди. На нормальную стройку их не возьмут. У этого искривление позвоночника, и ему вообще не следовало бы работать. Но у него шестеро детей. Пособие по безработице составляет 250—300 лир в день. Здесь же, по крайней мере, вместе с премией за качество, которую я как начальник стройки могу ему выписать, и включая

пособие по многосемейности, он получит 1200 лир. При нормальных условиях рабочий его категории должен был бы получать около 2800 лир. Идемте, я вам представлю еще одного.

Он ведет меня в деревянный барак.

— Вы сейчас увидите повара.

— Разве рабочих кормят?

— Похлебка в полдень.

Повар — маленький, безусый и веселый человек в баскском берете. Его зовут Мозе. Моисей? Я спрашиваю:

— Вы еврей?

— Я-то? — Он улыбается всеми своими пустыми деснами. — Потому что меня зовут Моисеем? Ничуть не бывало! Представьте себе, в год моего рождения проливные дожди затопили наш квартал, и моя колыбель поплыла по воде. Понимаете? Вот поп и выдумал. Понимаете? Это чуть-чуть не кончилось очень плохо во время оккупации. Немцы не хотели мне верить. Приходилось спускать штаны...

— Почему? — удивляется Витторио.

Мелко семеня, Мозе пускается в разъяснение таинства обрезания, втолковывая:

— Ну, первое января, осел! День обрезания Иисуса!

И тут Витторио застывает с открытым ртом:

— Как? Иисус был еврей?

Венецианский карнавал



По дороге к Виченце, по укоренившейся за неделю привычке, мы, не выходя из машины, фиксируем наши впечатления. В этих местах колокольни прямые и тонкие. Они увенчаны остrokонечными крышами-колпаками на манер сахарной головы и очень отличны от здания церкви. Эти колокольни похожи на наседок, вытянувших шеи,

чтобы издали заметить опасность, которая может грозить их выводу.

За городом снова начинается дорожная коррида. Хорошо еще, что на заднем сиденье почти каждого мотороллера сидит красивая итальянка, которая делает водителя немного осмотрительнее. Во Франции пассажирка садится на мотороллер верхом, так что есть из-за чего открутить себе шею. Не знаю, что руководит итальянками — стыдливость, сознательное стремление принять красивую позу или врожденная пластика, но они садятся как амазонки: боком, изящно скрестив ноги, так что тоже есть на что посмотреть. Но, увы! Матери семейств, тоже заботясь о красоте позы, с удивительной беспечностью устраиваются на багажнике, держа нередко на коленях своих отпрысков в возрасте нескольких месяцев. При виде этого мы с Лиллой от страха втягиваем головы в плечи, воображая резкий скрежет тормозов, скольжение маленьких колес и... Нередко на мотороллер взгромождается целая семья. Старший ребенок стоит между рулем и сиденьем отца, младший — заклинен между папой и мамой, а самый маленький, еще в пеленках, покоится у мамы на коленях.

Ну что же! Во все времена находились люди, считавшиеся серьезными и утверждавшие тем не менее, что войны имеют свою положительную сторону, что пресловутое кровопускание необходимо для того, чтобы бороться со слишком быстрым ростом населения. В каждой стране есть свои мальтусы.

Мотороллер буквально изменил облик полуострова. Помнится, вскоре после освобождения я видел в Риме на виа дель Тритони выставленный в витрине один из первых мотороллеров «Веспа». Толпа потешалась над ним. Он был смешон. Спустя два года его называли спальней. Дело в том, что в Италии мужчине и женщине, не состоящим в браке, не дадут комнаты в гостинице. Став легко доступным средством передвижения, мотороллер дал возможность молодым людям увозить своих дульциней в лес. Отсюда и прозвище.

Виченца — прелестный город, веселый, богатый. В нем ровно столько новых домов, сколько нужно для того, чтобы исказить облик многих кварталов и

нарушить их гармонию. Город окаймлен широкой улицей, которая уходит вдаль, открывая прекрасную панораму. Начинается улица подъемом к собору; с правой стороны ее возведена аркада, чтобы богомольцы и зрители могли укрыться от дождя или чрезмерной жары.

Запасаемся горючим. Заправщик очень услужлив; он замечает номерной знак Пафнутия и раздражается: Франция! Самая прекрасная страна в мире! Красоты Италии? Плевать ему на них! Все люди здесь негодяи. Страна идет к черту. Ничего не подедаешь. Отвратительно. Работы нет. Всякая дрянь гребет миллионы лопатой, а такие бедняки, как он, дохнут от голода, тщетно протягивая руки за подающим.

— Я был так счастлив во Франции, мсье, мдам! Я вернулся только потому, что отец написал, будто он умирает. В итоге — он не умер, а мне пришлось искать себе работу. Но я здесь не останусь. О негодяи! Ну нет! Меня не возьмешь. 50 лир в час, понимаете вы это? И еще нужно кланяться в ноги. Когда хозяин приходит за выручкой, я должен называть его *compendatore**, иначе он меня выгонит. А другого ничего не найдешь — только безработицу!! Нет, я непременно уеду!

Он вешает свой шланг, изображая при этом, как он рвет на себе волосы.

— И что заставило меня вернуться? Я уезжаю обратно во Францию! У вас есть купоны? Спасибо, сударь. Послезавтра я уезжаю.

— А на что вы купите себе билет? Ведь ваши 50 лир в час...

Он смотрит на меня, изумленно раскрыв рот.

— А чаевые, мсье!

Так-то. Остается только преклониться перед этим аргументом и ехать дальше.

В Венеции, покинув Пафнутия в гараже, мы с чемоданами в руках снова пускаемся в путь, на *vaporetto*.

Как бы вам объяснить, почему Венеция разочаровала нас? Даже вызвала отвращение к себе. Вероятно, виной тому бесчисленные ее изображения со времен

* Начальник (*итал.*).

неистощимого Каналетто*. Ни разу не замочив здесь ноги, вы уже знаете «Королеву Лагуны» наизусть. Вероятно, впечатление от «Неоконченной симфонии» Шуберта и от «Венгерской рапсодии» №2 Листа тоже было бы у нас иным, если бы в свое время нам не протрубили ими уши.

Короче говоря, нет! В довершение всего город выстроен безвкусно. А плохой вкус приемлем только тогда, когда он уместен. Например, церковь Сакре-Кер, венчающая Монмартрский холм в Париже. У подножия Эйфелевой башни она была бы отвратительна. В Венеции шокирует именно стремление сделать все доступным пониманию всех. Еще немного — и на старинных дворцах появятся таблицы с сообщением о дате постройки и их нынешней цене. В марках или долларах, разумеется! В крепкой валюте. Здесь неприятно поражает продуманный, рассчитанный на широкую публику и отчетливо ощущаемый подбор мест для выжимания денег из приезжего туриста, к какой бы категории он ни принадлежал. Дворец, гостиница, пансион, ресторан, старинный дом, площадь или площадка; вапоретто — пароходик, идущий вдоль Большого канала, останавливается поочередно то на левой, то на правой стороне. Чтобы никому не было завидно. Не толпитесь, хватит на всех! (Помните, как Христос напоил жаждущих?) Каждый метр земли или воды имеет свое акционерное общество по эксплуатации.

Венецианцы? Где же они? Здесь встречаешь лишь всякого рода обслуживающий персонал; все они говорят по меньшей мере на четырех языках. Туристов — этих предостаточно. Бесспорно, мы попали в какую-то немецкую колонию. Вокруг нас говорят лишь на бывшем языке Гёте, приправленном всевозможными акцентами от гамбургского до мюнхенского. На нашем пути попадаются гондолы, но... прощайте, сентиментальные грезы. Гондольеры состоят в профсоюзе, и тарифы за их эксплуатацию объявлены повсюду: на замшелых бревнах, на древних сваях,

* Каналетто (1697—1768) — итальянский живописец и офортист, посвятивший свое творчество изображению Венеции. — *Прим. перев.*

в вестибюлях гостиниц и на станциях вапоретто. Две тысячи лир в час умеряют поэтическую лихорадку странствий как пешком, так и на колесах или на веслах.

В этом водяном городе мы уставали от ходьбы, как нигде. Только чудом можно пересечь из конца в конец эти кляксы суши. Можно сколько угодно изучать карту, можно составлять себе точнейший маршрут, но... Вы идете по узкой улице — подчас в метр шириной, вспоминая извилины плана. Когда у вас перед носом появится канал или стена, вам следует повернуть направо или налево. Вы идете, стараясь сохранить по крайней мере примерное направление. Поворот налево. Неожиданно, в трех шагах от этого места, дорога поворачивает вправо. «Сейчас, — говорю я Лилле, — наша цель останется где-то позади». Моя жена часто называет меня живым компасом, и если она чем-либо и восхищается во мне, то именно моей способностью инстинктивно находить дорогу. Но на сей раз, как, впрочем, и всегда, она совершенно не согласна со мной. По ее мнению, наша цель должна быть справа. Я высокомерно улыбаюсь. Бедняжка, она ничего не понимает! Если мы сбились меньше чем на 180 градусов, то надо повернуть, во всяком случае, налево. Однако венецианская топография не оставляет нам выбора. Если мы не умеем проходить сквозь стены, если мы не водолазы, если мы не хотим умереть на этой площади, придется пройти под заплесневелыми воротами и идти вдоль арки на северо-северо-восток. Не очень далеко. Несколько ступеней. Мы поднимаемся. Даже не успеваем поспорить. Опять спускаемся. Мост. Прелестная площадь, окруженная глухими стенами.

— Что я тебе говорила? — начинает на всякий случай Лилла.

Потом останавливается и кусает губы. Это тупик. Самый прелестный из всех тупиков на свете, но — тупик. Мы поворачиваем назад. Внезапно у Лиллы вырывается крик: «Вот! Похоже на дверь — но это проход!» По ее словам, мы прошли мимо, не заметив его. Я же, наоборот, убежден, что мы шли именно этим путем. Но если женщина захочет... Мы минуем проход, поворачиваем направо, ибо у нас нет другого

выбора, и оказываемся на набережной. В глазах моей жены светится торжество. Напустив на себя лицемерно-скромный вид, она любуется водной гладью. Но я безжалостен; я хлопаю ее по плечу и указываю на здание позади нее. Это наша гостиница. Круг замкнулся.

Возбужденные открытием, мы совещаемся. Мы понимаем, что это просто невезение, и обмениваемся торжественной клятвой. Мы обещаем друг другу отправиться со Славянской набережной и дойти до противоположного берега, что перед кладбищем святого Михаила, всего в 600—700 метрах отсюда. Для этого, черт возьми, не надо быть чародеем! Полуостров тут сужается. Переход займет не более десяти минут. Вперед!

В тот вечер из-за наступившей темноты нам пришлось отказаться от наших намерений. Они увенчались успехом только при четвертой попытке. И для чего? Только для того, чтобы мы получили наконец возможность убедиться в том, что так называемая набережная *Fondamenta Nuove* совершенно лишена интереса.

Нам ни разу не пришла в голову мысль прогуляться в гондоле. Из-за скупости? А может быть, из-за отсутствия поэтического настроения? Как бы то ни было, нас несколько не привлекали эти длинные плавучие гробы. Вапоретто? Мы ничего не имеем против, но при условии, что на нем будет не слишком много туристов. Когда ходишь пешком, есть хоть какая-то возможность встретить человека, говорящего по-итальянски. Мы до сих пор не можем забыть, как в испанском городе Кадисе, до отказа набитом французами, один савояр сказал жене:

— Слышишь! Это говорят по-испански!

Потом оказалось, что один француз спрашивал другого:

— *Usted no habla francés?**

На каналах суда снуют во всех направлениях, сигналивая что есть мочи. Если и существуют правила движения, то они несколько не заметны. Большой вапоретто гудит, и мелкие посудины в последнюю

* Вы не говорите по-французски? (испан.)

минуту уступают ему дорогу. Пассажиры разочарованы. Они так надеялись увидеть столкновение.

Стоит только выйти за пределы кварталов для туристов, как вы не найдете ни одной траттории. Или действительность, скопированная с открытки, или ничего. Во время завтрака вы обязаны любоваться голубями на площади Святого Марка (их больше не кормят зеленым горошком). Не хотите любоваться ими — обходитесь без еды.

Вечером мы попадаем в огромное, смею сказать, скопище. Посреди Канале Гранде дорогу нашему вапоретто преградила большая барка, униженная разноцветными фонарями; на ее палубе расположились оркестр и два певца. Тенор поет что-то из «Тоски». Гондолы с туристами теснятся вокруг, присосавшись к музыке, как новорожденные поросята к сосцам свиньи. За серенаду положена дополнительная плата — смотри тариф. Вапоретто движется прямо на эту группу, сигнализя изо всех сил и не обращая внимания на любителей музыки. Но либо у лоцмана не хватает чувства юмора, либо ему это тоже нравится, только он их не задевает, проходя впритирку. Следует остановка в Са'д'ого *. Дайте же выйти! Трещат аплодисменты. Сидящие на террасах кафе присоединяются к овации. И только мы с Лиллой презираем удовольствия по расписанию. Безбилетники на берегу вызывают на «бис». Одна немка в возбуждении встает в гондоле во весь рост. Из-за ее восторга судно едва не переворачивается. Но, увы, ничего интересного так и не происходит. Мы отъезжаем под первые ноты каватины Фигаро. Как раз вовремя.

Риальто. Дворец дождей. Мост вздохов. Все, как на открытке. Все настолько соответствует сложившемуся в литературе и живописи образу, что испытываешь удивление, не видя в углу площади Святого Марка дамы в маске, бегущей на свидание к своему Казанове — патентованному бреттеру и соблазнителю, сбежавшему из тюрьмы Пьомби. И шаблон, шаблон!

В гостинице, слава богу, мы находим повод пошутить. Портье обращается к клиентке по-фран-

* Золотой дом (венец. диалект).

пузски с самоуверенностью не знающего преград полиглота.

— Так вы, мадам, была довольная за бокалами, которых я вам давал адрес в Мурано их купить? Француженка морщится слегка.

— Да, они очень красивы. Я купила полдюжины за 18 тысяч франков. Но по дороге назад я видела их в витрине по 800 лир штука.

Но портье этим не смутишь. Он даже покидает свою конторку, чтобы придать своим словам еще большую убедительность.

— Мадам! Вы думаете, но это же неодинаково. Посмотрите на эту лампу. (Я смотрю тоже. Она ужасна.) Лично я со скидкой, на который я имею право, заплатил за нее 62 тысячи лир. Она подлинниковая. Вы можете находить ее во все лавки за 5 тысяч. Это одинаково, но неодинаково, вы понимаете?

Понимает ли эта дуреха! Она пьет молоко. Потом поднимается в свой номер созерцать свои подлинные бокалы. Ее собеседник настолько любезен, что провожает ее до лифта. Интересно, что он ей еще продаст? Эта милая женщина способна увезти с собой и лампу!

Я подзываю грума — мальчика лет тринадцати-четырнадцати.

— Скажи, пожалуйста, есть у туристов какие-нибудь национальные особенности?

О, эти ребята отлично вышколены с малых лет!

— У каждой нации есть и плохие, и хорошие качества, мсье.

Он смотрит на меня немного снизу, как бы оценивая мои возможности, и с невинным видом протягивает руку.

— Главным образом хорошие, мсье.

Это обходится мне в 50 лир. Тот же вопрос я задаю и портье, который возвращается, потирая руки. Он оглядывается и под большим секретом общается:

— Немцы, может быть, немного... как бы это сказать... слишком привязаны к своим деньгам.

Я демонстрирую ему нашу систему: быть щедрым не спеша. Он восхищен тем более, что я даю ему 200 лир. Тогда он раскрывает мне суть своей философии.

Немцы действительно скуповаты. Зато их марка ценится высоко. Так что одно уравнивает другое. С другой стороны, туристы, приезжающие из стран со слабой валютой, страдают комплексом неполноценности из-за своей валюты, и это делает их более щедрыми. Таким образом выравнивается средний уровень.

— А американцы?

— Есть разные американцы. Настоящие — вне конкуренции. Зря только они выдают у себя там столько паспортов всяким голодающим студентам, художникам. И писателям, сударь? Я вам вот что скажу. Писатели — особая порода. Но есть разные писатели. Те, что известны, имеют деньги и, въезжая в гостиницу, никогда ничего не пишут в графах анкеты. А вот другие! Когда я вижу в графе «профессия» — писатель, я сразу думаю: вот еще один голодающий.

Я благодарю его и прекращаю расспросы.

В ресторане Лилла — она коллекционирует кулинарные рецепты — спрашивает у официанта:

— На чем специализируется ваш ресторан?

Не моргнув глазом тот отвечает:

— Spaghetti alla napoletana *.

Перед нашими глазами проплывают рядом шесть гондол. Объединенные в профсоюз гондольеры ритмично погружают в воду весла и поют: «O sole mio» **. Ленты их шляп развеваются по ветру. Гондольеры с голосом имеют, должно быть, высший разряд. Надо признать, что их движения отличаются необыкновенным изяществом.

Ночь тиха и ласкова. Никакой трескотни, никаких выхлопных труб. Тщетно вапоретто, пыхтя и сопя, пытаются компенсировать отсутствие автомобилей. Вода гасит шумы.

Во время первого завтрака сюрприз: обнаруживаем итальянца. Правда, его легко принять за англичанина, но ошибки быть не может: он заказывает яйцо всмятку с лимоном. Только итальянцы все на свете едят с лимоном.

* Спагетти по-неаполитански (*итал.*).

** «О мое солнце» (*итал.*) — популярная неаполитанская песня.

— Наконец-то, — вздыхает Лилла, — наконец-то мы увидели настоящего итальянца. Пусть все потеряно, но честь сохранена.

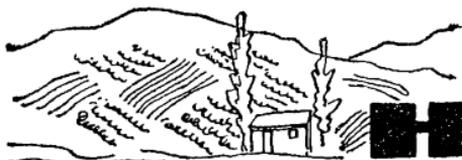
Удовлетворенные, мы возвращаемся на сушу, к Пафнутию, к опасностям дорог, на которых свирепствуют мотороллеры для многосемейных. Недалеко от Местры какой-то заправщик старается привлечь мое внимание оживленной жестикуляцией.

— Остановись, — предлагает Лилла. — У тебя, наверное, спустила камера.

Ничего подобного. Просто он хочет купить у меня по 120 лир туристские талоны на бензин, за которые я уплатил по 100 лир и которые он перепродает по 140, тогда как обычно горючее стоит 150 лир.

Дело есть дело!

Э м и л и я и другие земли



Не так-то просто говорить прямо, что вам не понравилось что-то в стране, где люди принимали вас с распростертыми объятиями. Прописные истины вроде «Не в деньгах счастье» или «Кого люблю, того и бью» — пустые слова. Наша любовь к ближнему все равно всегда была и будет тем сильнее, чем лучше он о нас отзывается.

Друзья из правого лагеря обидятся на меня за предпочтение, которое я отдаю левым. Так называемые передовые умы не простят мне справедливую оценку успехов, достигнутых в Италии правым крылом Христианско-демократической партии. Католики обрушатся на меня с анафемой за нападки на церковь. Короче говоря, я нахожусь в положении господина, которому не нравится «Доктор Живаго» и который в то же время не хочет, чтобы его принимали за коммуниста.

Я, стало быть, уже примирился с тем, что меня обзовут бесстыжей скотиной или змеей, пригревшейся на груди ближнего. Еще бы! Ведь так трудно отделить

человека от занимаемой им должности, а это необходимо для того, чтобы не быть невежливым и не позволять себе всякого рода отзывов, смахивающих на инсинуации. Путешественники, которые претендуют на итальянское (по их мнению) остроумие, имеют обыкновение утверждать, что Италия была бы сказочной страной, если бы не было итальянцев. Поэтому мы с Лиллой всегда задавали себе один и тот же вопрос:

— Чем была бы эта прекрасная Италия без итальянцев?

С самого начала нашего путешествия по этой стране в приветливости, с которой нас повсюду встречали, проскальзывала некоторая обида: вот у вас, мол, недавно вышла одна книга. Ее автор не любит итальянцев. Он озаглавил свою книгу «За Италию», но ее следовало бы назвать «Против Италии».

Один проживающий во Франции итальянец, очень любезно рекомендовавший нас своим друзьям у себя на родине, следующим образом резюмировал упреки, предъявляемые этому писателю: пока он пишет правду — все хорошо, но зачем он выдумывает?

Я запретил себе читать книгу «За Италию», пока не кончу свою собственную. Я, стало быть, не знаю, в чем ее автор, господин Ревель, прав, а в чем неправ. И мои наблюдения совершенно независимы. Мне говорили, что господин Ревель корит итальянок за их волосатые ноги.

Я не имею никакого понятия о том, что предпочитают мои читатели. Независимо от того, нравятся им волосы на ногах или нет, я им заявляю, что итальянки необыкновенно красивы. «Formose», — говорят в Италии, что значит «у них формы». И какие формы! Если бы я был композитором, я бы вставил в свою книгу нотные линейки и изобразил бы на них свист, которым в наш век выражается мужское восхищение.

Эта мода, наколько мне известно, пошла не с Лолбриджиды и не с Софи Лорен, а с иллюстрированного миланского журнала более или менее легкого жанра, издатель которого после войны почувал, откуда дует ветер. С тех пор миланская еженедельная пресса стала, если можно так выразиться, столицей

декольте. Нет такого пива, шарикоподшипника, галстука, которые не рекламировались бы с помощью агрессивных женских бюстов, призванных ослепить вас, заставить вас задохнуться. Вышеназванные актрисы именно потому и имели успех, что они отвечали новым канонам женской красоты. В Риме даже появилось специальное выражение для определения этих девушек атомного века, чьи пышные формы выходят за пределы обычной нормы,— *maggiorate fisiche* («физически укрупненные»). И таких немало! Оговариваюсь, исключительно в городах. Потому что стоит им появиться в деревне, как они сейчас же оказываются в городе.

В Падуе я рассчитывал встретить одного товарища по плену, человека с очень милым характером, доктора права, философии и еще многих точных и приближительных наук. В молодости он был в числе тех, кого д'Аннунцио водил в поход на Фиуме. Убежденный фашист с первых дней, он дрался на дуэли («Так надо было, чтобы завоевать репутацию») за честь дуче, который в конце концов упрятал его в лагерь, оплатив этим его преданную службу. Увы, мне сказали, что он был вывезен в Германию и не вернулся.

Мы немедленно уезжаем из Падуи, увозя в глубине желудка тот самый страх, который был когда-то в течение пяти лет нашим верным и неприятным спутником. Пейзаж навевает тоску. Низменная, совсем недавно осушенная земля. Кажется, именно эти места древние называли Семиморьем. Во времена древнего Рима здесь плавали на галерах.

Ригони рекомендовал мне Монтаньяну как остров Средневековья. Стены здесь и правда великолепны, но за ними — словно придавленный солнцем, бесцветный и пыльный провинциальный городок. Друг, чье имя и адрес дал нам писатель из Азиаго, принимает нас восторженно. К этому мы начинаем понемногу привыкать.

— Господи! Культурные люди! Какое невероятное счастье!

Послушать их, можно подумать, что Италия не знает культуры. Тысячу раз нам представлялась возможность убедиться, что это, конечно, не так. Я должен сказать, что вести спор с образованным итальян-

цем дело нелегкое. Он наверняка читал и запомнил больше, чем вы. Его пристрастие к иностранному объясняется тем, что эрудиция итальянца книжная. Образованные люди лучше вас знакомы с литературой вашей страны и даже могут отыскать ее греко-римские корни, о которых вы и понятия не имели. Но обмен мнениями в своей среде для них лишен остроты, потому что они читали одно и то же и придерживаются идей, почерпнутых у одних и тех же авторов. Все их знания отлиты в одной и той же форме. Один *dottore di lettere* * в точности повторяет другого. Очень странно, что эта нация индивидуалистов не породила более разнообразной интеллигенции.

Разумеется, после 1944 года взяли слово новые слои мыслителей и литераторов. Первый результат: начинает развиваться дотоле закоряченный в своей гармоничности язык. Но за пятнадцать лет не так-то просто разрушить здание, простоявшее века. За редким исключением в сердцах и умах интеллигентов продолжает жить ставшая традицией привычка обособляться от народа. И это нетрудно понять. Вплоть до разгрома фашизма образованные люди выходили только из богатых и обеспеченных слоев общества. Учение стоило дорого. Должности доставались только тем, кто окончил университет. В армии люди с аттестатом зрелости автоматически получали офицерское звание. Никакой военный гений не мог стать младшим лейтенантом без диплома средней школы. Маршальский жезл лежал не в ранце солдата, а в бу-мажнике его родителей.

В свою очередь традицией народа было преувеличенно почтительное отношение ко всякого рода званиям и титулам, которые в сознании народа непременно связывались с богатством — средством для достижения званий. Простой человек, городской или сельский, относил любого *dottore*, любого *ragionere* ** за одно только звание к высшим классам общества.

Культура, вместо того чтобы заполнить пропасть между богатыми и бедными, углубляла ее еще больше. Итальянские книги за редким исключением были

* Доктор словесности (*итал.*).

** Бухгалтер (*итал.*).

предназначены лишь для интеллектуальной элиты. Точно так же в истории многих народов можно найти аристократии, которые замыкались в своем кругу. А браки между кровными родственниками во многих поколениях никогда не приводили к хорошим результатам.

Но вернемся в Монтаньяну, где мы ведем разговор с высокопоставленным чиновником, радостно встретившим нас. «Для разнообразия» это тоже пессимист. У Италии нет ни прошлого, ни будущего. Вклады в сберкассах растут, но пользы от этого мало. Правительство спекулирует на понижении курса лиры, вкладывает свои фонды в бездонную бочку реформ на Юге, а там ровно ничего не сделаешь. Уже поздно делать там что-нибудь, хотя от сознания этого у нашего собеседника, по его словам, сердце истекает кровью. Нижняя конечность страны поражена гангреной. Ее нужно ампутировать. Иначе Север будет вечно работать для того, чтобы Юг не умер от голода.

— Что же делать? — спрашивает Лилла.

Глаза нашего друга загораются. Если мы останемся на два-три дня, он изложит нам свой проект. Мы выражаем горькое сожаление. Пафнутий увезет нас сразу после завтрака. И наш собеседник снова впадает в отчаяние. Его план осуществим только с одобрения всей нации; нужны ее добрая воля, единый порыв. А вы ведь знаете, что такое Италия...

Он печально качает головой и... смеется, ибо этот человек обладает часто встречающейся здесь особенностью описывать самые страшные вещи с улыбкой на губах. Он рассказывает нам о Полезине, этом жизненном треугольнике, лежащем в дельте реки По — районе, который мы только что пересекли. Река часто выходит из берегов. Ее ил плодороден, но его не так уж много; когда вода спадает, крестьяне возвращаются в свои хижины, исправляют повреждения, причиненные половодьем, и возобновляют работу. Точно так же поступают крестьяне на склонах Этны после каждого извержения.

— Но почему они возвращаются, если они живут там в постоянной опасности?

Ответ все тот же.

— А куда они могут идти, эти disgraziati (несчастные)?

Жалость к ним вызывает слезы на его глазах, хотя только что в своем проекте он совершенно хладнокровно выселял и переселял людей. Жалость, любовь, холодность и ненависть — все эти чувства поверхностны. Слишком богатый язык, опьянение словами, их красотой могут вызвать и слезы, и смех, но чувство не становится от этого глубоким. Тысячелетние страдания закалили защитную броню этого народа. Одним только детям дано пробивать в ней бреши.

Но вот и По; она катит свои грозные воды посреди земли, которая кажется в это время года и богатой, и благополучной, но какой-то ненадежной. Зато после Феррары все кажется «построенным надолго». Заводы ли — эти венцы прогресса — тому виной? Гений ли это тех людей, которые здесь обосновались? Кажется, всюду, кроме Тосканы и Марке, сельское хозяйство бессильно обеспечить жизнь человеческого муравейника.

Феррара. «Спичечные коробки», лишённые изящества и стиля, так же, как в других городах, послушно выстроились здесь со своими разноцветными балкончиками. Сплошной кубизм и функционализм. Феррара. Феррару осаждал Цезарь Борджиа. Его сестра Лукреция была женой осажденного герцога Феррарского, который перелил колокола в пушки! Сколько ярких событий произошло здесь! В Ферраре жили два брата; один из них был кривой. Они организовали заговор против своего третьего брата — монарха. И он, раскрыв заговор, выколол глаз тому из заговорщиков, у которого было два глаза. Неужели все это произошло здесь?

Да, да! Центр города вдруг убеждает нас в том, что так оно действительно и было. Крепости и дворцы, дворцы и крепости. Толстые красноватые стены прочно вросли в землю. Одолеть их можно только предательством. На площади вывешены результаты выборов. В чудесно изукрашенном портале бюст папы, благожелательно склонившего голову: он благословляет коммунистов, которые здесь идут первыми.

Еще несколько километров — и Болонья, где сначала повторяется все та же игра в кубики, а потом

будто из-под земли вдруг возникает прошлое. Такая смесь здесь повсюду. И на каждом шагу история. Это не относится только к новым кварталам. Нет камня, который не источал бы историю из всех своих пор. Быть может, я вызову гнев специалистов, но, на мой взгляд, в Болонье есть что-то фламандское. Она вся излучает радостное жизнелюбие и умеет по-есть, поспать, вышить и так далее. Кажется, что все время слышишь чуть хмельной смех. Хорошая, здоровая радость без вывертов, как у героев Брейгеля. Здесь родина знаменитой колбасы и болонского соуса, единственного и неповторимого, который, как приправа к спагетти, соперничает с *vongole* (сорт высоко ценимых мидий). Здесь вам подадут лучший в мире бифштекс по-флорентийски. В Болонье царит материалистический дух, в котором нет ничего низменного, он лишь напоминает о том, как хорошо иметь крепкие ноги, хорошие глаза, здоровый желудок, как хорошо посидеть за столиком с приятелями и пошалить со служанкой (относительно последнего у Лиллы особое мнение).

Город так опрятен, что мы впервые осознаем, как далеко шагнул прогресс в области гигиены. Впечатление это сохранится до самого Рима. Люди здесь беседуют спокойно. Много новых домов, как и в других городах. Но тут они вызывают меньше раздражения, хотя новым аркадам далеко до старинных.

Разглядывая по привычке витрины, Лилла обнаруживает, что цены здесь ниже, чем где-либо. Сделав вид, что мы хотим купить носовой платок, заводим разговор с торговцем. Он охотно информирует нас. В Болонью, по его словам, приезжают за покупками отовсюду — это всем известно. Миланцы — сумасшедшие: во-первых, у них более высокие накладные расходы, а во-вторых, в Милане все блефуют — там три четверти коммерсантов процветают, перепродавая друг другу один и тот же макинтош. В Болонье, слава богу, сохранились старые, добрые традиции. Никаких контрактов. Продавец и покупатель бьют по рукам, и тот, кто откажется от своего слова, будет последней свиньей. В Болонье люди мошенничают только один раз. Потом им уж лучше работать за

границей, то есть не ближе Феррары. За малейшее нарушение правил корпорация немедленно изгоняет из своих рядов всякого. Болонец, по словам нашего собеседника, не знает никаких страстей, за исключением страсти жить. Он никогда не даст себя увлечь безумием двадцатого века. Для болонца дело чести сохранить ценности прошлого — моральный вклад, безотказно приносящий дивиденды.

— Этот платок, синьоры,— он берет пакет, не спеша раскрывает его,— изготовлен в Милане. Несмотря на множество посредников и транспортные издержки, он продается здесь дешевле, чем в Милане. Другие товары тоже. И это естественно: в Милане — наем помещения, штат, налоги и сборы... Но я вам скажу, сударь, придет день, когда там все полетит к черту.

— Где же вы тогда будете покупать?

Он пожимает плечами и улыбается:

— В поставщиках нет недостатка.

— Но это будет тяжелый удар для всей Италии!

В этом он не очень уверен. Он деловито запаковывает товар. Будущее несчастье Милана его очень мало трогает. Национальное единство для него понятие отвлеченное. Какие-то политические пертурбации привели к тому, что формальности в сношениях с Ломбардией проще, чем с заграницей, вот и все! Но области, провинции и города, у которых есть свое собственное прошлое, остались психологически разобщенными. Я пытаюсь заставить торговца высказаться по этому вопросу. Но он просто соглашается с тем, что Милан находится в Италии. Лилла «кладет» перед ним на прилавок проблему Юга. Его ответ полон горечи:

— Этот Юг обходится нам в копейчку,— грустно замечает он.

Рим — столица — с его точки зрения, тиран, заповедник священников и чиновников, которому Болонья должна платить дань за то, что он проиграл войну. Остальная Италия тоже не лучше.

— Послушайте, синьор, вот что я вам скажу: весь полуостров, живет, как говорится, по принципу *o la va o la spassa* (пан или пропал). Все итальянцы

акробаты, работающие без сетки. И только болонцы исключение. Доказательства? У нас не привилась продажа в рассрочку.

Выйдя от него, мы разглядываем витрину. С помощью Лиллиной памяти нам удастся установить разницу в ценах по сравнению с Туринном, Миланом и Венецией. Она составляет 30—50 процентов.

Путешествие от Болоньи до Анконы проходит без происшествий. Местность плоская. Вдоль побережья Адриатики тянутся совершенно одинаковые пляжи. Среди разноцветных зонтов трудно найти свободное место. А ведь еще не наступило лето! За исключением Римини, отмеченного печатью чопорности, остальные пляжи в распоряжении «средних классов». Человек благородный или преуспевший не снизойдет до этих мест.

Мы не собирались долго задерживаться в Анконе. Мы хотели только повидать М., который воевал вместе с Ригони в России, «четырежды поболтать» с ним, как говорят здесь, и ехать дальше.

Но в Италии есть выражение «планировать без хозяина»: мы застряли. Это случилось совершенно неожиданно. М., зубной врач, встречает нас у входа. Через приотворенную дверь его кабинета виден больной с откинутой на спинку кресла пыток головой, с раскрытым по всем правилам ртом. Тем временем М. не перестает радоваться. Рефрен нам уже знаком: так редко случается встретить культурных людей.

Это тоже типично! Встречаясь с писателем, врачом или профессором университета, француз никогда не убежден априори, что перед ним умный человек. Итальянец, напротив, считает, что свободная профессия автоматически относит человека к числу избранных. А уж приезжий иностранец может быть только из ряда вон выходящим человеком.

— Вы уже заказали себе комнату?

— Видите ли... мы хотели бы продолжить...

Решительным жестом он обрывает нас:

— Никаких разговоров!

Звонок по телефону — комната уже заказана. Мы — я и Лилла — совершенно обезоружены такой сердечностью.

— Сегодня вечером вы обедаете с нами!

Еще звонок — в портовой траттории заказан столик.

— Теперь, с вашего позволения...

Он указывает на несчастного, который уже с четверть часа добросовестно пускает слюни из широко раскрытого рта.

Во время обеда М. поглощает мидии и излагает мысли. Это высокий, красивый человек спортивного сложения. Он опубликовал свои военные воспоминания. Как и на Ригони, на него произвело неизгладимое впечатление отступление из России несчастного экспедиционного корпуса, в котором он служил офицером.

Гейзер пылких чувств бьет из его здорового тела. Жажда любви и братства перемешана в нем с неутолимой потребностью в пицци, спагетти, мясе, рыбе. Он ходит на лыжах, плавает, лечит своих пациентов, но этого недостаточно, чтобы целиком забрать его энергию. Я видел, как он плыл более километра за моторной лодкой, а затем вышел из воды, отряхнулся и был готов плыть снова.

Пока он говорит, его жена, приветливая англичанка, задумчиво и нежно смотрит на него, как на большого ребенка: пусть уж попользуется каникулами — скоро в Англии ему придется остепениться.

Между этой итаलो-английской парой и нами царит абсолютное, бесспорное, мгновенно возникшее согласие. Никаких «подходов» и прощупываний. И вот мы сидим за слегка хромым столиком в траттории, хозяин которой днем удит рыбу, а вечером подает ее гостям. Разошедшийся дантист болтает без умолку, веселится, стонет, пускает слезу, вспомнив что-то грустное, и тут же раздражается громким смехом, вспомнив что-то другое. Поразительная неистощимость!

У женщин свой разговор. Лилла выслушивает жалобы англичанки, которая никак не может привыкнуть к здешней жизни и терпеливо пытается убедить мужа, что в Англии он будет счастливее. Жизнь женщины здесь, с точки зрения дочери Альбиона, это жизнь рабыни. Жена *professionista* — врача, адвоката или зубного врача — рискует своей репутацией, если появится на улице без чулок даже в самый

жаркий летний день. Она же, как настоящий потомок викингов, упорствовала, и тогда весь квартал отвернулся от нее и стал считать, что М. вступил в неравный брак. Но однажды она отправилась за покупками, сидя за рулем «Бьянкины». С тех пор ее почтительно приветствуют и оказывают ей всяческое уважение, потому что только синьора, настоящая дама, умеет водить машину.

Привыкший подчиняться существу, наделенному разумом, то есть мне, Пафнутий с трудом поспевает за приземистой «Бьянкиной», которая в руках М. превращается в метеор. Мы пьем кофе на террасе. Вид — чудесный. Наш друг возобновил свой рассказ с того места, на котором он был вынужден остановиться, когда садился в машину.

По его собственному выражению, он был фашистом с самого рождения и только к двадцати годам стал разбираться что к чему и задумываться. Его мобилизовали в альпийскую дивизию, так как он был чемпионом университета по лыжам. Так он оказался среди русских степей во главе батальона.

— После этого я чуть не стал коммунистом. Удержало меня лишь подозрение, что моих товарищей привела к коммунизму ненависть, а не любовь. Мне пришлось разочароваться во всем. К моему великому смущению, я, сын зажиточных буржуа, находил крепкое, чистое рукопожатие, о котором всегда так мечтал, только у бедняков. Вдруг после тысячи попыток...

Его жена, разливавшая кофе, останавливает его: тсс. Муж раздражается смехом, обжигается кофе, ставит чашку.

— All right, darling *, после десятка попыток...

Он наклоняется к нам.

— Она хочет сделать из меня джентльмена.

Англичанка лукаво вздыхает:

— И подумать только, это слово означает то же, что gentiluomo **

Ее итальянский, а его английский выговор бесподобны. Стоило проделать такое путешествие, чтобы

* Хорошо, дорогая (англ.).

** Человек с положением (итал.).

их послушать. Беседа то и дело перескакивает с языка Данте на язык Шекспира, словно перестрелка двух пулеметов, которые, чередуясь, ведут непрерывный огонь.

— Тогда я с головой ушел в медицину.

Лилла спрашивает с невинным видом:

— А вы во что-нибудь уходили не с головой?

Едва только взрыв веселости мужа проходит, как его жена говорит:

— You're so right, my dear*.

Муж хватает руку своей супруги и сжимает ее.

— Теперь я обрел равновесие. И именно поэтому я хочу действовать. Я должен действовать. У меня есть организаторский талант, это проверено на практике. Я убежден, что сумею увлечь людей на путь борьбы за оздоровление общественной жизни. Пусть мне только дадут действовать. Мне нужно три года.

Понятно, нас это больше не удивляет. Мы с Лиллой не без зависти восхищаемся неистощимым запасом грез и идеализма, легкостью, с которой итальянцы умеют пьянеть от своих слов. И все-таки я пытаюсь его урезонить. На лице у М. появляется выражение крайнего удивления.

— Минуточку. Я же вовсе не хочу хоть что-нибудь менять в своей жизни и жизни других! Я позволяю себе роскошь размышлять вслух. Вот и все.

Он тысячу раз прав, и мне остается прикусить язык. Да, я завидую ему. Он постоянно держит свое большое итальянское окно открытым и видит море, уходящее за горизонт.

Со слов Ригони, я уже знаю, что этот болтун оказался во время войны в числе немногих людей, имевших смелость подчиняться не приказам, а собственной человеческой совести. Я смотрю на него и верю, что если завтра его страна будет в опасности, он снова бросится в бой и отдаст ей свои силы, свой мозг, свою жизнь, свой смех и свои слезы.

Слушая его, глядя на него, начинаешь понимать иных матерей, которые растроганно говорят о своих детях: лишь бы только он никогда не стал взрослым!

* Как вы правы, дорогая (англ.).



олентино в Марке был когда-то тихим городком с пятью тысячами жителей и вдвое бóльшим количеством крестьян в окрестностях. В «городе» жили только синьоры — потомственные и новоявленные. Чтобы стать синьором, достаточно было купить ферму и поселить на ней исполщика. Новоиспеченные *signori* получали такой доход, которого как раз хватало, чтобы не умереть с голоду. Но зато они не работали; у них и без того было полно забот, потому что надо было постоянно поддерживать престиж. Их дети были уже *signorini* (барчуки). Внуки же в соответствии с законами итальянского словообразования станут называться *signoroni*.

Как раз в эти места в 1942—1943 годах меня и Лиллу перевели на «свободное поселение». Жить в таком городке пусть даже под надзором — это ли не удача. Раз в день мы являлись отмечаться в полицию. Все остальное время мы были свободны, но должны были соблюдать два условия: не выходить за границы общины и не осквернять чистую итальянскую расу общением с нею. Правительство определило нам восемь лир в день на человека. Что касается остального, нам предоставлялось *arrangiare* *. Мы стали давать уроки. У меня были ученики в возрасте от пяти до двадцати двух лет. Самым трудным оказался маленький Джулио, которого неизвестно зачем учили английскому языку. Бедному ребенку это совсем не нравилось. Они с матерью жили в гостинице, так что утаиться было невозможно, тем более что, едва я входил в вестибюль, треклятый мальчишка начинал кататься по полу и вопить:

— Нет! Не хочу английских уроков. Мне надоел учитель английского языка!

Хоть вешайся! Кончилось тем, что подеста узнал об этом и вызвал меня к себе. Произошло весьма

* Устраиваться (*итал.*).

неприятное объяснение. На случай если недоразумение повторится, мне обещали ссылку на Липарские острова.

Среди моих учеников была группа молодых людей. Они приходили ко мне только с наступлением темноты, одетые в целях конспирации в темные плащи, и вели рискованную игру в заговор против государства. Самый старший из них, которому было шестнадцать, был уверен, что он восстановил свою девственность, потому что соблюдал целомудрие целых восемнадцать месяцев. Невежественность, в которой держали этих молодых людей фашистские школьные учебники, была просто преступной.

— А что такое коммунизм, профессор? Что такое социализм?

Весной 1943 года, когда оппозиция режиму стала явной, ораторы фашистской партии начали предпринимать агитационные поездки, похожие на карательные экспедиции. И я очень боялся, что в последний момент, накануне избавления от всех бед, какой-нибудь глупый случай в самом деле отправит меня на острова и отодвинет момент освобождения. Но положение обязывает: не желая, чтобы мое малодушие дискредитировало идеи, которые я проповедовал, я решил пойти на площадь и выслушать напыщенную речь обоуполномоченного в черном мундире. Получилось так, что я заранее предугадал большую часть пустых и звонких фраз, из которых состояла речь оратора (это было совсем нетрудно — речь была набором штампованных оборотов, доступных любому). Мои молодые люди были поражены моей проницательностью и принялись разыскивать меня в толпе. Их подмигивания грозили окончательно меня скомпрометировать. Вскоре эти безрассудные парни окружили меня с решительным видом почетной охраны. Мне стало совсем нехорошо, особенно после того, как один из них показал из-под полы плаща штык, вероятно украденный у отца. Я хотел убраться подобру-поздорову, но не тут-то было. Мои ученики сгрудились вокруг и безо всякого стеснения насмехались над оратором среди общих рукоплесканий.

Оратор продолжал декламировать с подмостков пустозвонные фразы об «империи, величие которой

обеспечено близкой победой и необоримой решимостью — бессмертным наследием римских легионов».

И мало-помалу, по мере того как слова превосходной степени, неологизмы и штампы теряли последнюю видимость смысла, на глазах моих учеников стали появляться слезы умиления. Их губы начали дрожать от волнения. И стало не до насмешек, а к концу речи они уже страстно аплодировали.

Я вернулся домой взбешенный. Когда стемнело, молодые люди явились тихие, с вытянутыми лицами. На мои упреки они отвечали фразой, которая говорила больше, чем любые оправдания: *Parlava tanto bene!* (Как хорошо он говорил!)

Да, есть о чем вспомнить!

В те дни я скуки ради описывал повседневную жизнь этого маленького города. Вот мои записки:

«В Толентино встают рано, как в деревне. Работать стараются поменьше. Чуть не каждый третий день и труженики, и бездельники собираются на площади, где бывает либо базар, либо национальный праздник, либо праздник религиозный. По любому поводу раздается перезвон колоколов и стены покрываются пламенными патриотическими призывами. Если не предвидится патриотической демонстрации, то будет церковная процессия. По такому случаю городские и сельские жители бросают все дела, чтобы провести день на Корсо. Зеваки стоят, сбившись в кучки, и глазают по сторонам, обмениваясь время от времени парой слов. В это время им кажется, что они люди благородные — ведь они ничего не делают.

Для лавочников что ни день, то праздник. Дав себе некогда труд открыть торговлю, они в дальнейшем удовлетворяются тем, что проводят жизнь стоя или сидя на пороге своего *negozio* *.

На площади особую группу образуют синьоры. Они вылощены, в руках у них перчатки — напоказ, разговор они ведут исключительно между собой; их ожидание отмечено благородством поз. После обмена фашистским приветствием, которое уже вошло в

* Торговое заведение (*итал.*).

привычку, они церемонно пожимают друг другу руки. Затем они обмениваются последними новостями, стараясь перещеголять друг друга в сгущении красок. Их темы — супружеские измены, карты, вот и все. В девять — половине десятого толентинские цирюльники открывают свои ставни. Начинается обряд бритья. Каждый синьор гордится тем, что никогда в жизни не брал в руки бритву. Все аристократические бороды города бреет Фигаро.

И только один человек снует в этой толпе, переходя от богачей, которые держатся особняком, к беднякам, глядящим на них с завистью. Он протискивается сквозь толпу, стараясь никого не задеть, и извивается всем телом, как официант в переполненном кафе. Кажется, что его рука, которую он то и дело поднимает для приветствия, несет над головами поднос. Для каждого у него в запасе понимающая улыбка и особо грациозная сдержанность человека, владеющего разными тайнами. Он беспредельно вежлив; не принимая активного участия в разговорах, он к ним почтительно прислушивается, подчеркнуто реагирует на остроты, шутки, удачные и неудачные каламбуры. Достаточно подмигнуть глазом, и он побежит к вам: это деятель черного рынка.

Он обут в сапоги фашистской униформы; обходя деревни, он приносит оттуда растительное и сливочное масло и сахар, сохраненные в погребах. Ему доверяют: он не болтлив и обирает не больше чем на сто процентов.

В полдень проходит мэр, он держит путь в свое учреждение. Там его ждут просители с руками, полными кур, яиц, пирогов, бутылей с маслом...

На площади останавливается автобус. Его окружает толпа. Здравствуй! До свидания! Гляди-ка, и ты тут! Откуда ты взялся? О, Джулио! О, Фернандо! Твой двоюродный брат велел тебе кланяться. Автобус с почтой уходит, и часть бездельников покидает площадь. Синьоры отправляются домой завтракать. Остаются только крестьяне, которые не уйдут до вечера, чтоб не потерять ни минуты отдыха. Тут же на улице они съедают свою краюху хлеба, аккуратно отрезая кусок за куском; кроме хлеба у них еще всегда есть сало или сыр. Лавки закрываются на полу-

денную съесту и откроются только к четырем часам — как раз тогда, когда крестьяне начнут расходиться; им надо прошагать три, а то и десять километров до своей жалкой фермы, где женщины работали весь день без отдыха. Обувь они снимают, жалея ее, и всю дорогу идут босиком. И духовная, и физическая жизнь их подчинена формуле: день да ночь — сутки прочь. У людей два лица и физических, и духовных: одно официальное, склоненное к ногам фашизма и целующее епископский перстень, другое неофициальное, жаждущее увидеть фашистский режим у позорного столба, а попов в аду. Порабощенный народ всегда ревниво бережет свое право тайком злословить о своих повелителях.

Никто не бунтует. Зачем? После этого тирана придет другой. С тех пор как стоит мир, правила только тираны. Политическая оппозиция и антиклерикализм сводятся к *barzelette* — анекдотам, и рассказывают их осторожно, ведь и из окон могут следить и улица полна шпиков. Прежде чем что-нибудь сказать, каждый пугливо озирается. Даже камни мостовой имеют уши.

Фашисты усовершенствовали систему доносов. И щедро за них вознаграждают: помпоны, почетные кинжалы, сапоги, значки, дубинки. А неподалеку, на клумбах общественного сада, что на окраине, растут странные цветы... Это из них извлекают касторку...*

А надо всем здешним миром светит солнце — *sol-leone* — палящее и очистительное. Солнце Средиземноморья.

А что же сегодня? Солнце все такое же. Изменилось Толентино. Главная улица обезображена добрым десятком ремонтно-заправочных станций. (И кто только в Италии может купить такую уйму бензина?!) На площади, где некогда дребезжал почтовый автобус, стоит десяток всевозможных фургонов и десятка два машин. Все заняты делом. Лавочники больше не зевают в дверях своих лавок. *Addio, dolce far niente!*** Лилла волнуется. Я подтруниваю над

* При фашизме касторовое масло применялось как орудие пытки. — *Прим. перев.*

** Прощай, сладостное безделье! (*итал.*)

ней, чтобы скрыть свое собственное волнение. Мы с трудом узнаем эти места. Узнают ли нас люди, среди которых мы когда-то жили? Мы почти бежим в сторону улицы Сан-Николо, чтобы повидать Фудзио, часовщика, который спас нам жизнь, когда пришли немцы. Фудзио работает, в глазу у него лупа. Сначала он не узнает нас, потом вдруг раскрывает от удивления рот. *Il professore * e la signora!* Мария! Его жена спускается с верхнего этажа. Мы падаем друг другу в объятия и чуть не плачем. Часовщик и его жена еле сдерживаются. Мы должны остаться закусить с ними. Никакие отговорки не помогают. Как и когда-то, мы покорены пылким гостеприимством наших хозяев, хотя вид у самого Фудзио мрачный и сердитый. Фудзио постарел не меньше, чем мы, но остался все таким же неистовым... Мария, взволнованно сжимающая руки, рассказывает:

— Он всегда был таким сумасшедшим. Вы помните, как он дал пощечину фашисту — своему партийному начальнику. Это чуть не стоило ему жизни. Так вот, во время освобождения он ухитрился дать пощечину коммунисту, так что его опять чуть не поставили к стенке.

Самое интересное, что и правые его убеждения, и левые были самыми искренними, и, давая пощечины, он вовсе не стремился набить себе цену. Просто ему необходима атмосфера страстей и бури.

— Тысячи раз рисковал своей шкурой...

Следует красочная история. Первый из получивших пощечину (то есть фашист) умер в больнице от туберкулеза. Кое-кто пытался приписать эту смерть ему, Фудзио! Мария кусает губы:

— Он так силен, вы даже не представляете.

Фудзио нерешительно смотрит на свою руку, затем пускается в беспощадное осуждение христианской демократии.

— Это позор! На старости лет я должен взяться всерьез за работу. Во времена дуче... Ах! *Bei tempi* (хорошие времена).

* Я не профессор и не доктор. Но обо мне им было известно, что я даю уроки. В силу правила, что всякий порядочный человек должен иметь звание, они украсили меня таким званием, которое казалось им подходящим.

Время от времени муж или жена судорожно включают телевизор, «чтобы посмотреть, что там показывают». Несмотря на искреннюю радость свидания с нами, они очень огорчены вечерней программой.

Они рассказывают, какой стала жизнь в этой стране, «где христианские демократы ведут политику» самоотречения. Муж и жена сменяют друг друга в паузах между глотками. Фудзио, чемпион по части спагетти; он полностью сохранил свой аппетит. Правда, «при этих сволочах фашистах» вся его работа состояла в том, чтобы время от времени менять пружины в кресле, «на котором он помещал свой зад, сидя перед лавкой». А теперь — о горе...

— Деловая лихорадка захватила и его, professò', — перебивает Мария.

— У меня большие расходы, — поясняет Фудзио. — Видите ли, мой сын... Он учится в Риме. Дочь замужем за чиновником, этому тоже нужно помогать сводить концы с концами перед получкой. А старший сын у меня офицер карабинеров; у него жалованье... сами знаете какое.

Мария перебивает.

— В 5 часов утра муж уже на ногах, professò', чтобы идти на рынок. И после обеда он все в магазине...

— Мне некогда как следует поесть. И подумать только, что когда я женился на этой (он имеет в виду свою жену, этот оборот по-итальянски звучит совсем не обидно), меня упрекали, что я женюсь на деньгах.

Он без ума от своего внука. Он подарил ему три велосипеда сразу, для того чтобы у ребенка, пока он будет расти, всегда был подходящий велосипед.

У наших бывших квартирных хозяев нас ждет такой же восторженный прием. Фудзио и Мария уже накормили нас до отказа, и теперь мы с тревогой смотрим, как для нас накрывают на стол.

— Сколько вы нам дадите времени, чтобы приготовить pasta яиц на пять-шесть!

Мы побывали еще в одном месте. Домик Марио разросся втрое. Мы чуть было не прошли мимо. Марио, едва увидев нас, тотчас узнал — и вот он уже плачет на моем плече. Такая же сцена разыгрывается между его женой и Лиллой.

— Вы уже поели? Я сейчас приготовлю!

Я отдаюсь во власть своей профессиональной любознательности. Мне представляется, что что-то не так в положении этого квалифицированного рабочего с нормальным заработком только в 60 тысяч лир в месяц. Я хорошо помню, его дом был мал. Марио жил тогда с двумя детьми в тесноте. Теперь у него пять жильцов. Прежний домик для одной семьи превратился в доходный дом. Где он достал денег на строительство? На какие средства он приобрел телевизор, холодильник, мебель, кухню новейшего типа? Откуда у него завелись деньги, чтобы платить за обучение сына в университете в Мачерате (100 тысяч лир в год, не считая стоимости учебников)?

На мой вопрос он отвечает, поднимая руки к небу:

— Подрабатывал то тут, то там, взял под закладную... иногда перепали комиссионные, очень редко. Вы ведь знаете, caro professore, мы, бедные люди, умеем изворачиваться, не имея почти ничего.

Я поворачиваю штурвал и перехожу к вопросам об условиях жизни, о событиях, о правительстве.

— Как у вас прошло голосование в прошлое воскресенье?

Вся семья, как один человек, голосовала за христианских демократов.

— Это вынужденный ход. А что оставалось делать? Голосовать за коммунистов? Совать голову в петлю. Голосовать за правых? Воскрешать фашизм. Бедные мы, бедные. Представьте себе, теперь эти заставляют нас платить налоги!

Далее следует уже хорошо известная нам обвинительная речь против политики самоотречения, нищеты, взяточничества, увеличения прямых и косвенных налогов, которые выросли до того, что самого господ бога в дрожь кидает! И всюду строят и строят! Приходится выбирать — либо оставаться в пустом доме, либо понижать квартирную плату! А все эти новые дома — это одна декорация, за всем за этим бесконечные долги. Настанет день, когда произойдет катастрофа, все рухнет и...

Лилла неожиданно взрывается.

— Ну и пусть «это» рухнет. Пусть разорятся спекулянты, дома-то останутся! А дома — это народное достояние.

У мужа и жены изумленный вид, как у Колумба, открывающего Новый Свет:

— E'vero, e'vero! Это правда! Как подумаешь, пожалуй, мы не такие несчастные! Вы позволите?

И они устремляются к телевизору.

Адриатическая интермедия



Первым сказал нам об этом Пиладэ, нотариус. Ему тотчас стала вторить жена Луиза. Да, у нее было плохо со здоровьем; из-за этого супруги совершили поездку в Чивитанову посоветоваться с Паскуалиной.

Лилла бросает на меня взгляд охотничьей собаки, делающей стойку, и спрашивает как бы мимоходом.

— Эта женщина — врач?

— Нет!

— Знахарка?

— Нет. Не guaritrice *, она chiaroveggente **.

Ясновидящая? Ого! Мы сразу настораживаемся и делаем вид, что не верим, чем немедленно вызываем желаемую реакцию. Муж и жена наперебой стараются доказать нам, что мы неправы. Чтобы доводы казались убедительнее, их подкрепляют звучным междометием «А!». Оно должно убить яд сомнения.

— Может быть, вы скажете, что она не впадала в транс, когда исследовала Луизу?

— Она даже потрогала меня всюду, чтобы «лучше видеть»!

— А потом она повернулась ко мне...

* Знахарка (итал.).

** Ясновидящая (итал.).

— Верно, — перебивает Луиза. — Она посмотрела на Пиладэ и сказала: «Твое положение серьезнее, чем у твоей жены, у тебя смутная голова».

Муж вздыхает и соглашается:

— Да, она сказала, что у меня смутная голова.

Луиза вызывающе смотрит на нас. Непорядки в голове мужа для нее факт бесспорный.

Она торжественно бросает:

— А Тереза? Тереза-то?

Короче говоря, Тереза, жена бармена, стала, оказывается, «сама не своя», но не хотела ехать на консультацию к Паскуалине.

На этом самом месте Пиладэ перебивает супругу. Он поднимает указательный палец, чтобы привлечь наше внимание.

— Дело в том, что она видит все. Абсолютно все... Вот так...

Соединив большой и указательный пальцы, он проводит ими в пространстве идеальную вертикальную линию, без малейшего искривления. А Луиза улыбается, наклоняется вперед для большей конфиденциальности и простодушно подкрепляет сказанное:

— У нее глаза как рентген.

Она продолжает рассказывать.

— Итак, в Чивитанову отправился поездом Карло, бармен. Паскуалина его приняла...

Тут Пиладэ сражает нас самым сильным доводом.

— И не то, чтобы она нуждалась в деньгах; приемная у нее была полна вот так...

На этот раз кончики всех пальцев сходятся, расходятся и снова сходятся, изображая движение толпы.

Луиза подхватывает:

— Денег-то у нее предостаточно. Один раз она даже отказалась принять епископа.

Словом, в тот раз ясновидящая закрыла глаза и начала жестикулировать. Ее мимику бармен объяснил так: она как будто встает и направляется на станцию, садится в поезд...

— Руками она двигала, как поршнями паровоза, — подчеркивает Пиладэ, чтобы непосвященным легче было понять.

— И вообще,— недовольно замечает Луиза,— нельзя было перепутать, ведь губами она изображала также шум поезда: фуфуфуфуфуфу... Короче говоря, душа Паскуалины путешествовала, тогда как тело продолжало сидеть на стуле. Гора шла к Магомегу— дух Паскуалины направлялся к упорствующей больной. Наконец, открыв глаза, она объявила.

— Сейчас твоя жена с маленьким черномазым, курчавым, немного горбатым, и ее разбирает смех.

Взволнованный и смущенный Карло поехал домой, уплатив положенные за консультацию деньги: две тысячи лир. Всю дорогу он задавал себе вопрос: кто мог быть этот маленький, черномазый, курчавый и немного горбчатый, который так смешил Терезу? И он отвечал себе: «Кто, как не Дзангаретти, фармацевт из соседней аптеки?»

Лилла не выдерживает:

— И Тереза подтвердила?

Пиладэ и Луиза торжественно склоняют головы.

— Дзангаретти зашел выпить эспрессо и рассказывал неприличные истории.

Нам не суждено узнать, почему Тереза стала сама не своя, ибо Пиладэ уже оседлал Пегаса и, щедро рассыпая превосходные степени, повествует о злоключениях Эрнесто, механика, у которого была болезнь сердца.

— Так что он даже был от этого сердечником,— уточняет Луиза.

Эрнесто побывал у всех докторов, профессоров и знахарей, какие только есть на свете. Каждый раз приговор врачей был один и тот же: «Готовься к смерти». К Паскуалине обратились, когда никаких надежд уже не оставалось, но она сказала совсем другое: «Пусть тебя оперирует профессор такой-то, и ты выздоровеешь». Тогда Эрнесто отправился в Рим. Он попал на осмотр к ассистенту, который опять сказал: «Готовься к смерти». Но механик уж решил добиться своего; он подстерег профессора при выходе из клиники и, обратившись к нему, рассказал о своих мытарствах, а в заключение сообщил:

— Меня направила Паскуалина.

Профессор широко раскрыл глаза:

— Вот оно что... Ну, если Паскуалина....

Двумя неделями позже Эрнесто, здоровый, резвый, как *carretto* *, уже работал.

Но самое вкусное Луиза приберегла на десерт:

— А когда Эрнесто пошел благодарить профессора, тот отсчитал ему 50 тысяч лир, потому что он сто раз пробовал делать такую операцию, а удалась ему только одна и выжил только один такой больной — Эрнесто.

— Да,— повторяет Пиладэ с проникновенным видом,— она таки заработала денег, эта Паскуалина...

— Она не лечит,— предупреждает нас Луиза,— она не исцеляет...

— Разве что дает иногда травы.

— Или лекарства, но это бывает редко. Ее специальность — диагноз.

Конечно, нам захотелось увидеть такой человеческий механизм, у которого глаз как рентгеновский аппарат. Лилла завела провокационный разговор о своих желудочных спазмах, я ей вторил. Никто никогда не мог установить точно, чем она больна. Но наши хозяева не знали адреса Паскуалины. Впрочем, они уверяли, что в Чивитанове дорогу покажет первый встречный.

И в самом деле, не доехав с километр до этого городка, я остановился и стал расспрашивать старика, который, сидя на откосе дороги, грелся на солнце.

— *Per favore* **, где живет Паскуалина?

— В белом *palazzo*, за железнодорожным переездом.

Палаццо оказался всего-навсего небольшим буржуазным особняком, свидетельствующим о довольстве. Нероскошный, но основательный, он стоял у дороги, опаленный солнцем. Слева от него находился довольно обширный сад, справа поле, по которому, поклевывая, бродили куры. Другое поле было напротив; по нему лениво передвигались женщины. Они подбирали колоски. Таковы владения Паскуалины.

Калитка была открыта, дверь тоже. В приемную можно войти, словно на мельницу. Старые крестьяне —

* Козленок (*итал.*).

** Пожалуйста (*итал.*).

он и она — сидят на краешках стульев, напротив них мужчина лет сорока, у окна сравнительно молодые муж и жена. Лилла садится, я тоже; некоторое время мы ждем. Ничего не происходит. Все молчат. По прошествии двадцати минут отворяется дверь и появляется хорошо одетый господин. До порога его провожает шага — чародейка! Ей лет пятьдесят, она не очень высока ростом, не толста, но и не очень далека от этого. Черты лица мягкие, взгляд строгий.

— Я очень устала, — говорит она, — и не знаю, смогу ли сегодня продолжать прием.

Молодая чета устраивается поудобнее, словно повторяя молча фразу Мирабо о штыках *. Я же завожу разговор о долгом путешествии, предпринятом из Парижа с единственной целью получить совет Паскуалины. Чета крестьян не раскрывает ртов, но, поднявшись, наступает с твердой решимостью на лице, плечом к плечу, тяжело дыша. Паскуалина с улыбкой пропускает их. Одинокий мужчина спешит успокоить нас: он всего-навсего сопровождал крестьянскую чету. Он не пришел показываться. В прошлом году Паскуалина вылечила их — его самого и его жену. Молодые тоже вступают в разговор. И они тоже бывали здесь раньше. Молодая женщина два года назад избавилась от воспаления вен, которое не смог обнаружить ни один врач. Теперь они опять обращаются к Паскуалине по поводу какого-то другого заболевания.

Я задаю вопрос, кажущийся мне вполне естественным: неужели у Паскуалины не бывает недоразумений с врачами. Итальянцы удивлены. Конечно нет! Почему бы? Напротив! Врачи, когда они не знают, как им быть, посылают больных к Паскуалине и затем безоговорочно доверяются ее диагнозу.

— У нее глаза как рентген.

Она видит даже то, чего не могут заметить рентгеновские аппараты. Какие там недоразумения, рег Вассо **. Врачи в трудных случаях направляют

* «... нас можно удалить отсюда только силой штыков». Ответ Мирабо на требование королевского уполномоченного при попытке разгона генеральных штатов в 1789 г.—Прим. перев.

** Клянусь Бахусом (итал.).

больного в palazzo чародейки, а сама чародейка после осмотра направляет пациента к самому подходящему специалисту. И она никогда не ошибается. В общем, это братский обмен добрыми услугами.

Через полчаса крестьяне удаляются с радостными лицами. Паскуалина с той же застывшей грустной улыбкой приглашает молодую пару. Прием длится ровно полчаса. А мы? Захочет ли она нас принять? Ведь говорят, она выпроваживала и генералов. А однажды даже знаменитого епископа.

Слава богу, барометр показывает «ясно», и наш жребий более завиден, чем жребий епископа. Паскуалина вводит нас в свою «консультационную» — голые стены, выбеленные известью, некрашеный стол, четыре плетеных стула. Закрыв дверь, она разглядывает нас обоих как бы для того, чтобы определить, который из нас пациент. Так как случай затруднительный, Паскуалина не спешит высказываться, тяжело садится, указав нам на стулья, скрещивает руки на животе и ждет. Ее лицо выражает доброту и усталость. Ввиду того что молчание грозит никогда не закончиться, я сдаюсь первым.

— Моя жена нездорова.

Призванная к выполнению своей роли, Лилла тотчас принимает страждущий вид. Паскуалина поворачивается на стуле на четверть оборота, чтобы оказаться лицом к лицу с больной; ее ресницы трепещут, ее веки поднимаются и опускаются. Она глубоко вздыхает, крестится и закрывает глаза. Немедленно у нее на лице появляется выражение страдания, которое должно казаться нестерпимым, однако не выглядит особенно убедительным. Губы дрожат. Паскуалина ощупью ловит запястье Лиллы, чтобы послушать пульс. Потом, не проронив ни слова, терзаемая какими-то пытками, она выпрямляется и приглашает мою жену встать. Обеими руками Паскуалина прикасается к лицу Лиллы. Она ничего не пропускает: волосы, уши, затылок, лоб, глаза, щеки, нос, шея — всему свой черед. Дойдя до каких-то точек, кончики ее пальцев возвращаются обратно, затем они следуют вдоль спины, плеч и груди. Она становится на колени, чтобы перенести пальпацию на бедра и ноги, и при этом наивно щурит близорукие глаза, я думаю,

для того, чтобы лучше рассмотреть подробности. Ничуть не стесняясь, она садится на корточки на полу, чтобы ощупать ступни вплоть до пяток и пальцев ног.

Временами губы ее шевелятся, как бы произнося неслышную молитву. Черты лица по-прежнему искажены страданием. Опустившись на пол, она снова начинает выстукивать ноги, перебрасывая одну руку за другую, как пианист-виртуоз, и при этом ударяет по чувствительным местам.

Наконец, сделав над собой усилие, она находит стул и падает на него. Второй вздох, более глубокий, чем первый, вздымает ее пышную грудь. Она открывает глаза, и ее лицо застывает в мягкой и доверительной улыбке. Так улыбаются иногда продавщицы аптек, когда они предлагают медикаменты, название которых слишком красноречиво.

— Я видела, — заявляет она и перечисляет здоровые органы. Какой взор! И какая память! Внезапно она делает ошеломляющее сообщение:

— Я увидела кровяное давление: 128.

У нас перехватывает дыхание. За несколько дней до этого врач измерял у жены давление: точно 128. Я избегаю встречаться взглядом с Лиллой из опасения, что она себя выдаст. Паскуалина наклоняется и указывает пальцем на правый бок больной.

— Воспален желудок. Вот отсюда идет.

Конечно, можно сказать, что и Паскуалина вроде тех гадалок, которые «видят» на картах, что вы получили письмо или получите его. Можно сколько угодно посмеиваться, что, дескать, трудно найти женщину, которую не беспокоил бы желудок; и все-таки люди всегда склонны поверить в сверхъестественное или по крайней мере в необыкновенное.

Поэтому и мы почувствовали себя несколько пристыженными: мы уже готовы согласиться с тем, что нет дыма без огня. Но именно в этот момент Паскуалина сделала серьезный промах, заставив нас снова усомниться. Конечно, она «осмотрела хорошо и всюду», но проглядела операцию, которую моя жена перенесла несколько лет назад. Лилла, всегда порывистая, проговорила, и Паскуалина, не растерявшись, сделала понимающий вид.

— Конечно, конечно, я видела рубец...

Однако недоверие остается очень смутным, даже хочется истолковать ее ошибку влиянием моей собственной упорной предвзятости. Но и Лилле, так же как и мне, показалось, что в этом случае рентгеновские лучи не сработали. Итак, в пользу ясновидящей остаются удивительно правильный диагноз и исключительно точно угаданная величина кровяного давления.

Медицинская консультация закончена, и я осмеливаюсь задать несколько вопросов. Паскуалина с явным удовлетворением скрещивает руки на животе; должно быть, это ее привычная поза. Сразу заметно, что она обожает говорить о себе. Подробно рассказывает о своей юности и о выявлении ее дара.

— Я была совсем молоденькой девушкой, но уже плохо себя чувствовала. Я была вот такая худая (она показывает мизинец), постоянно кружилась голова (чтобы стало понятнее, она изображает, не вставая со стула, вертящегося дервиша), аппетита никакого. Доктора, конечно, ничего в этом не понимали.

Горизонтальная линия, проведенная ее рукой, говорит, что если бы бедные больные были предоставлены только официальной медицине, то об их участи следовало бы пожалеть. Затем она описывает церемонию своей свадьбы. Несмотря на то что она родила двоих детей, одного за другим, она похудела еще больше (?). В общем, переход от девичества к замужеству не вызвал у нее никаких перемен.

— Однажды, работая в поле, я потеряла сознание. Вокруг меня собрался народ. Как мне говорили после, во время моего обморока я рассказывала, что в это самое время делалось в деревне; потом оказалось, что все, о чем я говорила, было правдой.

Говорит она уверенно, как по писаному. Несомненно, ей приходилось говорить об этом много раз, причем в рассказ вносились усовершенствования. Чтобы усилить впечатление, Паскуалина замолкает; в этот момент ожидаешь, что она вот-вот добавит с улыбкой: конец пролога.

— Некоторое время спустя, — продолжает она со вздохом, — мой муж вечером долго не возвращался.

Моя мать уже проливала слезы, дети плакали навзрыд, а я оставалась удивительно спокойной. Находясь в каком-то трансе, я успокаивала своих: не плачьте, ничего с ним не случилось, я вижу его, он идет по дороге, сейчас он выходит из-за угла улицы, он подходит, он открывает portone *, он поднимается по лестнице... вот он. И на глазах моих изумленных родителей вошел мой муж.

Снова пауза. Занавес после первого акта. Паскуалина глубоко вздыхает, и снова звучит ее ровный, монотонный, мягкий голос.

— Тогда моя мать отвела меня к доктору, который выслушал все до конца, не перебивая. После этого он повернулся ко мне и сказал: «Паскуали, посмотри-ка, что делается в нижнем этаже». Я наклонилась, чтобы поглядеть сквозь пол. Я увидела мужчину и женщину, считавших монеты. «Да,— сказал доктор,— это хозяева бакалейной лавки, что на углу. Каждый вечер они считают выручку. А в доме напротив ты видишь что-нибудь?» Сквозь стены и улицу я увидела мать возле постели больной девочки. И это было на самом деле так. «Можешь ты увидеть, чем хворает девочка?» — «У нее распухло горло». И опять это было правдой. Он знал это, потому что сам лечил девочку. «Иди,— сказал он моей матери,— забирай свое чудо, ничего серьезного с ней нет, не надо только мешать ее дару».

Я пользуюсь антрактом, чтобы задать вопрос:

— И у вас больше не было головокружений?

— Никогда больше,— отвечает Паскуалина, начиная третий акт.— После этого каждый раз, когда кого-нибудь из наших что-нибудь тревожило, обращались ко мне: «Ах, Паскуали, не посмотришь ли, что с моим старшим, который в солдатах?» Или: «Что сейчас делает мой муж?» Иной раз видишь вещи, о которых не следует рассказывать. Но я понимаю...

Опустив глаза, она поясняет со скромным видом:

— Ведь мы существуем для того, чтобы лечить, а не для того, чтобы разрушать. Разве не так?

* Наружная входная дверь (итал.).

Лилла убежденно кивает головой. Я возвращаюсь к практической стороне дела:

— Вот так вы постепенно устроили ваши дела?

Она смиренно указывает на palazzo вокруг нас, на поля и на кур за оградой.

— Да, с божьей помощью обзавелась домом и пополнила.

В этой бедной стране полнота служит внешним признаком преодоленного недоедания.

— Иначе говоря, мой дар, заключенный внутри меня и не имевший выхода, иссушал и терзал меня.

— Но как вы объясняете этот дар?

Лилла подавляет гримасу. Мы с ней уверены, что не обойдется без указаний на небесные силы. Ничуть. Паскуалина оказалась умнее. Она поднимает обе руки, изображая чаши весов. Ее голова и изображаемое коромысло клонятся то в одну сторону, то в другую.

— Mah... Chi lo sa? * Я вроде медиума, вроде ясновидящей...

Мы поднимаемся одновременно с ней.

— У вас бывает много клиентов?

— Сегодня было восемнадцать... Сейчас четыре часа... Обычно бывает человек двенадцать утром, столько же после завтрака. По воскресеньям я не работаю.

— Но откуда вам так хорошо известны медицинские названия? Вы учились?

— Нет,— говорит она улыбаясь,— в этом у меня не было надобности. Несколько лет тому назад во время одного съезда врачей в Болонье меня пригласили, чтобы сравнить мое ясновидение с рентгеновским аппаратом. И я говорила: «Я вижу что-то вроде мешка...» — «Это желудок»,— объяснили мне мои «коллеги». — «А тут что-то вроде боба». — «Это почка». И так далее.

— И у вас никогда не было неприятностей с врачебными властями?

Она удивленно смотрит на нас.

— Никогда. Для этого нет причин — ведь я им помогаю.

* Ээ ... Кто его знает? (итал.)

— И они считают вас специалистом?

— Вот именно,— подтверждает она вполне серьезно,— вы выразились совершенно точно.

Она в самом деле казалась измученной. Я спросил ее, сколько я ей должен. Нам не раз говорили, что ее тариф — две тысячи лир. Но Паскуалина колеблется. На нас устремлены и оценивают наши возможности уже не глаза-рентген, а глаза крестьянки, знающей, что такое голод.

— Полагаюсь на вашу доброту,— говорит она наконец.

Это значит, что цена будет повышенная. Мы вежливо настаиваем на определенной сумме. Она не менее вежливо увиливает:

— Стало быгь, я сделала полный осмотр, измерила давление, взяла «анализ крови»... Все... я все осмотрела. И так устала, что если бы вы не приехали издалека... Пять тысяч?

Ее интонация явно вопросительна. Кроме того, она робко добавляет формулу, которую мне пришлось впоследствии слышать из уст почти всех врачей Италии:

— Это не слишком дорого?

Я протягиваю ей деньги; она кладет их в карман. Затем она хватает руку Лиллы и целует ее. Из-за пяти тысяч лир?

Ну вот. Все кончено. Мы возвращаемся в раздумье. Конечно, она «плавала». Но величина давления, диагноз, они были удивительно точными. Любопытно.

В Риме я подробно рассказал этот случай крупному хирургу, одному из тех, у которых на визитной карточке вслед за именем стоят три строки: professore, primario * и еще бог знает что.

— Как вы это объясняете?

— Я этого никак не объясняю,— ответил он, пожимая плечами.

— Вы в это верите?

— Почему бы мне в это не верить?

Всегда бывает досадно, когда наш собеседник мыслит не так, как мы сами. Я настаиваю:

* Профессор, главный врач (итал.).

— Эта незаконная медицинская практика насколько не беспокоит сословие врачей?

И получаю типично итальянский ответ:

— *Lasciamoli campare.*

В вольном переводе: всем надо жить!

Г о р ы



Мне знаком этот горный пейзаж.

В сентябре 1943 года Фудзио рекомендовал мне эти места как «спокойный уголок», где можно переждать несколько дней до прихода союзников. Мы последовали его совету. В Уссите мы снова встретили Винтера, Лизелотту, Джиль и Стеллу: немца, польку, англичанку и уроженку Южной Африки — все бывшие интернированные, которых перемирие освободило из лагерей и мест поднадзорного проживания. Никогда еще в этой затерянной деревне и в разбросанных горных хуторах не собиралось столько народу. Германская армия оккупировала всю северную половину полуострова. Итальянская армия разваливалась. Семьи прятали в надежных местах своих мужчин, «способных носить оружие». Около двухсот тысяч бывших интернированных и военнопленных бродили по стране в поисках пристанища. Некоторое время все эти люди играли в конспирацию.

Через неделю мы начали беспокоиться. Союзники, высадившись в Анцио, не продвигались. Увлечение конспирацией прошло. Мы вылезли из домов и, переодетые в итальянцев, толпами бродили по узким улицам, разговаривая на трех языках; а за нами на расстоянии двадцати шагов почти всегда шел озабоченный *maresciallo* * карабинеров Усситы. Долго так продолжаться не могло. Сбравшись с духом, я

* Марешалло — низший офицерский чин в полиции. — *Прим. перев.*

отправился к *maresciallo*. Разговор был поистине эпическим. Бедняга не знал, как ему быть. У него был циркуляр, который именем новообразованной итальянской республики предписывал властям водворить в лагеря заключения всех врагов народа, выпущенных на волю во исполнение договора о перемирии, подписанного королем-изменником. Я сообщил:

— Давайте предположим, будто вам неизвестно, что мы были интернированы?!

Он развел руками, как бы призывая меня в свидетели:

— *Ma...* (Да, но...)

Это меня убедило.

Пришлось сдаться. Действительно, не очень удачная выдумка. Тогда *maresciallo* выдвинул контрпредложение.

— Хорошо, я буду сомневаться еще двадцать четыре часа.

— И за это время мы исчезнем?

Оставалось только бежать. Мы решили разделиться. Винтер направился в Кастелло. Джиль решила идти прямо на юг и пересечь линию фронта. Лизелотта собиралась укрыться в Сан-Плачидо. А для нас Фудзио нашел в непроходимом лесу хижину, «о которой никто не догадается». Он обещал прислать за нами на другой день в 5 утра телегу, чтобы увезти нас в строжайшей тайне. Когда деревня проснетя — ни *professore*, ни синьоры уже не будет. Улетели!

Операция и в самом деле была проведена в строжайшей тайне. Было, вероятно, половина пятого, когда колеса телеги, проклятия возницы и щелканье его кнута заставили всех обитателей Усситы броситься к окнам. *Razienza!* * На дворе темно хоть глаз выколи. Нас не увидят. Когда мы украдкой на цыпочках выходили из дома, возница заревел:

— Эй, *professo'!* Где вы? Надо вывезти вас до рассвета, а то вас увидят.

Здесь и там захлопали открываемые ставни. Полуживые от страха, мы с адским грохотом проехали

* Спокойствие! (*итал.*)

через всю деревню, провожаемые любопытными взглядами. Только в горах Лилла наконец облегченно вздохнула. Антонио, наш возница, тотчас же поставил указательный палец поперек усов и прошептал:

— Синьор Фудзио и его синьора ожидают вас.

Они нас действительно ждали... и с ними еще человек двадцать гостей— участников заговора! Огромный накрытый стол, дымящиеся спагетти и яичница из доброй сотни яиц. Если мерить не по дороге, а напрямик, от Сорбо, куда нас привезли, до Усситы меньше пятисот метров. Возгласы заговорщиков, решивших спрятать professore и синьору, были слышны значительно дальше. Мария, Нерина и ее четыре двоюродных сестры хлопотали на кухне. Все присутствующие уверяли нас, что мы должны как следует подкрепиться, перед тем как скрыться в лесах. Один из неизвестных мне гостей спросил меня громовым голосом:

— Офицер?

В это время чинам итальянской армии было приказано явиться в свои части. Пока я раздумывал, что бы такое ему ответить, неизвестный приложил палец к губам и с понимающим видом сказал:

— Ясно! Интеллидженс сервис.

Спагетти стали у меня поперек горла. Неизвестный наклонился к своему соседу и сообщил ему на ухо о своем открытии; тот немедленно уставился на меня восхищенным взглядом. Лилла, передавая мне солонку, проговорила вполголоса:

— Это тебе от Мата Хари!*

Солнце стояло уже высоко, когда мы выходили из дома; тут нас ожидал новый сюрприз. Вся деревня собралась на площади проводить нас. Снизу из Усситы слышались крики «ура». Мы пустились в путь вслед за Антонио, который подталкивал своего мула, нагруженного двумя большими мешками с соломой: это были матрацы для нас. Все было организовано самым тщательным образом. Фудзио и его друзья с охотничьими ружьями на плечах образовали грозный

* Знаменитая шпионка начала века, казненная во Франции во время первой мировой войны.— *Прим. перев.*

конвой. После получасового подъема мы еще могли видеть платки, которыми нам махали из обеих деревень. Может быть, и *maresciallo* карабинеров тоже стоял среди энтузиастов?

Непроходимый лес оказался огороженным участком лесопитомника. Средняя высота елок в нем была полтора метра.

На рассвете следующего дня нас разбудили выстрелы. Это молодые люди из Сорбо упражнялись в прицельной стрельбе; мишенью им служила доска с надписью: «*Caccia vietatissima*» (охота строгойше воспрещена).

Смешно? Ну и что! Это хорошие люди! Хорошие люди, которые спасли нам жизнь. С открытым сердцем они всегда были готовы отдать последний кусок хлеба и приютить в сарае, а то и в комнате любого из бесчисленных скитальцев, бродивших по стране в ту страшную зиму, когда немцы заставляли одну половину Италии охотиться за другой ее половиной. Они страдали, испытывая лишения. Они знали всех нас в лицо — нас были тысячи — и ни разу никого не выдали.

Таким был и наш карабинер, который, встретив меня два месяца спустя, остановился, внимательно рассмотрел бородицу, которую я отпустил для маскировки, и одобрительно сказал:

— Я вас и в самом деле не узнаю.

Таким был Мариеттона, служащий табачной монополии в Уссите, который обеспечивал нас табачным пайком. Таким был мэр, который без всяких оговорок включал нас в списки на получение муки и растительного масла. Такими были семьи, которые помогали нам жить, доставая нам уроки; в конце месяца за них расплачивались ветчиной, колбасой и другими товарами, исчезнувшими из продажи. В Кастелло было человек пятьдесят бывших пленных: офицеров, солдат, гражданских лиц. Среди них были славяне, англичане, американцы. Им запросто выдали продовольственные карточки. Я сам видел карточку Питера — летчика британской авиации. Она была выдана на его имя с надлежащими указаниями: *ufficiale nemico di passaggio* — неприятельский офицер, проездом!

Здесь, в горах, кишевших беженцами всех мастей, гостеприимство в отношении этих *poveri figli di mamma* — бедных сыновей своих матерей — удивляло своей непосредственностью, а нередко и героизмом.

В Сорбо нас было семеро. Лилла, ее отец, четыре югослава и я. Немцы являлись три раза. Каждый раз мы оставались в живых. Если мы и испытывали какие-либо лишения, то только потому, что те же лишения испытывала вся деревня. Мало того: в тот день, когда немецкий фельдфебель получил приказ расстрелять за укрывательство восемь жителей деревни, люди плакали, прощаясь друг с другом, но никому в голову не пришло выдать немцам чужестранцев. Фельдфебеля захватило общее настроение, он был в отчаянии. Он думал только о том, как спасти людей, которых должен был расстрелять, и обращался к нам, знавшим немецкий язык:

— Himmel Herr Gott *, как мне быть, чтобы остаться ein Mensch, человеком!

В тот раз никто не был расстрелян, и мы обязаны этим двум храбрым женщинам: госпоже П. и Лилле, которые бросились уговаривать фельдфебеля не подчиняться приказу. Мы обязаны этим также и фельдфебелю, может быть потому, что он был потрясен, столкнувшись в разгар войны с настоящими человеческими чувствами. Звали его Ганс.

Не боясь показаться сентиментальным, я сейчас хочу сказать итальянскому народу, что я его люблю. Люблю за его простоту, за его жизнелюбие (проявлений такого же жизнелюбия он ждет и от других), за то, что в его жилах стынет кровь при виде чужих страданий. Его недостатки? Всем известно, что их у него предостаточно. В том числе склонность преувеличивать. Прекрасное описание этого недостатка можно найти в «Тартарене из Тараскона». Но с какой бы стороны ни оценивать итальянцев — это солнечный народ.

И вот мы снова среди наших друзей, которые, как и прежде, собрались на деревенской площади вокруг большого дуба. Анджело узнает нас первым, вероятно по французскому номеру Пафнутия. Когда мы

* Господи боже мой (нем.).

расставались, он был еще семинаристом. Теперь его зовут дон Анджело, и он приходский священник в Калькаре, соседней деревеньке. Его отец Джованноне жалуется: «Поясница болит! Не могу бегать, как прежде». Старику уже перевалило за восемьдесят. После нашего отъезда народился целый выводок ребят. Сорбо выглядит немного грустно. Сезон еще не наступил; синьоры займут свои дома только в середине лета.

Как много времени прошло, заметно и по тому, как выросли грудные в те времена дети; теперь они подростки. Вот дом, где *sioga* * М. тиранила свою невестку Джанетту. Теперь невестка тиранит свекровь: не она ли дала ей двух внуков?

Я помню рождение старшего. Старуха держала ребенка на руках.

— Он великолепен, *professo*! Это будет донжуан!

Внезапным движением она развернула пеленки, показывая мне крохотный признак принадлежности младенца к мужскому полу, и пробормотала в восторге:

— Он напортит девушек, этот *mascalzone* **.

Донжуан работает в Риме в бакалейной лавке двоюродного брата. Лилла спрашивает, много ли он наделал бед девушкам. Старуха, бросив боязливый взгляд на свою невестку, многозначительно отвечает: «Э-э». Итак, бразды правления решительно перешли в другие руки. Дон Анджело приказывает, а его отец Джованноне уже не повышает голоса.

— Мам! Поставишь еще два прибора для профессора и синьоры!

Жестом человека, привыкшего приказывать, он не дает нам возразить.

— Поедите *minestra* вместе с нами *senza complimenti* ***.

Pasta e faggioli — макароны с бобами. Мечта! Нас угощают и тем, в чем особенно искусна мать дона Анджело, — мягкой колбасой, которая мажется на хлеб; она тает во рту, как масло. Анджело шутит,

* Местное сокращенное синьора — госпожа. — *Прим. перев.*

** Негодник (*итал.*).

*** Без церемоний (*итал.*).

как много лет назад: «Из моих собственных окороков». Нам легко, и мы даже немножко счастливы оттого, что смеемся вместе с ними, как будто мы никогда не слышали этой шутки. Согласен, шутка дурацкая. Ну и что же? На какой-то миг она меня раздражает, но пьянящие воспоминания берут верх. Не для того ли мы приехали сюда, чтобы набраться впечатлений о жизни простых людей. Чувства их поверхностны. Их легко рассмешить и так же легко довести до слез. Но они покорили нас, несмотря на переменчивость их настроений, несмотря на отсутствие у них глубины. Когда мы с ними, мы забываем о том, что итальянцы были «нашими врагами в войне», что они «кинжал в спину Франции», что они «продажны», «суеверны», «склонны к ложному величию», что «их мечты о будущем навеяны прошлым»; мы забываем о «данных и несдержанных обещаниях», о «путанице», о «двуличии», о «лени», обо всем.

Почему? Не только потому, что мы хотим отплатить итальянцам любезностью за хороший прием. И снисхождение здесь тоже ни при чем. Наша приязнь вовсе не от того, что мы легко чувствуем себя в этой стране: мы ведь не пожелали в ней жить. Так в чем же дело? Почему мы любим этот народ? Трудно объяснить это.

Возможно, потому, что надежда всегда жива в их сердцах. Или потому, что здесь придают так мало значения всему, что отравляет жизнь нам, людям Запада. А может быть, потому, что итальянцы живут, живут в настоящем смысле слова. Потому, что именно они, даже не сознавая этого, приемлют жизнь со всем, что в ней есть простого, непосредственного, естественного. Если в Вальпараисо, Квебеке или Шанхае вы услышите, что трое распевают на заснувшей улице, можете держать пари, что это итальянцы.

Эти-то их свойства и трогают нас.

Я хотел бы привести более конкретный пример. В одном городке на юге страны я обратил внимание на мальчика лет пятнадцати, красивого, как языческий бог.

Это сын священника, объяснили мне, прибавив с нескрываемой гордостью:

— У него самые красивые дети в округе.

Я воскликнул:

— У священника?!

Мои собеседники пожали плечами.

Ну и что? Мало ли что пишется? Жизнь есть жизнь. Мужчина — это мужчина!

Ну конечно. Как у них говорится: *Lasciamoli sampra'*.

Гений итальянского народа в этом самом «живи и давай жить другим».

Спросите греков, страна которых в конце концов была оккупирована итальянской армией, как они самым средиземноморским образом побратались с победителями. Спросите и победителей. И вы поймете, что такое простосердечие.

И если в наши дни стыдно превозносить сентиментальность, и даже ту сентиментальность, которая помогла выжить итальянцам — одному из народов, наиболее долго находившихся в порабощении, то я, не колеблясь, возьму на себя этот позор.

Конечно, мне не приходилось встречаться с признанными великими умами Италии — безусловно, я узнал бы от них много интересного. Но это и не входило в мои намерения: мне кажется (может быть, я и ошибаюсь), что со времен Перикла — который кроме всего прочего был отвратительным тираном — деятельность интеллигентов никогда не влияла на условия жизни их современников. И именно поэтому современники не могут их оценить. Их признают лишь много лет спустя. Даже Иисусу понадобилось три века, чтобы его признали. А повседневная действительность слагается из радостей и тревог простых людей. К этим людям я и стремился, и в их жизни я старался разглядеть жизнь Италии.

А теперь я перехожу к рассказу о Юге.

Юг — можно сказать Африка — начинается где-то между Флоренцией и Сиеной. В тот день, когда мы с Лиллой, встретившись наконец после освобождения из лагерей, в первый раз свободно гуляли по Мачерате, мы не верили своим глазам. Окраины города поразительно напоминали нам арабские деревни в окрестностях Каира.

Рим уже принадлежит Югу.



Рим не просто столица. Это — **СТОЛИЦА**. Центр античного мира, он остался центром и современного западного мира. Дело в том, что, лишившись в конце концов политического главенства, он сохранил духовное верховенство.

Рим и поныне остался административным, и при том преимущественно административным центром страны. Север недоволен тем, что на его плечах, то есть за его счет, Рим содержит свою армию чиновников и выколачивает с Севера же налоги в пользу Юга. Юг злится на Рим за то, что тот плохо распределяет эти средства и потворствует коррупции. В конечном счете все недовольны. Но Риму это безразлично. Когда имеешь в своем распоряжении вечность...

Он парит слишком высоко, чтобы слышать эти жалобы. Что ему! Варвары захватывали, грабили, громили и разрушали его несчетное число раз. Французы неоднократно овладевали им (в последний раз не так уж давно). Даже мелкие феодалы в Средние века и в эпоху Возрождения не боялись нападать на него или бросать ему вызов. И самым грозным папам приходилось считаться с Венецией и с Неаполем, то есть в конечном счете — с Испанией. Но коннетабль Бурбон до конца своей жизни так и не смог оправиться от того, что он завоевал Рим. Повелитель Рима Карл Пятый до последнего вздоха чувствовал укоры совести оттого, что осмелился его унижить. И нечего уж говорить об армиях, которые во время последней войны одна за другой скупили город и попирали эти тысячелетние мостовые.

А Рим остался Римом. Много раз изнасилованная столица осталась девственной. Проходили бури, исправлялись повреждения — и будто ничего не было. Столица мира неуязвима. Она истинная супруга Цезаря, которую всякий, кто достоин имени человека, ставит выше всякого подозрения.

У нее осанка знатной дамы. Рим императорский, Рим в руках варваров, духовенства и папы, Рим монархический, фашистский или республиканский — не все ли равно! Он носит все то же прославленное имя — Рим. В течение двух с половиной тысячелетий он не был ничем другим. Париж запросто может растерять остатки своей репутации города-светоча, отдав их какому-нибудь своему отдаленному пригороду, хотя бы Брюсселю. Рим никогда не уступал ни малейшей частицы своего титула Вечного города.

Это объясняется, вероятно, молчаливым согласием народов, которым нужно сохранить общий маяк; подобным же образом, ведя войны, они сохраняют нейтральную территорию — Швейцарию. Рим прекрасно выполняет роль хозяина дома для всей планеты. К чему же в таком случае менять адрес хозяина?

Рим не сравним ни с каким другим большим городом. Его население за время недавних потрясений внезапно возросло с полутора миллионов до трех. Сейчас это трудно заметить, потому что в Риме стали быстро строить. Здесь повсюду можно увидеть объявления: «Продается», «Сдается внаем». После 1870 года и окончательного упрочения итальянского королевства Рим распространился за пределы своих стен, подобно многодетной матроне, юбки которой не умещаются в кресле. Он продолжает расти; и его росту не видно конца. Но, о чудо, у здешних архитекторов очень верный вкус. И даже мания величия Муссолини и придирчивая опека муниципалитета пошли Риму на пользу. Количество новых домов в Риме огромно! И, как правило, они нисколько не враждуют со старыми. Правда, такое впечатление создается, возможно, еще и оттого, что в Риме представлены все эпохи, и очень скоро привыкаешь видеть остатки этих эпох в близком соседстве друг с другом.

Впрочем, два архитектурных злодеяния все-таки свершились. Во-первых, — воздадим кесарю кесарево! — это памятник Виктору Эммануилу, ставший впоследствии могилой Неизвестного солдата. Говорят, его строители надеялись, что мрамор памятника

очень скоро потускнеет. На самом же деле он до сих пор сверкает непристойнейшей белизной. Американцы прозвали это чудовище wedding-cake*; если принять во внимание, что у этого народа полностью отсутствует вкус (это относится к их взглядам как на скульптуру, так и на другие искусства), то можно себе представить, что это за пирог! В 1944 году мне довелось слышать, как один солдат из армии Свободной Франции назвал этот монумент проще, а именно писсуаром для гигантов. Мне гораздо больше нравится именно это простое определение.

Кроме того, есть еще Дворец Правосудия. Это кошмар и бред в стиле восьмидесятых годов прошлого века, предшествовавшем стилю метро. Это гигантское бедствие расположено, к счастью, в каких-нибудь двух шагах от замка Святого Ангела, который...

Однако я отказываюсь описывать Рим, так как на этом поприще меня поджидают три опасности — не оказаться на высоте, повторить то, что написано другими, и, самое главное, превысить отведенное мне количество страниц. Меня лично Рим приводит в оцепенение. Чтобы жить в нем и быть счастливым, нужно либо быть циником, либо уметь не задумываться. Вероятно, поэтому римляне циничны или легкомысленны. Конечно, есть и такие, которые не принадлежат ни к той, ни к другой категории. Эти эмигрируют.

Итак, я приступаю наконец к своим журналистским обязанностям и расскажу о беседах, которые я вел. Верный своему обыкновению, я буду называть имена собеседников лишь в тех случаях, когда сочту, что высказанные ими мнения не смогут им повредить: не следует забывать, что лишь в разговоре с глазу на глаз итальянец выдает те свои мысли, которые считаются крамольными. В компании простой итальянец зауряден, и, может быть, именно в этом отношении наша латинская сестра больше всего отличается от нас. Стоит напомнить, что за редкими исключениями мы никогда не знали у себя во Франции такого полицейского и общественного давления, какому под-

* Свадебный пирог (англ.).

вергались и еще довольно часто подвергаются итальянцы *.

В 1945 году Э. Б. вернулся из плена. Он скрежетал зубами. Как и огромное большинство молодых итальянцев из «хороших семей», он верил Муссолини и не был в состоянии примирить свою глубокую веру в славное будущее родины с ужасающей действительностью поражения. Вдобавок он оказался разоренным. Ему досталось в наследство большое состояние— 600 гектаров земли в окрестностях Рима, — но он не смог его получить, земля была захвачена крестьянами. Словом, поражение по всем статьям. Загнанный в тупик, он обратился к правосудию. Суд вернул ему 150 гектаров, в том числе 100 гектаров удобной земли, поставив условием, что он сам будет их обрабатывать. Так он и сделал.

Когда-то перед войной он, чтобы заполнить свой досуг — у всякого *signore* досуга предостаточно, — прослушал курс в университете и стал инженером-агрономом — *dottore!* У него еще оставались обрывки познаний, приобретенных тогда, можно сказать, от нечего делать, и он засучил рукава.

Он женился на В. М., доходы которой к этому времени приблизились к нулю. Начав с нуля, они снова стали богатыми. Они приняли нас в роскошной обстановке. В рабочем кабинете, от которого не отказался бы и министр, он рассказал мне свою историю.

По закону Гулло сразу после освобождения крестьянам, объединявшимся в кооперативы, было разрешено занимать необработанные земли. При этом

* В связи с этим я хотел бы привести пример из жизни. У одного из моих друзей, американца, в 1951 году произошло недоразумение с неким итальянским промышленником, с которым он имел какие-то дела. Судебного процесса не последовало; дело ограничилось обычными угрозами: «Я вам покажу, у меня есть связи, и т. д.». В 1953 году, желая совершить путешествие по Италии, мой друг был остановлен на границе и не допущен в Италию. Его противник благодаря упомянутым связям действительно добился занесения того в черный список. Я подчеркиваю, что не было никаких обстоятельств ни политико-дипломатических, ни юридических, свидетельствовавших против моего друга. Его судебный формуляр был абсолютно чист. Я сильно сомневаюсь, что существуют французы с такой длинной рукой, которые могли бы запретить въезд в страну личным врагам.

ставились два условия. Во-первых, люди действительно должны были быть земледельцами, а во-вторых, они не должны были иметь другой земельной собственности. Закон был разумен и прогрессивен. Разумеется, не обошлось без злоупотреблений. Городские ремесленники, не имевшие ни малейшего представления о крестьянском труде, бросали свое дело и пристраивались к настоящим крестьянам. Вместе с залежными землями иной раз захватывались и обработанные.

Тут Э. Б. говорит такое, чего я от него не ожидал, но что впоследствии мне пришлось услышать еще не раз.

— Честно говоря, это было вполне справедливо. Прежде владельцам крупных латифундий — от 600 до 800 гектаров — достаточно было сдать в аренду пастбища да поселить кое-где *mezzadro* (испольщиков), чтобы обеспечить себе богатое и праздное существование. Земля, конечно, не давала того, что она могла дать, а испольщик и его семья, бывшие в полной зависимости от хозяина, хотя и убивались на работе, все же голодали и могли прокормиться только несправедливыми путями.

Когда закон был принят, государство экспроприировало крупные необработанные участки и оплатило их бонами, подлежащими затем обмену на деньги. При этом была проделана великолепная *combinazione* *, виртуозная *beffa* **, о которой стоит рассказать. За какое-то время до экспроприации налоговое управление потребовало от земельных собственников заполнить под присягой справку о стоимости их земель. Будучи уверены, что их обложат налогом, бедняги объявили стоимость поменьше — вполне естественно (поставьте себя на их место!). Мне называли имена богачей, которые давали взятки, чтобы у них приняли их смехотворные оценки. И вот удар! Денежная компенсация за изъятые земли была определена на основании этих оценок.

— *Mah!* — комментирует Б. с улыбкой.

Кроме того, как всегда бывает в таких случаях, государство само спекулировало на девальвации

* Комбинация (*итал.*).

** Трюк (*итал.*).

лиры, откладывая выплату компенсации на неопределенный срок. Только недавно, больше чем через десять лет, началась оплата бон.

Ясно, что и здесь обе стороны нашли лазейки для злоупотреблений. Многие помещики избежали отчуждения земель. Многие крестьяне, став землевладельцами, и не подумали обрабатывать свои новоприобретенные участки.

Вот почему вторая очередь аграрной реформы проводилась более дальновидно. На этот раз реформа коснулась главным образом неблагоприятных зон Юга. Были созданы специальные учреждения, в том числе *Cassa per il Mezzogiorno*. Эти учреждения должны были равномерно и справедливо перераспределять наделы и связывать новых собственников договорными обязательствами для того, чтобы избежать ошибок, совершенных при проведении в жизнь закона Гулло *.

Прежде всего были продлены сроки действия арендных договоров в сельском хозяйстве. Земельный собственник уже не мог согнать в любой момент издольщика под тем предлогом, будто он сам станет обрабатывать свою землю. Кроме того, над всяким земледельцем — новым и старым — навис дамоклов меч: земля должна давать урожай, поэтому землевладельцу вменили в обязанность постоянно совершенствовать методы ее обработки.

— Вот и приходится работать, — заключает Б. с оттенком сожаления.

Он спокойно выслушивает мой нескромный вопрос, вздыхает, и откровенно говорит:

— Видите ли, если бы все шло, как раньше, я был бы «блестящим украшением гостиной». Конечно, я знавал кое-какой успех. Мой отец хотел, чтобы после него имениями управлял я. Я же мечтал о военной форме. Подумайте только, меня приняли в кавалерийское училище! Это что-нибудь да значило: тридцать избранных из трех тысяч кандидатов. Меня ожидала блестящая жизнь. Но когда временами после тяжелой работы на меня находит хандра, я все-таки

* В главах о Сардинии, Сицилии и Калабрии будет сказано подробнее об аграрной реформе на Юге.

сознаю, что, будь все по-прежнему, я вел бы существование повилики, которая паразитирует на хлебах. В общем, у меня создалось впечатление, что я приношу пользу, а это прибавляет бодрости. Случается даже, что некоторые проблемы всерьез увлекают меня.

— Вы счастливы?

Он морщится.

— Ни счастлив, ни несчастлив. Должен признаться, что мой опыт научил меня отличать личную выгоду от общественной пользы. Результат бесспорно ценный. Как бы я ни жалел о прошлом, сейчас я твердо знаю, что с общенациональной точки зрения и, не будем бояться слов, с точки зрения патриотической — закон о реформе — правильный закон.

50 гектаров из возвращенных ему 150 заняты под виноградниками. Поскольку он не в состоянии все делать сам, он сдает их арендаторам и получает только ренту в размере одной пятой урожая. Рано или поздно эти 50 гектаров будут у него отобраны и перейдут к виноградарям, которые их обрабатывают. Крест, который Б. заранее поставил на этой трети своей собственности, не тяготит его.

— Я не могу на это жаловаться, раз это справедливо.

Взгляды этого сорокалетнего человека можно считать лицевой стороной медали. События освободили его от оков буржуазного эгоизма и доказали ему необходимость гражданской солидарности.

Оборотная сторона приоткрылась мне в беседе с одним высокопоставленным чиновником. Сцена происходила в одном министерстве и по забавному совпадению в одном из тех бюро, где в 1944 году я восседал, как маленький король транспорта, работая в администрации союзников. Назовем моего собеседника П. О нем трудно говорить, не раскрывая его инкогнито. Поэтому я сознательно оставляю в тени предмет нашей беседы. Он одного возраста с Б., но решительно ничего не усвоил. Он тревожится лишь о том, как бы не повредить своему служебному положению. Его первые слова прозвучали кисло:

— Мы... мы принимаем французов с распростертыми объятиями, вы это сами видите, не правда ли, мсье? Извините, одну секунду...

Он выходит в соседнюю комнату и возвращается не один.

— Моя правая рука, мой заместитель... Он... Он будет присутствовать при интервью. Так ведь лучше, не правда ли?

— Простите. Я к вам вовсе не за интервью!

Правая рука обменивается взглядом с левой рукой.

— Так всегда говорят... А потом...

Разговор завязывается плохо. Собеседник боится ответственности и маскирует свой страх пылкими упреками в адрес французов, которые, по его словам, ненавидят Италию. Свидетельством этому книга Ревеля. Мне достается и за пресловутые волосы на ногах итальянок. Чтобы не отравить с самого начала наших отношений, я рассказываю о беседе со сторожем музея, который во что бы то ни стало хотел добиться от нас признания, что Лилла — итальянка. Его аргумент: у нее есть «все, что нужно, и там, где нужно». И заканчиваю шутливым тоном:

— Вот вы — вы ведь считаете, что француженки плоские.

Он хлопает линейкой по столу и подтверждает:

— Они действительно плоские!

Теперь моя очередь возмутиться:

— Опомнитесь! А Брижит Бардо?

Он пожимает плечами.

— Вы шутите! «Они» у нее ничего не стоят по сравнению с Лолобриджидой и Софи Лорен.

В пылу спора мы некоторое время перебрасываемся подобными прелестными аргументами, пока не замечаем, что разговор ушел в сторону. С трудом перейдя снова на шутливый тон, я говорю, что тем не менее итальянки мне нравятся. Он призывает своего заместителя в свидетели:

— Вот! Вот вам доказательство! «Тем не менее», — то есть несмотря на волосатые ноги! И вы напишете в вашей газете...

Я перебиваю его с ангельской кротостью в голосе:

— Я не журналист, у меня нет газеты, я собираю материалы для книги.

Исключительно из вежливости он не ставит эту версию под сомнение, но взгляд его и поза чрезвы-

чайно красноречивы. Я подготовил короткие точные вопросы, от которых лицо его освещается довольной улыбкой.

— Я вам отвечу. Это дельные вопросы. Мое учреждение в течение пяти лет занималось изучением как раз этих вопросов. В масштабе всей страны.

Жест в сторону «правой руки». Помощник извлекает из огромного шкафа три огромные книги; он сгибается под их тяжестью. Высокопоставленный чиновник кладет первый том себе на колени так, чтобы я не видел страниц. Мне видна только этикетка, надпись на которой выведена красивыми круглыми буквами. Он перелистывает книгу, что-то в ней находит и восклицает:

— Вот они! Ответы именно на ваши вопросы.

Я вынимаю блокнот и карандаш. В глазах чиновника появляется безумный страх:

— Так это все-таки интервью?

У меня опускаются руки.

— Да нет же.

— В таком случае зачем же вы хотите записывать?

— Чтобы не забыть.

— Чтобы не забыть что?

Настоящий диалог глухих!

— Ответы.

— Но я не собираюсь давать вам ответов!

Я смотрю на него, разинув рот: вытащил книги, пообещал... Он категоричен:

— Подайте ваши вопросы в письменном виде. Я доложу по инстанции.

Как говорят в Италии, бóльшая доза идиотизма уже смертельна. Действительно, здорово! Мой собеседник явно доволен и ищет одобрения у своего подчиненного, тот не заставляет себя ждать. Я пытаюсь договориться полюбовно:

— Послушайте, я обещаю вам...

Он шумно торжествует.

— Ага! Так все-таки интервью?

Я отступаю, я выбился из сил. Тогда он как ни в чем не бывало начинает аргументированно доказывать мне, что главное, в чем мне следует убедиться, это то, что его учреждение не бездействует. Правая

рука подтверждает это заявление энергичными кивками.

Наиболее значительный результат изучения — которое велось в его учреждении пять лет! — состоит в следующем: кризиса производства нет, есть кризис потребления.

Я поднял на него взгляд, в который вложил мою последнюю надежду. Но нет! Он не шутит. Он серьезен, как десятилетний мальчик, играющий в папу. Настаивать бесполезно. Я благодарю его за любезность. Он скромно принимает слова благодарности и подчеркивает:

— *Dovere mio* (это мой долг).

Он провожает меня, сухо приказывает секретарю вызвать для меня лифт и возвращается в свой кабинет со всем надлежащим достоинством.

Болван? Не совсем. Просто типичный чиновник. Недаром во всех странах народ придумал своим канцеляристам иронические прозвища: в Англии — красная тесемка, в Германии — белая плесень, во Франции — кожаная подушка; их общий смысл — канцелярская крыса (в Италии — *Zavorra*). Поколения людей в люстриновых нарукавниках пронизывает ужас перед ответственностью. Это характерно не только для Италии.

Лифта все нет. Секретарь, нажав кнопку вызова, садится и начинает дремать. Рядом с ним, положив локти на стол, толстая, расплывшаяся женщина в черной кофточке говорит вполголоса по телефону:

— Тогда я ему сказала: нет, правда, вы меня не заметили? Такой парень, как вы? Вот пижон!

Она прикрывает трубку рукой и шепчет курьеру:
— Это Анджела.

Секретарь приоткрывает мутный глаз и снова закрывает его. Жарко. На его столе карточка следующего посетителя. Посетитель ждет. Это мужчина лет сорока. В высшей степени элегантен. Вероятно, какой-нибудь *raccomandato*, человек с протекцией. Обессиленной рукой секретарь передает карточку своему помощнику. Тот берет ее, бросив на своего начальника сонный взгляд, в котором чередуются ненависть и зависть. Толстуха продолжает кудахтать. Помощник секретаря передает карточку дальше

по инстанции: курьеру. Этот последний направляется к двери, из которой я только что вышел, и *rispettossissimamente* * стучит пальцем. Ответа нет. Чувствуется, что он вполне способен ждать у этой двери до конца рабочего дня. А если понадобится, готов терпеливо прождать и *straordinarie* (сверхурочно) — за это платят вдвойне. Посетитель, потеряв терпение, подходит к нему, шепчет ему что-то на ухо и сует ему что-то в руку. Рассыльный смелеет, нажимает ручку и открывает дверь...

Но вот и лифт. Молодой человек нажимает кнопку. Не успели мы спуститься на один этаж, как он согнал с лица заученную улыбку и с беспокойством спрашивает:

— Как там во Франции? Есть работа?

Мне становится жаль его:

— Франция, Франция... Ведь мы латинские сестры, мой бедный друг.

Много приятнее была встреча с Анджолетти, председателем Союза писателей. В общем, положение литератора в Италии сходно с тем, которое создано ему во Франции. Он может просуществовать, только если имеет вторую профессию — если он журналист, чиновник, служащий в издательстве и т. д. Неплохо можно заработать на радио и телевидении. Названий издается столько же, сколько во Франции, — 13 500 в год. Это очень много. Но тиражи малы — 5 тысяч, если повезет — 6 тысяч. Тиражи книг Моравии, занимающего первое место, достигают иногда 50 тысяч.

— Нам далеко до Данино и Франсуазы Саган!

Театр еле перебивается: он находится в печальном состоянии. Так считает Рандоне, специалист в этой области, хорошо известный моим парижским коллегам. Итальянский театр живет по старой системе. *La compagnia* — труппа — собирается вокруг одной-двух звезд, подготовив репертуар на один сезон. Она переезжает из города в город. Театральные помещения — это обычно старинные традиционные здания, приспособленные для опер и довольно обшир-

* Наипочтительнейше (итал.).

ные. Но их мало. В Риме, например, всего два больших театральных зала.

Легко понять, что драматургам приходится туго. Сто представлений одной пьесы — это в Италии уже настоящий большой успех. В таких условиях, естественно, пьесы выгоднее переводить, чем писать. В последнее время в больших городах при поддержке государства образованы стационарные Piccoli teatri (маленькие театры). Располагая маленькими зрительными залами, они не в состоянии содержать известных актеров; пока эти театры не вышли еще из стадии эксперимента. Успех Миланского Piccolo teatro — исключение.

Любопытно, что продолжает существовать меценатство. Папины сынки нередко проматывают деньги, вкладывая их в театральные постановки.

— Не все ли равно — разбить себе башку на автомобиле или кутить с актрисами, не правда ли?

Если пьеса будет иметь успех и выдержит сто представлений в театре с залом на тысячу мест, то из расчета 10 процентов от валового сбора она может принести автору десяток миллионов лир. Это, конечно, немало, но такие случаи исключительно редки, и писателю остается рассчитывать на ренту, на вторую профессию или на телевидение. Последнее обеспечивает драматургу авторский гонорар примерно в миллион лир (с учетом премии за использование еще не изданного произведения).

Но, увы! Телевидение — это царство цензуры, которая здесь, как и повсюду, порождает самоцензуру. Телевизионные пьесы, как правило, с самого начала обречены на оскотление. На это идут не все авторы.

Стоит сказать несколько слов и о телевидении. Повсеместное распространение телевидения, страсти, которые оно вызывает, похожи на сумасшествие. Даже в Сардинии и Сицилии, в этом царстве нищеты, не найти бара, в котором не было бы телевизора. По вечерам, во время передачи некоторых программ в кафе набиваются толпы народу; все рассаживаются, как в кино, на поставленных тесными рядами стульях. Одни пьют и едят, другие ничего не заказывают, но

все кричат и аплодируют. Официанты и официантки сами охвачены возбуждением, им не до обслуживания. В такие вечера люди, если у них нет своего телевизора, стараются поехать дома пораньше и всей семьей — папа, мама, бабушка, теща, дети и служанка — отправляются в бар на углу.

Какие передачи пользуются успехом? Например, *musiciege* *. Конкуренты выступают парами. До начала состязания они сидят в креслах-качалках настороженные, как бегуны в ожидании выстрела стартового пистолета. Оркестр исполняет начало мелодии. Узнав мелодию (обыкновенно узнают оба одновременно), участники состязания вскакивают и устремляются бегом через зал. Тот из них, кто первым дотронется до контрольного колокольчика, получает право объявить название песни; ему зачитывается очко. Состязание ведется до пяти очков. Победитель допускается к новому соревнованию. На этот раз фиксируется время и очки засчитываются в лирах; при каждом правильном ответе ставка удваивается. Можно, конечно, в любой момент остановиться и забрать свои деньги, но в большинстве случаев соперники борются до последнего и проигрывают все. Тогда в утешение им выдают маленькую куклу — *musiciege*. Иногда, как и должно быть, выступают самодеятельные артисты. Их уговаривают спеть, приводя великолепный довод: если вы умеете говорить, то что же мешает вам уметь петь? Такие передачи имеют наибольший успех, а в телестудии выстраивается длинный хвост добровольных шутов, желающих развлечь публику.

Желание оказаться в центре внимания! Оно, увы, известно и у нас во Франции. Его наиболее яркое проявление — момент, когда один из участников соревнования (победитель или побежденный) получает право трепетной рукой схватить микрофон и послать привет своим знакомым.

Можно назвать еще передачу *Lascia o raddoppia* — бросай (игру) или удваивай (ставку) — с вопросами в запечатанных конвертах, с нотариусом среди членов жюри и с конферансье Майком Буонджорно.

* «Музыкант» — название музыкального состязания (итал.).

Давка, исступление, неистовство. Тот, кто хоть неделю не следил за ней, опозорен в глазах своего квартала и теряет право участвовать в общем разговоре.

Кандидаты сами выбирают тему. Один из них приехал на велосипеде из Рима, чтобы выступить в Милане: в семнадцать лет он знает всю географию. Телезрители в экстазе: ты слышал? Он знает все острова, он даже перечислил их в алфавитном порядке!

Узнав про такое, некий сардинский пастушок пустился в пешее путешествие, чтобы в свою очередь стать героем маленького экрана. Его тема — святые. Один отставной полковник выбрал тему: «Мемуары» Казановы. Он знает их наизусть, может цитировать их в любой последовательности и помнит в них все, вплоть до количества замятых и опечаток в различных изданиях. А один красивый малый — венгерский эмигрант — использует каждую передачу на тему о фольклоре его родины для того, чтобы обратиться к кинопродюсерам:

— У вас нет чутья, я бы сыграл в фильме не хуже всякого другого.

А «американец», Эдип made in USA *, который отвечает на все вопросы о легкой музыке, что ни спросят.

Это помешанные! Но тот, кому достается приз, отхватывает пять миллионов!

Рассказывают, что к миланским организаторам телепередач явился таинственный незнакомец, претендовавший на абсолютное знание всего, что касается христианской демократии. Директор тотчас же принял его, вручил ему чек на десять миллионов и попросил воздержаться. Анекдот, конечно, barzelletta.

Но для многих такие выступления стали второй профессией. Одному романисту и сценаристу, знатоку почтовых марок, сведения из филателии дают бóльший заработок, чем его перо. А для некоторых выступления в подобных телепрограммах просто единственная профессия. Унылая, бесполезная, но очень прибыльная. Знатоки отдельных тем, люди с феноменальной памятью, изучают материалы, накапливают сведения, чтобы выставить потом свои способности напоказ. Нет

* Сделано в США (англ.).

ничего, что производило бы более гнетущее впечатление, чем состязания на скорость ответа, которые проводились раз в неделю между двумя соперниками, мужчиной и женщиной, на самую бессмысленную тему: «История футбола». Я сам был свидетелем того, как они, запертые каждый в своей кабине, безошибочно перечисляли игроков из команды Верчелли, входивших в национальную сборную в период между ноябрем 1932 года и февралем 1937-го, говорили, сколько раз, против кого и в каком амплуа выступал каждый из игроков!*

Третье место занимает музыкальное обозрение Перри Комо. На английском — как вам это нравится? Есть еще «1, 2, 3»: перевоплощение — обычно пародийное — двух исполнителей в различные известные персонажи; эти заставляют телезрителей корчиться от смеха. Еще есть передачи футбольных матчей и спортивных состязаний.

Все, как и у нас, но с гораздо более широкой аудиторией. И итальянцы от Валь д'Аоста до Агридженте — 48 миллионов одержимых — в назначенный час запираются дома или теснятся в кафе, чтобы в темноте приобщиться к зашедшей в тупик современной культуре!

Телевидение! Оно как алкоголь. Очень приятно, если только вас не тошнит.

Пульс Италии



В свое время Муссолини наделал столько шума, что даже сейчас, тридцать с лишним лет спустя, многим трудно отделить Италию от фашизма.

Когда-то и я ошибался, отождествляя их в моем представлении. Я рассуждал так: раз итальянцы терпели фашизм больше двадцати лет — значит, у них

* Впоследствии я узнал, что во Франции тоже практикуются такие передачи.

есть предрасположение к нему. Но это неверно. Просто итальянцы, придавленные ходом истории, привыкли иметь повелителя. Последний хоть был своим по крови!

За границами Италии часто не представляют себе, что такое жить сегодняшним днем. А как раз такая жизнь и порождает отчасти эту способность забывать прошлое, которая так поражает нас в итальянцах. Мы делаем суровый вид, мы хотим напомнить им «кинжал в спину Франции», их восемь миллионов штыков, их бахвальство, их желание во что бы то ни стало примазаться к военным успехам Германии.

Тщетно. Страница перевернута. Они живут в сиюминутном настоящем.

Я лишний раз убедился в этом на платной автостоянке. Сторож с кое-как надетой повязкой и сумкой через плечо требовал сто лир, тогда как три четверти корпуса Пафнутия находились вне его юрисдикции. Я спорил:

— Если бы во Франции обращались с итальянцами так, как вы обращаетесь с нами...

И невольно замолк — столько горя изобразило вдруг его лицо.

— Французы нас не любят! — возразил он.

— Вы смеетесь. Почти миллион итальянцев обосновался во Франции и...

— Они нас не любят. Я пробыл там три года, во Франции. Французы были совсем не дружелюбны...

Мне это показалось невероятным.

— Когда вы там бывали?

И тут, с не подлежащей сомнению искренностью, обиженным тоном и без малейшего проблеска юмора, он заявил:

— С 1941-го до 1943-го. В оккупационных войсках в Ницце... Нет, французы не были с нами любезны.

Целых два месяца — май и июнь 1958-го — друзья и знакомые, случайные собеседники, совсем незнакомые люди, словом все, будь то крайне правые или крайне левые, только и делали, что кидались перед нами из одной крайности в другую. Прежде чем нам удавалось завязать разговор, нас обыкновенно опережали:

— Ну, как там у вас де Голль! К чему там идет, во Франции?

Потом с нами делились сомнениями, тревогой за судьбу нашей родины, над которой нависла «тьень фашизма». Мы пытались что-то объяснить. Нас не слушали. Тогда мы злились:

— *Guarda chi parla!* (Кто бы говорил!)

Обычно на это следовал ответ: «Вот именно. У нас фашизм был двадцать лет с лишним. Мы-то знаем, что это значит».

Далее следовало перечисление бед, причиненных Муссолини. А потом, как бы между прочим, говорилось:

— Если подумать, не так уж много переменялось с тех пор.

И собеседник переходил к перечислению бед, причиненных христианскими демократами. Этого было достаточно, чтобы вызвать поток воспоминаний. Взор увлажнялся, в нем загоралась острая тоска по прошлому. Грудь начинала вздыматься от вздохов. Дескать, было не так уж плохо, по крайней мере знали, куда идем (?!); деньги были устойчивы, цены постоянны, поезда приходили во время...

Снова взгляд в прошлое, снова вздох:

— *Erano bei tempi!* Да, что ни говори, а жизнь при Муссолини была совсем другой.

Вначале при таких разговорах Лилла и я тревожно переглядывались: значит, они остались фашистами? Нисколько. Такой вывод был поспешным, а потому ошибочным. О той *ragliacciata* * у них остались только ужасные воспоминания, беспредельное отвращение и страх, в котором залог их будущего. Просто они сожалеют о той эпохе так же, как некоторые оплакивают дни своей молодости. Дело в том, что чем больше человек живет, тем больше ему кажется, что все становится хуже. Кроме того, человеческой природе свойственно населять прошлое скорее улыбками, чем слезами, и прошедшие дни представляются им временем надежд на лучшее. Именно так, и ничего больше. Иной раз взрослый человек растроганно рассказывает о своем детстве, в котором

* Клоунада (*итал.*).

самым волнующим моментом было воспаление легких, когда он едва не протянул ноги. Воспаление легких — вот и все, что он помнит:

— Берегитесь сквозняков. Но знаете, между нами говоря, восемь лет — прекрасный возраст.

Мы разобрались в этом вопросе и уже не теряем под собой почву, столкнувшись с кажущимися противоречиями в высказываниях наших собеседников. Например, мы слушали однажды М., зубного врача в Анконе. В его исповеди следовали один за другим рассказы о том, как пред ним открылась сущность фашизма, описание его отвращения к муссолиниевскому режиму, его борьбы с этим бедствием и наконец крик души: «Ах, чудесное было время!». Но нас уже нельзя было провести: просто у них довольно своеобразный взгляд на вещи. Достаточно это усвоить, и они становятся понятными.

Молодые этого не знают. Да им и наплевать на это. В Италии, как и во Франции, новое поколение отличается от старого тем, что оно требует чистогана, cash *, в то время как мы верим в долг. Они ясно видят, что все идет плохо, и бунтуют.

— Фашизм! Подумаешь! Нам рассказывают, что нельзя было получить места, не подольстившись к партии. А теперь! Вы думаете, можно что-нибудь добиться без рекомендации какого-нибудь democristiano? ** За двадцать один год simile *** не смог создать круговой поруки ни более действенной, ни более сомкнутой, чем та, которую христианские демократы создали за десять лет.

Нужно добавить, что иногда эти молодые люди сами члены партии (X.-д.). Их можно встретить во всех органах Христианско-демократической партии. Они освободились от церковной опеки, но сохранили глубокую веру. Они не возражают против того, чтобы священники занимались душами, и готовы отдать в их руки собственные души. Но *santo cielo!***** Политика — дело светское! Видя проповедника, гро-

* Наличие (англ.).

** Христианского демократа (итал.).

*** Клоп (итал.) — так называли крошечный значок, который члены фашистской партии носили в петлице.

**** Святое небо! (итал.)

зящего с высоты церковной кафедры отлучением всякому, кто будет голосовать за коммунистов, они испытывают такое же чувство неловкости за явное бесстыдство, какое они ощутили бы, видя подкупленного судью на футбольном матче, даже если бы он подсуживал их команде. И в самом деле:

— Мы смогли бы победить на выборах и без этого!

Старшие прячут улыбку: если бы они знали! Эта пылкая и буйная молодежь еще не знает закулисной стороны дела. Она пока видит только избирательную кампанию, во время которой людям твердят, что, если бы святая Рита или святой Антоний — или вообще любой святой — спустились из рая, чтобы принять участие в выборах, они голосовали бы только за христианских демократов. Они еще не знают, эти славные молодые люди, сколько нужно неустанной, неослабляемой в течение веков ни на минуту бдительности, чтобы управлять целым народом и сохранить добытую власть. Они не знают о том безграничном влиянии, которое деревенские священники оказывают на своих прихожанок, об их тайном руководстве семьями, супружескими парами, о силе их воздействия даже на свободные умы; они не знают тысячи изворотов религиозного мышления, обрядов и даже суеверий. В этой тысячелетней битве хороши все виды оружия, будь то честные и открытые или коварные и осужденные любыми стокгольмскими воззваниями.

Вот она, старая гвардия партии, — всегда хорошо одета (это очень важно для всех, кроме разве левых партий), всегда со сдержанной улыбкой. В этой улыбке — самодовольство людей с положением, могущих отдалиться разрешению высших проблем, потому что им больше не нужно заботиться о хлебе насущном. Притом эти люди благожелательны: позвольте детям приходиться ко мне *. Их руки простерты и готовы сомкнуться, чтобы обнять или задушить. Раздражающая улыбка превосходства никогда не сходит с их уст. Она сопровождает их звонкие фразы и придает им оттенок лукавства. Особенно беспокоятся они о том, чтобы сохранить свою улыбку перед противником, который не хочет, чтобы его одурачили.

* Слова Христа. — *Прим. перев.*

Вот один из них: вымытый, улыбающийся, лоцный, опрятный, элегантный; жилет фантази, хорошо подтянутые носки. Руки сложены, но соприкасаются только кончики пальцев. Этим как бы подчеркивается, что он набожен, но не впадает в ханжество. Живет в довольстве: квартира роскошна. (За чей счет оплатил ее этот сын народа?) Входит жена и подает кофе. Понятно. Выгодная женитьба. Безмерная любезность: может быть, еще кусочек сахару? Умен, культурен, но слишком ловок. Он тоже высокопоставленный чиновник, но в том ранге, в котором падения уже не страшатся: слишком многих увлекло бы оно за собой.

То, что он цитирует классиков, вероятно, сильно действует на избирателей: Плиний Старший, Катон, Аристотель часто фигурируют в его речах. Столь же часто, как и святой Августин, святой Франциск и святой Фома Аквинский.

«... если вдуматься, они были либералами и даже, смею сказать, революционерами в некоторых аспектах своего учения».

Этот прием позволяет обходить препятствия и затруднения, не теряя обязательной безмятежности. Но исключает всякую возможность движения вперед.

«Возьмем дело епископа Прато *. Я не имею права обсуждать приговор или подвергать сомнению честность судей. Однако давайте разберемся. Что ставят в вину этому бедному прелату? Он объявил, что некая пара сожительствоует. Прекрасно! Но ведь это действительно великое преступление! И это чистейшая правда, святая правда! Согласно каноническому праву, единственному праву, законному в глазах духовенства, эта пара просто-напросто находилась в сожительстве. И если испорченное, разложившееся общество придает этому слову оскорбительный смысл, причем же тут церковь, при чем священник?»

Мы вряд ли договоримся. Я слегка меняю тему беседы.

* Нашумевшее в 1958 году дело епископа, отлучившего от церкви мужчину и женщину, зарегистрировавших брак в мэрии, но не венчавшихся в церкви. Суд фактически оставил епископа безнаказанным. — *Приж. перев.*

— А предвыборная пропаганда священников?

— Я ждал этого вопроса. Его невероятно раздули за границей. Это происходит от незнания условий жизни в нашей стране. Во всех итальянских деревнях духовник одновременно и советчик, отец. Так было во все времена. Мы — католическая страна, *саго signore!* Священник присутствует при рождении, можно даже сказать, что он участвует — в духовном смысле! — в зачатии *. Он крестит, исповедует, венчает, дает предсмертное отпущение грехов: он член семьи. Среди неграмотных он тот, кто знает все, он ученый. Когда сын уходит на военную службу, священник пишет письма за его старую мать. В течение всего года глава семьи приходит к нему за советами относительно сева, уборки урожая, школьных знакомств его детей, поездки в город, предполагаемого бракосочетания сына или дочери... И вы хотите одним махом запретить всякое вмешательство, всякий совет во время избирательной кампании под тем нелепым предлогом, что это, дескать, дело мирское. Вы требуете, чтобы священник держался в стороне, чтобы он вдруг замолчал, отказывая несчастному темному народу в благодеяниях, которые он может ему оказать благодаря своей учености! Его же паства осудила бы его за это! Церкви никогда не простится, если она оставит верующих в сомнении...

Рукой, поднятой словно для благословения, он останавливает мою реплику: ни дать ни взять — регулировщик на перекрестке мнений. Бесконечно добрая улыбка снова освещает его свежее лицо. Он наклоняется вперед. Его рука нежно ложится на мое колено, он понижает голос, как бы боясь, что вражеские уши могут подслушать признание, предназначенное мне одному.

— Хотите, я до конца открою вам душу? Священник, который в разгар политических страстей позволит себе остаться вне партий, просто-напросто поставит под сомнение существование господ бога.

* Лицо внезапно становится серьезным, палец поднимается к потолку, указывая на то, что любая шутка здесь неуместна, поскольку небо причастно к этому вопросу: обсуждение его излишне.

Я проглатываю слюну. Мы совершенно не понимаем друг друга. Все же из любопытства, для того что бы знать, как отвечают в таких случаях, я спрашиваю:

— Но... свобода совести?

— А разве не надлежит советнику, в данном случае приходскому священнику, разъяснить все «за» и все «против» для того, чтобы потом решение было принято со всей объективностью?

— Мне приводили примеры, когда священники грозили отлучением...

Раскат искреннего смеха.

— Ну и ну! Да ни один приходский священник не имеет права отлучать!

— Возможно! Но его неискушенные прихожане не знают этого!

Он широко открывает глаза:

— Тогда пусть наводят справки. Все это детские разговоры! Разрешите мне предугадать ваше следующее возражение: вы скажете, что своей угрозой священник якобы дает понять, что Ватикан мог бы отлучить от церкви и т. д. Повторяю, это детские разговоры. А, кроме всего прочего, если под этим благословенным солнцем всякий итальянец может иметь горячую голову, то почему священника вы хотите лишиться этого права? И почему вы думаете, что мы можем оставить безответной лживую пропаганду наших противников!

— Так именно поэтому священники утверждают, что святые, спустись они с неба, голосовали бы за христианских демократов?

Да, именно поэтому. Только все равно итальянец обожает слушать себя самого. Так что большого значения это не имеет.

Тут мой собеседник, воодушевившись, начинает перечислять благодеяния своей партии и заключает:

— Только мы в состоянии дать отпор коммунистам.

— Значит, вы признаете, что вы добились большинства, используя одновременно и страх перед адом, и страх перед коммунизмом?

— А разве это не одно и то же?

Он безупречен. Приветлив, скромн, вежлив и ничего не выболтал. Мне становится понятным, почему перед лицом такого невозмутимого и деятельного правого крыла Христианско-демократической партии левое ее крыло волнуется, нетерпеливо рвется в бой и не может ничего добиться.

Некоторое время спустя я встретился с одним из крупнейших итальянских сценаристов. Я рассказал ему об этом разговоре и признался в своих сомнениях:

— От всех, кроме этого человека, я слышал только упреки и обвинения в адрес Христианско-демократической партии. Я еще не видел никого, кто сказал бы с гордостью: я голосовал за христианских демократов.

Сценарист вздыхает:

— Это доказывает, что у вас хорошие знакомства. Тем не менее факт остается фактом, христианские демократы получили 42 процента голосов. За них женщины, духовенство — все те, кого страшит коммунизм.

— А молодежь?

— Вам лучше знать эту проблему. Вы там во Франции поставили ее первыми. Новые поколения в полном смысле этого слова свободомыслящих людей свергли тех идолов и развенчали те ценности, которым наше с вами поколение обязано своим формированием, своим боевым духом. Ныне, если не считать тех, кто, находясь на правом фланге, сохранили старую религию, и тех, кто в рядах левых избрали новую, никто не имеет никаких стремлений, кроме стремления немедленно получить полный комфорт. В духовном отношении все те, кто стоят между правым и левым флангами, — это no man's land *.

Немного поговорив о фашизме, «заразной болезни, которая, передаваясь по наследству, порой перескакивает через одно поколение», мы переходим к кино, тоже своего рода ловушке для простаков.

Я рассказываю ему, как в 1944 году союзное командование поручило мне доставить в Рим десяток

* Ничья земля (англ.).

грузовиков, переполненных эмигрантами, перемещенными лицами и другими жертвами войны. Эти обломки крушения были направлены в Чине-Читту*, преобразованную в приемный пункт. Мне велели переоборудовать студии в спальни и столовые. Пятнадцать лет! Как быстро летит время...

Он смеется.

— И так же быстро все меняется. Вчера вы не смогли бы подойти к Чине-Читте. Уильям Уайлер снимает там новый вариант фильма «Бен-Гур». Было приглашено пять тысяч статистов. Для входа и для предъявления к оплате были отпечатаны специальные талоны. За ночь группа ловкачей отпечатала и распродала по дешевке тысяч пятьдесят фальшивых талонов. Началась драка, вызвали полицию, но в конце концов так никто и не смог отделить настоящие талоны от фальшивых. Эта история весьма характерна и для «латинского ловкачества», и для «англосаксонской наивности».

— Ну, а кино? Как его здоровье?

Сначала надо уточнить, какое кино? Так называемый коммерческий фильм чувствует себя прекрасно. Но если вас интересует художественное, идейное кино, то его дела очень плохи. Нас взяли измором. Для того чтобы просуществовать, мы вынуждены заранее приспособляться к цензуре. А ведь и вам, и мне известно, что самокастрация в десять раз страшнее цензуры.

— И что же, такой фильм, как «Похитители велосипедов», был бы теперь запрещен?

Он поднимает руки, бурно протестуя.

— Никогда в жизни! О запрещении нет и речи. Но ни один трезвый продюсер не заинтересовался бы им. «Похитители велосипедов» и другие фильмы того же плана соответствовали своей эпохе. Фильм, который мог бы соответствовать нашей эпохе, — это фильм о человеке, имеющем все, кроме духовной свободы, человеке, который на каждом шагу натывается на стену формализма, не всегда явного, но неизменно бдительного, на слепые силы консерватизма. Из этого мира непонимания у него только один выход — само-

* Киногород в окрестностях Рима. — *Прим. перев.*

убийство. Могу спорить, что нам не дадут снять такой фильм.

— Не слишком ли это пессимистично?

Он пожимает плечами:

— Мы пережили двадцать лет насильного и беззастенчивого правления лишь для того, чтобы перейти к другой форме бюрократии, такой же гнетущей, только более скрытой и лицемерной. Нас, можно сказать, осенило, и мы неплохо использовали повальную моду на то, что за границей стали называть нашим неореализмом. На самом же деле мы снимали на улице просто потому, что студии были разрушены; на улице же мы находили актеров, потому что у нас не было денег платить профессионалам; мы использовали для сюжетов случаи из действительности военного времени, потому что они превосходили все, что могло родиться в воображении самого плодovitого сценариста. Наша единственная заслуга — социальная направленность, которую мы давали нашим фильмам и которая принесла неожиданную удачу. Многие из нас в то время стремились говорить искренне. Преподобные отцы ослабили узду, потому что тогда это приносило им моральный доход. Но этим товаром так усиленно спекулировали, что в конце концов погубили его — эту благословенную курицу, которая несла золотые яйца. И теперь мы расплачиваемся за это.

Продюсер А., мнение которого на этот счет я хотел узнать, полностью разделяет этот взгляд, хотя он не знает и не хочет знать, какие же грехи неожиданно приходится искупать итальянской кинематографии. Росселлини стал вдруг не нужен!

— Причем, уверяю вас, у него не убавилось ни очарования, ни умения. Но он больше не хочет бороться. Нам всем это опротивело. Де Сика больше и слышать не хочет о постановках; как актер он зарабатывает сколько захочет. Долларовым ударом иностранцы лишили нас самых надежных ценностей: Лолобриджиды и Софи Лорен. Крупнейший продюсер ди Лаурентис предпочитает большие постановки в союзе с иностранцами вроде «Войны и мира». К Висконти, который и сам предпочитает театр,

относятся с недоверием. Что же остается? То, что вы видите на наших экранах, да, слава богу, и на ваших.

Безо всякого перехода он рассказывает мне, о чем говорят сейчас в студиях. Когда Муссолини решил создать европейский Голливуд, для сооружения этого современного Вавилона были отчуждены все земельные участки вокруг Чине-Читты. Владельцам участков объяснили, что это делается во имя Искусства с большой буквы. Искусства, достойного величия Родины, и так далее и тому подобное.

Так вот, с некоторых пор американцы уже не пренебрегают возможностью сэкономить миллиончик-другой долларов и переносят съемки своих киномонстров в Рим. Так было с «Камо грядеши», «Бен-Гуром» и другими фильмами. И вот размеры киногорода оказались недостаточными. Администрация Чине-Читты теперь подумывает перенести съемки в другое место, поближе к Остии, и расширить производственную территорию. При этом она пользуется именем Искусства с большой буквы и так далее и тому подобное. Тут продают, там покупают — обычное дело.

Но, увы, прежние владельцы участков совсем иного мнения! Со времени отчуждения участков лира сильно обесценилась, а стоимость участков неизмеримо выросла.

Впереди хорошенький судебный процесс.

А что думают об этом кинорежиссеры? Это мне любезно объяснил С.

В Италии 14 тысяч кинотеатров — почти столько же, сколько в США (там их осталось 16 тысяч после того, как развитие телевидения привело к закрытию 50 процентов всех кинотеатров). Это слишком много. Фильмы держатся на экране очень недолго, два-три дня. Иногда их демонстрируют всего на одном сеансе.

Италия производит три типа фильмов:

1. Малобюджетные: от 50 до 70 миллионов лир. Эти фильмы предназначены исключительно для маленьких городов и деревень.

2. Среднебюджетные: от 100 до 120 миллионов лир (в будущее которых С. твердо верит).

3. Гиганты, мучительные роды которых не могут состояться без помощи заграничных повивальных бабок.

Популярность кино не становится меньшей. Итальянец слишком любит развлечения. Телевидение? Оно никогда не отвлекало зрителей от кино. В дни телепередач-боевиков у владельцев кинотеатров есть два выхода:

а) крутить фильмы заведомо обреченные;

б) установить телевизор, прервать демонстрацию фильма и показывать программу телевидения.

Вывод? Дела не так уж плохи!

— И знаете ли, что я вам скажу, caro signore? Италия — здоровый организм.

По этому последнему пункту редактор одной экономической газеты С. придерживается совсем другого мнения. Он любит точность и приводит цифры.

По переписи 1956 года, население Италии состояло из 23 258 805 лиц мужского пола и 24 256 732 лиц женского пола. Излишек в один миллион женщин! Год спустя, в конце 1957 года, итальянцев было уже 48 594 000! Миллиончик за двенадцать месяцев!

Из этого количества пять с половиной миллионов неграмотных и семь с половиной миллионов полуграмотных. Другими словами, 30 процентов населения не владеет минимальными навыками чтения и письма.

В этом причина наших главных трудностей. У людей нет базы, которая позволила бы им стать чем-нибудь большим, чем чернорабочими. В Италии нет квалифицированной рабочей силы, нет рабочих и служащих — специалистов. Этим и объясняется огромная разница в зарплате. Быт чернорабочего, который умеет все и ничего (таких в Италии сколько угодно), резко отличается от быта квалифицированного рабочего — такие очень редки; в первом случае — голодное существование, во втором — скромное довольство. Машинистке платят мало: от 20 до 30 тысяч лир в месяц. Но секретарша получает 70—80 тысяч лир. Тем, кто владеет иностранным языком — гидам, переводчикам — цены нет.

Именно в этой постоянной нехватке квалифицированных кадров редактор видит причину стремления

к механизации, которая уменьшит потребность промышленности в кадрах.

— Пытается ли правительство исправить такую ненормальность?

— Задача огромная. Много было сделано, еще больше остается сделать.

— Эту фразу мне уже приходилось слышать во времена фашизма.

Экономист улыбается с легким оттенком грусти.

— Тогда мы отставали на целое столетие; допустим, что теперь мы сократили отставание наполовину. По крайней мере на Севере. Впрочем, Турину и Милану уже не в чем завидовать остальной Европе. Но остальные три четверти страны! Рубеж между Севером и Югом совершенно реален. Разница в условиях жизни ужасающа. Я сказал столетие? Я был далек от истины. Итальянский сапог еще по щиколотку увяз в феодализме. Государство делает гигантскую работу, население приносит огромные жертвы для того, чтобы финансировать Cassa per il Mezzogiorno, которая создает один за другим новые органы для преобразования структуры общества на Юге, для просвещения его несчастного населения и для повышения уровня его жизни. Это не так уж мало. Надо считаться с местными трудностями. Сицилии и Сардинии была предоставлена автономия. Результаты уже сказываются, но работы еще много. И мы пока колеблемся. Какой путь выбрать? Индустриализация?

— На базе сицилийской серы и сардинского угля?

— Не верьте этому! Это сказка. Горнякам действительно платят мало. Но качество сардинского угля делает его разработку бесполезной, а себестоимость сицилийской серы вдвое выше мировых цен, диктуемых американцами. Эксплуатация серных рудников убыточна. Была сделана попытка их закрыть. Горняков уволили, выдав им значительную компенсацию. Эту компенсацию им посоветовали использовать для переезда в другие районы, где они смогли бы найти работу. Ни один не двинулся с места. Они проели деньги, а затем явились на прежнюю работу и стали ждать с непреодолимым терпением, свойственным отсталой массе. Они не смогли представить себе,

что можно жить где-то на новом месте, не смогли покинуть свои разваливающиеся хижины. Пришлось возобновить работу на рудниках, и опять добыча серы убыточна.

— Эту привязанность к обреченным селениям я видел в Италии повсюду. Чем вы это объясняете?

Он пожимает плечами.

— Мах! Конечно, главным образом сентиментальностью. Темнотой. Слепотой. Людям кажется, что они срослись с камнями поселков, из которых уходит или уже ушла жизнь. В общем, можно сказать, что этот труженик, неутомимый, надежный, трезвый до крайности, упрямый, выносливый, безропотный и благочестивый до идиотизма,— начисто лишен воображения. И тем не менее пересадите его на другую почву, и вы не удивитесь его необыкновенной изобретательности. Да вот вам пример.

Когда парламент утвердил закон, долженствовавший обеспечить приличные жилища обитателям трущоб в больших городах, те вначале отказались покинуть кварталы, к которым они привыкли. Потом их осенило. Началась спекуляция недвижимостью. Это может показаться невероятным, но, переезжая на новую квартиру, хозяева продавали свое старое жилище — сарай из гнилых досок — за 100 тысяч лир и даже больше. Новый жилец приобретал таким образом право на переселение. Дело зашло так далеко, что одно предприятие организовало серийное производство сараев, которые по ночам начали вырастать в трущобах как грибы. Люди, въезжавшие в новые квартиры, предоставленные им правительством, пустились в свою очередь в другие махинации: продавали радиаторы, оборудование ванн или разводили огороды в ваннах. Были и другие осложнения: сразу после войны находились такие, что незаконно вселялись во временно пустовавшие частные дома. Все это может дать вам какое-то представление о проблемах, которые приходится решать правительству в такой стране, как наша.

— Правда ли, что ежедневно опротестовываются векселя на один-два миллиарда?

— Вы ребенок, позвольте вам заметить. Гораздо забавнее рассуждать следующим образом. Дано:

во-первых, ежедневно опротестовывается на полтора миллиарда векселей, во-вторых, по данным статистики, риск неуплаты при торговле в рассрочку колеблется в пределах от 5 до 10 процентов — возьмем в среднем 7,5 процента. Считите, на какую сумму продается у нас ежедневно товаров в рассрочку?

Наморщив лоб, я считаю в уме:

— Около 20 миллиардов?

С. поправляет меня, улыбаясь уже по-настоящему.

— Больше! Ибо, во-первых, бóльшая часть сделок совершается между частными лицами, вне поля зрения статистиков. Во-вторых, во многих случаях не возникает надобности в финансировании этих операций официальными кредитными учреждениями либо потому, что стоимость покупки сравнительно невелика (ткани, перчатки, чулки, игрушки, книги), либо потому, что клиент щепетилен в вопросах чести. Это бывает на Юге — опять этот Юг, мсье,— где покупатель сочтет себя кровно оскорбленным, если от него потребуют подписать вексель. Есть еще и другие формы кредита, полностью ускользающие от собирателей цифр. Только продажа и перепродажа автомобилей поддаются учету благодаря обязательной регистрации таких сделок. Что же касается всего остального, то всегда есть определенная доля преднамеренных невыплат, которые я называю профессиональными. Торговцы о них не заявляют и в суд не подают. В тех случаях, когда товар, купленный в рассрочку, не оплачивается в срок, продавец имеет право забрать его обратно, не возвращая полученных взносов. Но где найти того, кто купил в рассрочку пишущую машинку и затем переехал, не оставив адреса?

Мы переходим к вопросу о трех миллионах безработных. Мой собеседник согласен со своим миланским коллегой. Эта цифра преувеличена: с одной стороны, она включает в себя добровольцев, то есть людей, умышленно не работающих ввиду того, что разница между пособием по безработице и зарплатой чернорабочего невелика; с другой стороны, ее сильно раздувает неисчислимая армия тех, кто живет законными и не вполне законными махинациями, гораздо

более доходными, чем низкооплачиваемая работа. Новые дома? Это опять-таки спекуляция с целью избежать замораживания квартирной платы на довоенном уровне. Тогда итальянец тратил от 20 до 25 процентов своего дохода на оплату жилища. В наши дни он не соглашается с этим, так как хочет иметь возможность купить холодильник, стиральную машину, автомобиль... И вот... В Риме сдается семь тысяч квартир, да я не считаю еще квартир, которые продаются.

Редактор поднимается и провожает меня:

— Посмотрите Юг. И тогда мы снова поговорим. Пока вы не увидите Сицилию и Сардинию, вы не будете знать Италии.

Перед тем как последовать этому совету, мы проводим наш последний вечер в Риме с Луиджи. Мы помним его восемнадцатилетним маленьким эгоистом и таким лодырем, каких свет не видывал. Он заставлял свою сестру прислуживать себе за столом. Она ела, стоя сзади него и держа тарелку в руке.

Теперь он мужчина. Физически он не изменился. Но прошедшие пятнадцать лет и изучение медицины прорезали по обе стороны его чувственного рта горькие складки. В общем же Луиджи изменился больше, чем другие наши знакомые. Он очень красноречиво иллюстрирует эволюцию среднего итальянца.

Получив красивый диплом врача, он понял, что остался таким же невеждой, как и раньше. Единственная перспектива — *condotta* в деревне, потому что у его родителей не было денег, чтобы купить ему кабинет в городе. *Medico condotto* * получает жалованье от местного самоуправления; пациенты ему не платят, ему дают, по выражению Луиджи, «чаевые». Его месячный заработок составляет от 60 тысяч до 80 тысяч лир. И, чтобы получить такое место, нужно еще иметь протекцию! На то место, которое он имел в виду, претендовала добрая сотня кандидатов.

Ему и сейчас еще тошно при одном воспоминании об этом. Он кладет вилку.

— Похороны по последнему разряду!

* Участковый врач (итал.).

Короче говоря, он остался в Риме и в течение пяти лет испытывал судьбу. Тщетно. Тогда, чем просто бить баклуши, он решил специализироваться. Еще четыре года учения.

Погрустневший, разочарованный, поумневший Луиджи, ленивый, вялый Луиджи в один прекрасный день понял, что он любит свою специальность.

— И когда мой патрон сказал мне, что медицина — это служение святому делу, я ему поверил. Я поверил ему, я верил до того дня, когда привел к нему больного бедняка, с которого тот преспокойно содрал 30 тысяч лир за консультацию.

Услышав цифру, названную Луиджи, мы не можем сдержать восклицания. Он делает гримасу:

— Самый скромный специалист просит с вас 5 тысяч лир. Нередки случаи, когда требуют 10, 20, 30 тысяч лир. И в два раза больше, если имеешь несчастье побеспокоить какого-нибудь туза. Вся система врачебной помощи основывается на *Mutua* *, членство в которой обязательно. Члены *Mutua* выбирают врачей для своего участка и оплачивают их, в зависимости от того, сколько денег у них в кассе. Больные рассчитываются за все, платя членские взносы. Если по какой-либо причине «свой» врач не устраивает больного, он может обратиться к любому другому врачу, только в этом случае платит по тарифу. Все это так. Но есть ряд сложностей. Каждое из этих обществ взаимопомощи имеет свой перечень принятых лекарств. Патентованные средства очень дороги. Обыкновенно их не включают в перечни. В таких случаях врач, входя в положение больного, выписывает фиктивный рецепт: общая стоимость включаемых в него лекарств равняется стоимости нужного патентованного средства. Аптекарь при этом ничего не теряет. Но *Mutua* не дремлет. С некоторых пор она стала требовать дубликаты рецептов.

Луиджи брезгливо морщится.

— Конкуренция зверская. Мои товарищи решили организовать. Они положили для начала брать за консультацию 2500 или 3 тысячи лир. Но всякий раз

* Больничные кассы взаимопомощи, часто корпоративные, заменяющие в Италии государственное социальное страхование.

какой-нибудь собрат по профессии, который уже имел обеспеченную клиентуру и брал по 5 тысяч лир, сбивал цену, доходя до смехотворного тарифа. Это продолжалось до тех пор, пока он не добивал конкурента. В подобных случаях самолюбия не существует... Впрочем, для меня такой вопрос не возникает. После девяти лет обучения и пяти лет прозябания у меня просто нет денег, чтобы где-то обосноваться!

Желая отвлечь его от этих мыслей, мы говорим об Италии. Он признает, не без грусти, что послевоенные успехи весьма значительны. Но, по его мнению, образ мыслей изменился мало: Кругозор среднего итальянца очень узок — и это самое ужасное.

— Ну и что остается делать... Эмигрировать! Нас слишком много, и, что гораздо хуже... мы не любим друг друга. Итальянцы друг друга ненавидят! Если с самого начала у тебя нет денег, ты никогда ничего не достигнешь.

— Женитесь на богатой.

Он криво улыбается:

— Я думал об этом. Но как можно жениться, как можно довериться женщине и сделать ее матерью твоих детей? Ведь когда узнаешь их девушками, они готовы броситься вам на шею безо всяких условий. С тех пор как я в Риме, я никогда не испытывал недостатка в женском обществе. Никогда мне не приходилось утруждать себя ухаживанием или заигрыванием. Первый шаг они берут на себя; я ограничиваюсь тем, что выбираю.

— Это из-за вашего личного обаяния, Луиджи, — вставляет Лилла.

Он отрицательно качает головой.

— Не в этом дело. Женщин больше, чем мужчин. Они действуют по принципу липкой бумаги для мух. Из множества мужчин один да прилипнет. Это более интересное времяпрепровождение, чем подпирать стены на вечеринках.

— В общем, у вас всегда есть любовница.

Он делает резкое движение:

— *Momento* *. Я вовсе не говорил о любовницах. Вы можете добиться от этих девушек всего, абсолютно

* Минуточку! (итал.)

всего, но только не того, чтобы они пожертвовали вам свою девственность без благословения церкви.

Эпоха полудев? * Редактор был прав. Отставание на пятьдесят лет.

Государство в государстве



Пять merite **.

Я останавливаюсь в изумлении, наполовину вынув из кармана мои лиры, и недоуменно повторяю:

— Пять merite?

Должно быть, я единственный в мире человек, которому всерьез предлагают заплатить за фруктовый сок неведомой валютой. Маленький тринадцатилетний бармен безмятежно перетирает стаканы.

— Пять merite.

Мой спутник платит. Пока монеты переходят из рук в руки, мне удается рассмотреть их. Никакой ошибки: это действительно merite.

Выйдя, я спрашиваю своего чичероне:

— Ведь это ненастоящие деньги? Дети играют ими?

Мой собеседник мал ростом, коренаст. У него добрые, смеющиеся глаза и строгий рот. Остановившись в тени пинии, он говорит, грустно покачивая головой:

— Иногда я задаю себе вопрос, не играют ли «там» взрослые...

Движением подбородка он указывает на дорогу, нависшую над нами, и на всё, что за ней: на Италию, Европу, планету.

— Нет, — продолжает он, — здесь суверенное государство. Да, пожалуй, действительно суверенное... Скажем, до известного предела.

* Автор имеет в виду роман французского писателя Марселя Прево «Полудевы», в котором изображены нравы начала столетия. — Прим. перев.

** Буквально заслуга (итал.).

Пройдя несколько шагов, он останавливается перед маленьким зданием; буквы на его фронте извещают: «Банса»*.

— У нас валюта внутреннего пользования — *merito*, как вы видели. Он не котируется на миланской бирже, зато у нас лира имеет постоянный курс: пять лир за один *merito*.

Я терпеливо слушаю его, ожидая объяснений. Сам я в этом деле осведомлен слабо. В пути, на дороге, идущей вдоль берега моря, которую итальянцы называют Виа Аурелия, примерно в семидесяти километрах от Рима и как раз перед въездом в Чивитавеккию (откуда мы должны отплыть в Сардинию), я увидел мост с надписью: «*Republica dei Ragazzi*» (Детская республика). Совершенно машинально я остановил машину. Навстречу мне вышел господин и назвал себя: доктор Альфонсо Раффаэли, директор. Он спросил, не хотим ли мы осмотреть республику, я ответил, что сделать это мы почтем за счастье.

— Все это началось... — говорит он.

Гордый своей эрудицией, я перебиваю его:

— С фильма «*Boy's Town*»** со Спенсером Трэйси и Мики Руни, появившегося году в 1937-м...

Наш чичероне улыбается.

— Если вам угодно. Но правильнее отнести это к началу эксперимента отца Фланагана, который тоже пытался...

Жест и незаконченная фраза дают понять, что знаменитый «*Boy's Town*» — не из фильма, а настоящий — в конечном счете потерпел неудачу. Тихим голосом, как бы сожалея, он комментирует:

— Знаете, когда начинают обезьянничать со взрослых...

Мимо нас проходит группа мальчиков в купальных костюмах, направляясь на пляж. Вид у них здоровый, по крайней мере в физическом отношении; в моральном я пока не могу судить. Директор делится воспоминаниями:

— В ту пору я видел этот фильм в Аргентине. Я руководил там скаутским движением. И уж если

* Банк (итал.).

** «Город мальчиков» (англ.).

вы любитель сослаться на кино, то я вам напомним «Sciuscia»* (произносится «шуша», испорченное английское «shoe-shine» — чистка ботинок)...

— Я знал Италию конца войны.

— В таком случае вы, вероятно, обратили внимание, что при освобождении перед властями стояла очень острая проблема: что делать с массой детей, предоставленных самим себе и по большей части материально независимых?

Подумать, что с тех пор прошло почти пятнадцать лет! В Риме, как и во всяком другом городе, к моменту прихода союзников эти дети были хозяевами улицы. Бытовые трудности того времени, распушенность нравов, умиление, вызываемое в душе солдат (сначала немецких, потом союзных) возрастом и живописным видом ребят,— все это привело к тому, что детям была предоставлена преждевременная свобода. Зато на их плечи лег груз забот о семье. На Юге мальчишки собирались в шайки, деятельность которых была самой разнообразной — от вооруженных нападений до более или менее законных коммерческих операций, включая и те, в которых объектом купли, продажи и обмана были чернокожие военнослужащие «made in USA». Тот, кому удавалось их спойть, продавал их в розницу «в расфасованном виде» — «брутто», то есть в обмундировании, или «нетто», то есть одетыми только в исподнее (Италия стыдлива). Белье реализовалось особо. Я помню, как в 1944 году порт в Неаполе оградили решеткой; армейским шоферам было приказано, выехав за решетку, мчаться по городу, не останавливаясь ни на минуту. Едва шофер замедлял ход, туча мальчишек, словно саранча, набрасывалась на грузовик и очищала его меньше чем за минуту. Возле Р.Х.** дети моложе десяти лет поджидали военных, которые выходили, нагруженные своими «рационами». Сигареты, шоколад, конфеты, нитки, иголки, бензин и кремни для зажигалок... все эти дефицитные товары дети выпрашивали, покупали или

* «Шуша» — фильм итальянского режиссера Витторио де Сика.—
Прим. перев.

** Р. Х. — буфет и лавка в армии США.

крали, чтобы продать потом по баснословным ценам, проделывая по нескольку раз то, что на коммерческом языке называется злостным банкротством.

Дона Антонио Ривольта, священника, уроженца Милана, тревожило такое положение детей. С великим трудом ему удалось уговорить нескольких sciuscia — да и их родителей! — чтобы дети начали вести более здоровую жизнь под его руководством. Получив помощь от некоторых американских благотворительных организаций, он арендовал участок в окрестностях Чивитавеккии, где и была основана *Republica dei Ragazzi*.

Она существует и поныне, модернизированная, разросшаяся, — убежище для покинутых детей совершенно нового типа; единственное учреждение такого рода, с гордостью подчеркивает доктор Раффаэли, выжившее в том виде, в каком оно было основано.

На первых порах обнаружили трудности двоякого рода. Бесспорно, что детей привлекала в республику именно независимость от взрослых. Но при этом, во-первых, они утверждали, что образование им ни к чему — совсем недавно они это доказали! — во-вторых, познав независимость, они никак не желали быть на чьем-либо иждивении. Они хотели сами зарабатывать себе на жизнь и не быть обязанными никому.

Поэтому было решено, что юные граждане будут посещать школу лишь по желанию. Иногда они из любопытства приходили в школу, потом переставали ходить, потом снова начинали посещать уроки. Организаторы действовали в расчете на естественное человеческое любопытство. И действительно, когда какой-либо урок производил на них впечатление, они начинали расспрашивать швейцара, садовника, кухарку, кого угодно, но только не преподавателя этого предмета. Служащие, получив соответствующие указания, охотно приняли участие в опыте и с готовностью отвечали. Потом мало-помалу они начали отвечать, что «не знают», и отсылали за ответом к учителю. Так возникло ядро, которое постепенно превратилось в активное большинство. Приняв однажды принцип обязательности посещения классов,

это большинство уже не пожелало более мириться с его нарушителями. Недисциплинированным пришлось подчиниться. Школьное расписание было принято голосованием и стало выполняться, чем подтверждается справедливость той истины, что мы всегда готовы согласиться на ограничение нашей свободы, если полезность этого ограничения доказана.

Оставалось разрешить проблему материальной независимости детей. Некоторые из sciuscia явились с деньгами, о конфискации которых не могло быть и речи. Другие, неимущие, требовали свободы действий для того, чтобы как-нибудь заработать деньги. Пришлось создать знаменитую Banca, в которую вкладывались эти суммы.

Далее, поскольку всякая работа должна быть вознаграждена, было решено оплачивать часы работы старших мальчиков, товарную продукцию учеников ремесленников и даже часы присутствия в школе самых маленьких. Чтобы развить у формирующихся граждан сознание общественной ответственности, общую спальню переименовали в albergo, то есть в гостиницу, и каждому занимавшему кровать предьявлялся счет. Столовая стала рестораном, а обеды в ней стали платными. Создание денежной единицы (merite чеканится в римском Zessa* вместе с лирой, подчеркивает с воодушевлением директор) еще более усилило ощущение свободы и независимости.

Государство делится на четыре «провинции». Тогге (башня) — город новичков, которые впоследствии переходят в Mare (море), расположенное на пляже, — секцию начальной школы. Следующий этап — промышленный городок профессионального обучения, превосходно оборудованный для подготовки ремесленников и рабочих. Наконец дети становятся grandi (большими) и, в сущности, вполне готовы освободиться и принять участие в жизни внешнего мира. Основатель, дон Ривольта, покинул пост руководителя республики, чтобы заняться в Риме трудоустройством подготовленных таким путем граждан.

* Монетный двор.—Прим. перев.

В каждом из городков или кварталов есть здания, «построенные нашими собственными руками»: школа, банк, ресторан, гостиница, спортзалы и — высший символ свободы — здание для общих собраний.

Здесь ежемесячно происходят общие собрания. Мэр и его советники, судья, заведующие финансами, гигиеной и вопросами труда избираются голосованием. Кандидатуры на все посты обсуждаются придирчиво и строго, даже если на этом посту требуется только умение махать метлой. На все виды работ есть расценки, согласно которым начисляется зарплата. Взрослые — учителя, вожатые и воспитатели — все имеют право голоса, но лишь совещательного. Решения принимают только дети. Конечно, они иногда допускают ошибки, но зато привыкают терпеливо сносить последствия своих ошибок и, что гораздо полезнее, учатся их исправлять.

Никто никогда не был изгнан из этой республики, насчитывающей сто пятьдесят пять граждан. Вполне нашлось бы место еще для сорока пяти детей, но республика испытывает денежные затруднения. Только треть расходов покрывается за счет благотворительности. Другие поступления приходят из разных источников. Организации, при посредстве которых пополняются кадры граждан республики, вносят в день от 200 до 300 лир из 800, в которые обходится содержание каждого гражданина. Министерство труда берет на себя часть расходов по профессиональному обучению. Доходы с 40 гектаров полей, которые республика сдает в аренду, не имея возможности обрабатывать их из-за недостатка сельскохозяйственных машин, помогают свести концы с концами. Мастерские обеспечивают республику мебелью, а иногда выполняют и заказы со стороны. Проезжие туристы порой покупают керамические изделия или безделушки. И это почти все.

Тем не менее республика справляется с затруднениями. Директор указывает мне — издали, так как не следует создавать у воспитанников впечатления, будто они исключительные существа, — на рослого парня лет восемнадцати, который собирается покинуть республику на следующий день. Дон Ривольта нашел ему работу. Перед отъездом банк выдаст ему

его сбережения: 60 тысяч лир. Конечно, это не сокровища Перу, но у него будет работа, и он сможет спокойно смотреть в будущее. Ежегодно около двадцати молодых людей с достаточными средствами в кармане покидают этот уголок итальянской земли, где они научились свободе и одновременно законам существования.

Мне хочется задать один более или менее коварный вопрос:

— В какой мере сказывается здесь на воспитании детей, на их подготовке к общественной жизни влияние церкви — столь сильное в Италии?

Ответ довольно уклончив. Самый независимый ребенок «в конце концов пойдет за толпой». Другими словами, общество здесь осуждает заблудшую овцу так же резко, как и во всей стране.

— А вопросы пола?

Он разводит руками. В Италии трудно сдерживать пробуждение чувств.

— Нам очень помогает спорт. В общем, ребята ведут себя достаточно здраво.

Несомненно, что успокоительное влияние спорта подвергается особенно жестокому испытанию во время воскресных отпусков. В девяти случаях из десяти у детей нет семьи. Поэтому они обыкновенно отправляются в город, и банк выдает им из их накоплений карманные деньги в сумме до 100 *merite*, то есть 500 лир.

— Есть и такие, которые уже помолвлены.

Могу поклясться, что во взоре директора даже появилась гордость. Успеху у противоположного пола в Италии всегда придается немаловажное значение.

— Не чувствуют ли они недостатка в материнской любви?

Доктор Раффаэли явно притворяется, что обдумывает этот вопрос. На самом деле его мнение по этому вопросу давно сложилось.

— Видите ли, ребенок меньше ощущает отсутствие материнской любви, если все его товарищи находятся в таком же положении. Он чувствует себя лишенным семьи, только когда видит более счастливых товарищей. Кроме того, мы очень рано даем понять

мальчикам, что у них нет семьи и что единственный путь для них — стать способными самостоятельно создать собственный семейный очаг.

Уезжая, я смотрю в зеркальце машины на надписи «Republica dei Ragazzi». Чтобы осуществить такие планы, прежде всего надо было быть удачливым.

Кроме того, надо было с самого начала ни в чем не сомневаться, верить в осуществимость того, что задумано, — все это свойственно итальянцам. Выдержка, упорство, цепкость — этого им не хватает гораздо чаще.

Сардиния



Турист бывает счастлив, только когда он не видит вокруг себя других туристов. Тогда ему кажется, что на его пыльных сандалиях выросли шпоры конкистадоров; он становится вдруг Колумбом, ступившим на землю Америки, Кортесом, вызывающим на бой Монтесуму, Писарро, остановавшимся, чтобы воскликнуть: «Здесь будет Лима!» Исполняется его мечта, он поднимается на много ступеней в иерархии странников. Он становится первооткрывателем, более того: исследователем.

Именно это ждет его в Сардинии. Как ни странно, этот остров, лежащий под боком у Корсики, очень редко видит туристов. Правда, иногда проедет переполненный автобус. Его едва успеваешь заметить. Он останавливается только вблизи нурагов, обозначенных в путеводителях, и лишь на время, которое необходимо, чтобы выслушать сообщение гида о том, что о цивилизации нурагов ничего не известно. И вот туристы снова мчатся на своем послепотопном мастодонте со скоростью 90 километров в час (выверено по хронометру), пересекая остров из конца в конец. Через двадцать четыре часа (в случае маршрута-люкс — через сорок восемь часов) они снова на борту парохода.

Какое нашествие произойдет, когда однажды какой-нибудь ловкач, «рожденный в пятницу», сделает модным этот нетронутый край.

Сардиния!

Ее пляжи с самым тонким на свете песком.

Ее дикие ландшафты.

Ее охота на кабанов.

Ее бандиты чести.

Ее неразгаданная цивилизация.

Ее живописные деревни.

Ее пестрые национальные одежды.

Ее образцовые рыбные промыслы.

Я не берусь хотя бы перечислить все «et caetera».

Сардиния — прелесть! Может быть, именно потому, что она оказалась в стороне от миграционных потоков, нашествий и отдыхающих с оплаченными отпусками. Однако она не раз была предметом борьбы. С давних пор Карфаген и Рим, варвары, норманны, генуэзцы, пизанцы, венецианцы, турки, греки, испанцы и бог знает кто еще пытались овладеть островом. Кто бы ни был захватчиком, сарды неизменно оставались сардами. И теперь, за исключением второго языка (итальянского) и спагетти, у них мало общего с христианско-демократической республикой. Впрочем, простите, я забыл о телевидении.

Люди здесь медлительны, степенны, обычаи архаичны, деревни похожи на арабские.

Нам говорили: если вы будете в Сардинии, не пропустите охоту на кабана. Двойная неудача: мы не охотники, а среди кабанов в этом году эпизоотия. Нам говорили: в Сардинии невозможно обойтись без опеки кого-либо из местных — сарды народ замкнутый. Я не встречал народа, отличающегося столь же непосредственным гостеприимством. Нам говорили: будете в Кальяри, обязательно искупайтесь в море — там песок тоньше и белее муки. Но волны там достигали двух метров, дул шквальный ветер, а курортные заведения оказались такими же, как в Сан-Ремо, Сан-Себастьяне, Довиле или каком-нибудь Схевенингене*.

* Фешенебельные итальянский, испанский, французский и нидерландский морские курорты.— *Прим. перев.*

Особенно предупреждали нас: избегайте Оргозо, обогренного кровью селения в мрачной провинции Нуоро. Именно поэтому нами овладело непреодолимое желание начать «малую кругосветку» именно оттуда. Мясник в Макомере, любезно угостивший нас аперитивом и sospirì («вздохи» — такое миндальное пирожное), восклицает:

— Оргозо? Прежде, когда я был холост, я, пожалуй, решил бы на это. Но теперь, когда у меня семья, я не имею права идти на такой риск. Вы же безумцы!

Надо полагать, что мы и впрямь были ими.

Чтобы отговорить меня от моего намерения, maresciallo карабинеров, которому я открылся, подарил мне великолепный сталактит весом более двадцати килограммов.

Едва мы тронулись в путь, как Лилла говорит мне вполголоса:

— Нас преследуют.

Действительно, позади нас видно облако пыли.

— Так! Бандиты. Посмотрим же, что это такое.

Выполняю простейшую уловку, которой научился, сочиняя детективные романы: после первого же поворота останавливаюсь и укрываюсь за скалой. Это не бандиты, а молодцы карабинеры, сгрудившиеся в красном полицейском джипе с карабинами и автоматами в руках. Maresciallo краснеет: я так настаивал, не правда ли, что он обеспокоился и решил сопровождать нас на расстоянии. Ведь в округе добрых четыре десятка объявленных вне закона. Эти парни могут, не задумываясь, прирезать вас из-за нескольких лир.

— Слушайте, — говорит он, внезапно решившись, — вам не стоит задерживаться в этих местах. Если вы уж непременно хотите увидеть последнего бандита чести, поезжайте в Оргозо!

Оказывается, мне нужно лишь обратиться от его имени к некоему Сальваторе Карта, который заведует... муниципальной конторой по найму. Простое совместительство.

Мы снова пускаемся в путь: красный джип приветствует нас на американский манер сиреной. Пейзаж постепенно приобретает такую суровость, что

мы перестаем жалеть о несостоявшейся встрече с налетчиками.

В Нуоро один тип угощает нас стаканом олиены — 18 градусов! — и поскольку он *personalissimamente* * знаком с упомянутым Сальваторе Карта, то безоговорочно заявляет, что не позволит нам одним, беззащитным, ввязаться в такое приключение. Ради престижа своего острова он готов бросить все свои дела и сопровождать нас, рискуя жизнью. Уж если говорить всю правду, ему и самому нужно съездить в Оргозоло, и его способ попроситься в попутную машину не хуже любого другого. В пути он развертывает перед нашими глазами свиток насильственных смертей, отмеченных за последнее время в округе. Набралось немногим больше тридцати трупов. *Overi cristiani!* К счастью, Боэлле удалось остановить эту бойню... Кто такой Боэлле?

— Боэлле? Да это последний бандит чести.

С некоторых пор мы в достаточной мере привыкли к тому, что Италия — непрерывный солнечный парадокс, и не выражаем удивления, услышав, что здесь резню прекращают бандиты. Роковая деревня выглядит так же, как любая другая, разве только чуточку побогаче. Едва мы успеваем выйти из машины, как к нам бросается какой-то человек, изо всех сил жмет нам руки и взволнованно лепечет:

— Французы! Мадонна! Французы!

От этого поклонника Франции нас без церемоний отрывает подошедший Сальваторе Карта. Он похож на улыбающегося во весь рот Рафа Валлоне** с намечающимся брюшком. Начинает он с утверждения, что мы, разумеется, будем есть *parier-musique**** и кабаньих окорок у него. Затем, ни минуты не сомневаясь в цели нашего посещения, он ведет нас в столлярную мастерскую. Маленький худощавый человек с лукавыми глазами и седеющей шевелюрой выходит нам навстречу и в знак того, что он будет говорить первым, поднимает руку, на которой недостает одного пальца.

* Самым личным образом (*итал.*).

** Известный итальянский киноактер.— *Прим. перев.*

*** Нотная бумага (*франц.*).

— Кого вы хотите видеть? Краснодаревца? Жениха? Или последнего бандита чести?

Дав нам понять, что пред нами, быть может, единственный в мире человек, которому довелось качать свою будущую жену в колыбели, он безапелляционно заявляет, что мы будем есть *parier-musique* и кабаньей окорок, разумеется, у него. Между ним и Сальваторе Карта — Рафом Валлоне происходит жестокая перепалка на местном наречии, так как последний уже пригласил нас. Мы уже приготовились увидеть, как кинжалы и обрезы решают спор, как вдруг темпераментные сарды, смеясь, падают друг другу в объятия, сопровождая это сильными шлепками по спине: они совсем как братья, вот так вот — при этом скрещиваются указательный и средний пальцы. Прежде всего необходимо зайти в винный погреб. Там прямо из открытой бочки зачерпывается легкое вино, которое добирается до ваших мозгов, прежде чем вы успеете выпить стакан. Лилла — алкоголик нашей семьи — спасает мне жизнь (ибо отказаться выпить — значит, тяжело оскорбить), чокаясь за здоровье моей расстроенной печени. Экс-бандита зовут Рафаэле Флорис.

— Но зовите меня Боэлле, как все мои друзья.

Некоторое время он заставляет себя упрашивать, затем рассказывает, как он, один из самых послушных закону людей на свете, стал бандитом, именно из-за своей покорности правосудию.

— Вникать в подробности бесполезно. С самого начала дело было так запутано, что никто не мог в нем разобраться. Даже те, кто должен был отплатить за кровь.

Путаница, которая стоила ему более двадцати лет тюрьмы.

— Тогда как он был невиновен, — говорит присоединившийся к нам школьный учитель, схватив стакан и наливая себе вина.

Боэлле качает головой, давая понять, что у него — неважно где — хорошо припрятан дневник, «проливающий на все происшедшее свет с такой же ясностью, с какой солнце освещает Сардинию», дневник, который, когда Боэлле сочтет нужным, откроет святую истину.

— Однако,— вступает, смеясь, Сальваторе,— ты сам виноват в том, что карабинерам пришлось гоняться за тобой. Это самый резвый человек на сто километров вокруг,— сообщает он нам.— Взбираясь на вершину горы, он опережает двадцатилетнего парня с такой же легкостью, с какой коза уходит от охотника.

— И он всегда посылает пулю в цель за тысячу метров,— уточняет убежденно учитель.

— Цепь моих несчастий,— рассказывает Боэлле в стиле Шехерезады,— началась со смерти одного карабинера. Он был убит пулей, посланной с большого расстояния.

— А так как Боэлле был едва ли не единственным способным на такое, арестовали, конечно, его.

Учитель допивает стакан, щелкает языком и подтверждает:

— Конечно.

Главное действующее лицо снова берет слово:

— Я знал имя виновного, но я не мог говорить.

В этих краях *omertà* — закон молчания — нерушим. Здесь не доносят. Только выстрелом можно собственноручно рассчитаться за урон, понесенный из-за молчания. Поэтому Боэлле не раскрыл рта и был приговорен к двадцати пяти годам каторги. Двенадцать лет спустя родственники жертвы, узнав имя настоящего убийцы, честно сообщили его властям. Взор рассказчика лукав, и речь его размеренна, словно он описывает забавный пикник.

— Но только, понимаете, разразилась война, и нашлись дела более срочные, чем пересмотр моего процесса.

Что ж, пустышки. Пришлось ждать окончания военных действий, чтобы добиться — нет, не реабилитации, а лишь решения об отсутствии состава преступления.

— И вот через двадцать один год я вернулся на родину и стал работать столяром. Этому ремеслу я научился в тюрьме.

Теперь каждый вступает со своими комментариями. Учитель, которого профессия обязывает носить пиджак и галстук, расстегивает сжимающий горло воротник рубашки — чтобы его было лучше

слышно, а также чтобы улучшить кровообращение. У Сальваторе Карта ласковые глаза на грубом лице горца; он широко расставил ноги и бессознательно повышает голос, отражающийся от стен. Флорис держит в руке стакан, отставив мизинец, взгляд его искрится, как поверхность воды в лунном свете. Понемногу мы начинаем распутывать клубок этого невероятного романа с рядом поединков при свете солнца и со старинными предрассудками.

Убийцей был старший из Тандедду, семьи *grerontí*, людей сильных и высокомерных. В свое время он был неизвестно почему повелителем красавицы Антонии Тулла. В один прекрасный день он ее зарезал, тоже неизвестно почему. Наконец после многих преступлений, оставшихся безнаказанными, Тандедду должен был уйти в маки, уведя с собой брата, двоюродных братьев и нескольких друзей. С этой минуты уже ничто не сдерживало его беспощадность и жестокость. Вернувшись из тюрьмы, Боэлле отправился к нему и потребовал восстановления истины. Тандедду только рассмеялся. При первой же возможности, чтобы отомстить Флорису, имевшему наглость требовать у него отчета, он постарался, чтобы тому приписали новое преступление. Боэлле был идеальным козлом отпущения: ведь он сидел в тюрьме. Несчастный, веря в правосудие, подчинился. Увы, даже древние знали, что богиня правосудия носит на глазах повязку.

В этот раз ей потребовалось два года, чтобы заметить свою ошибку и вернуть Рафаэле к родному очагу; на всякий случай ему порекомендовали вести себя безупречно, так как за ним будут следить.

Рафаэле, радуясь вновь обретенной свободе, обрuchился. Между тем банда Тандедду терроризировала округу. Грабежи, убийства, похищения, вымогательства продолжались под носом у бессильных властей, натывавшихся всюду на стену *omertá* — молчания.

На основании анонимного доноса полиция решила забрать в третий раз исполненного почтения к законам столяра. Но теперь Боэлле сказал «нет». Смиренный агнец обозлился. Вооруженный метким глазом, ружьем и небольшим количеством патронов, он натянул

свои семимильные сапоги и ушел в леса. И все изменилось. С выходом на сцену этого неумолимого борца, первоклассного стрелка, грозного упрянца даже в песнях плакальщиц появились ноты надежды.

Боэлле был способен шагать восемь дней и восемь ночей кряду, не останавливаясь для того, чтобы попить, поесть и отдохнуть. Тандедду могли теперь спать только вполглаза, не спуская пальца с курка, в постоянном ожидании беспощадного мстителя. Каждый мог себе представить, какой поток крови полетит с гор в долины. Епископ предпринял путешествие, чтобы выступить посредником. Мститель-одиночка продиктовал свои условия: бандиты — а их было человек тридцать — должны сдаться властям, сознаться в своих преступлениях, покаяться и искупить свою вину; он же, Рафаэле Флорис, по прозвищу Боэлле, не станет требовать возмещения за свою поруганную честь. Среди Тандедду возникли разногласия. Они нервничали и спорили. Каждый день между членами банды вспыхивали ссоры. В одной из них лишился жизни молодой брат главаря. Другие стали сдаваться.

Дела шли на лад, и столяр уже предвкушал конец своих мытарств, когда одно происшествие чуть не испортило всего дела. Рафаэле только что напился из источника и прилег отдохнуть недалеко от него в тени дерева. В это время появились три ничего не подозревавших карабинера. Они были настороже, но все же весело переговаривались. Карабинеры умылись и попили, не видя беглеца, голова которого была оценена; он лежал в траве в десяти метрах от источника, готовый уложить их.

— Клянусь мадонной, — говорит Флорис, поднимая стакан для торжественной клятвы, — что я ничего так не желал, как пощадить эти три жизни. Но в то же время я не собирался расстаться ни со своей шкурой, ни со своей свободой. Казалось, все обойдется. Но вот перед самым уходом одному из них вздумалось помочиться.

Он медленно пошел к тому месту, где прятался Флорис. Выхода не было. Беглец, не колеблясь, спокойно навел ружье на карабинера.

— Ни с места, Виченте, или читай молитву.

— У меня трое детей,— пробормотал несчастный.

— Ты их увидишь, если у тебя хватит решимости понять, что твоя смерть нужна мне не больше, чем моя собственная. Положите оружие и уходите все трое. Потом вы вернетесь за ним. Я его не трону.

Карабинер раздумывал. У него было столько мыслей, столько морщин на лбу, комментирует Боэлле.

— А моя честь? — спросил наконец карабинер.

— Пусть я умру без исповеди, если скажу кому-нибудь хоть слово. Но вы тоже должны будете молчать.

Представители закона стояли как изваяния. Если бы одному из них села на нос обыкновенная муха, то при малейшей попытке согнать ее Флорис выстрелил бы, начав бойню. Все это понимали. С другой стороны, более почетно умереть с пулей в сердце, чем жить, бросив свою винтовку.

— Судьбе было угодно, чтобы все трое оказались женатыми. Любовь к семье и обещание молчать взяли верх. Они ушли, не оборачиваясь, и не заставили меня стать убийцей.

Однако этот случай напомнил ему, что каждая минута, прожитая среди опасностей, каждый шаг, пройденный в зарослях, ведут к тому, что его окончательно причислят к бандитам, к «отчаянным». Он же хотел жить, хотел снова увидеть свою невесту. И он принялся выслеживать Тандедду днем и ночью. Так продолжалось долгие недели. Убийца был всегда окружен охраной.

Лилла удивляется:

— Почему вы не стреляли в него издали?

Флорис улыбается, не отвечая; едва уловимый жест передает его затруднение: вы, иностранцы, не сможете понять. Карта вразумляет нас:

— Если бы он пролил кровь, все началось бы снова.

Наконец однажды ночью Боэлле застал Тандедду спящим и, приставив ему между глаз дуло своего ружья, грубо разбудил его.

— Пощади меня,— взмолился Тандедду.

— Я пощажу тебя,— обещал отшельник.— Но если ты в течение двадцати четырех часов не сдашься, я настигну тебя, где бы ты ни был; это так же верно, как то, что меня зовут Боэлле.

Сказав это, он удалился и спокойно вернулся домой в Оргозоло. Он знал, что Тандедду подчинится. А жители деревни, увидев, что он вернулся, вздохнули с облегчением — раз Боэлле снова здесь, значит, война окончена.

— А теперь поедим,— заключил Рафаэле.

— Но... Тандедду действительно сдался через двадцать четыре часа?

Пораженные, они широко раскрывают глаза, а столяр отворачивается стыдливо, как при неожиданно вырвавшемся неприличном слове. Учитель тайком делает нам знаки: ну конечно же!

В кухне Сальваторе достает из кармана огромный нож со стопорным вырезом, то же делает и учитель. Это не для того, чтобы сражаться; один из них режет козий сыр, острый горный *resogino*, другой — копченый и соленый окорок, который как высшую почесть начинает для нас Рафаэле Флорис.

«Нотная бумага» — это пресный хлеб, который удивительно похож на арабскую пита. На столе лежат две стопки — в одной свежие лепешки, в другой сухие. Вполне согласен, что они тонкие, как бумага... Но почему нотная? Это никому не известно. Что касается окорока, то он не кабаньей, а полудикой свиньи. Что же касается *resogino* — чудесного, но обжигającego рот,— то он не местный. Все это заставляет вспомнить о Сантильяна-дель-Мар, испанской деревне «трех обманов»: она не святая (сан), не на равнине (льяна) и не на берегу моря (мар).

Каждый кусок основательно прополаскивается глотком вина. Лилла держится совсем как большая. Учитель, который уже порядком подвыпил, но еще не совсем пьян, продолжает раскрывать секреты. Боэлле стал чем-то вроде арбитра для округи. Он судья без мантии. К нему отовсюду приходят за советом. Даже епископ. Он будет мэром, когда захочет!

— У него такой авторитет, что его зовут *zio* (дядя — это высшее проявление уважения) ... *Zi'Voelle*...

Неплохой конец карьеры бандита. Пусть даже бандита чести!

Лилла отведала вина Сальваторе, потом вина Боэлле, наконец вина какого-то «банкира» в деревенных башмаках.

— Это чтобы избавить тебя от неприятностей, дорогой мой... Ты не пьешь, а они могли бы обидеться.

Теперь она хочет, прежде чем мы уедем, угостить всех вином в кабаčke. Учитель, налитый до краев, клянется всеми святыми, какие только есть в календаре, что мы не можем уехать, не попробовав его вина; оно лучше Олиены, о которой моя жена столь высокого мнения. Итак, в дорогу, в деревню учителя Мамояду (букву «д» в этом слове нужно произносить, зажав язык зубами, как англичане произносят «lh»; по-видимому, это отзвук испанского «d»). Но вот Лилле все хуже и хуже дается английское произношение. А когда нам показывают маски, колокола и колокольчики весенних процессов, которыми славится Мамояда, Лилла непременно хочет надеть праздничный наряд. К счастью, она отстывает перед весом — до тридцати кило! — этих овчин, увешанных металлом.

Я пытаюсь узнать об этом побольше. Но учитель совсем готов. Его этимологические объяснения названия Мамояда бесконечны и запутаны, как лабиринт *. Он засыпает на ходу.

* Если верить Марки — авторитету в этой области — название Мамояда происходит от «манус» — так назывались загадочные обитатели пещер, которых легенда превратила в божества — хранителей домашнего очага. Им посвящаются ежегодные костюмированные шествия; так что речь здесь идет скорее не о маскараде, а о ритуальной церемонии.

Между двумя рядами крайне возбужденных зрителей проходят так называемые мамутоны, их лица закрывает *bisera*, их тяжелые одежды увешаны колокольчиками и погремушками. Они движутся печально, опустив глаза, с бессильно повисшими руками. По обе стороны от них идут, выпятив грудь, веселые и радостные, красивые молодые парни, одетые в белые рубашки и красные или зеленые жилеты; лица их открыты, движения быстры и свободны, они целкают, словно пастушьими кнутами, тростниковыми веревками — сока, которые держат в руках; отсюда их название — *иссокадоры*.

Внезапно медлительные мамутоны делают резкое и удивительно согласованное движение правым плечом, подчеркивая это движение левой ногой. словно расколдованные произведенным звоном, они гордо выпрямляются и, как по команде, переходят к шумному и скачущему шествию.

Тогда *иссокадоры* начинают бесноваться вокруг группы ряженых. Они закидывают в толпу свои сока наподобие лассо, чтобы ради шутки захватить кого-нибудь — мужчину или ребенка, или, что уж совсем приятно, женщину. Бедняки и богачи — все смеются...

Когда мы достигаем северо-восточной оконечности Сардинии, ночь уже близка. Если верить карте, к югу вдоль побережья идет национальная автомагистраль. Но магистралью пользуются так мало — явление для Италии редкое, — что ее не сочли нужным асфальтировать. В облаке пыли, подвергая жесточайшему испытанию покрышки Пафнутия, мы пересекаем самую бесплодную, грандиозную и дикую местность, которую нам когда-либо приходилось видеть. Дорога действительно идет вдоль побережья, но моря мы так и не увидим. До самого Арбатакса нас будет отделять от него цепь голых безлесных гор. Ни единого ручейка, ни хижины, ни одной живой души. Даже привычные кирпичные здания дорожных станций встречаются здесь в десять раз реже, чем на противоположном склоне. Сотня километров в мире, предшествовавшем Вюрмскому оледенению. Лилла, протрезвев, упивается этим необыкновенным зрелищем. Игра света и тени в ущельях, поросших елями и кустарником, трагична, как освещение в фильмах Джона Форда * лучшего периода. Вскоре восходит бледная луна и смотрит круглым оком на нас, незваных пришельцев. В этом ночном путешествии по забытому пустынному краю есть что-то кощунственное. Фары освещают лишь несколько метров дороги — этого шрама в хаосе камней — перед машиной. Увеличить скорость невозможно — мешают состояние дороги и ее извилины.

Этот переезд оставил, пожалуй, самое сильное впечатление за все наше путешествие.

Проехав Арбатакс, мы решаем пересечь остров, чтобы достичь Ористано на противоположном, западном побережье. Среди скал начинают появляться маленькие деревушки, которым дают воду ничтожные ручейки, в настоящее время сухие. Когда расспрашиваешь крестьян, они с энтузиазмом восклицают: «О! Зато зимой есть вода!» Интересно, что в самом обездоленном из этих жалких поселений есть новое здание: церковь, а иногда школа.

* Джон Форд — известный американский кинорежиссер, постановщик фильмов «Осведомитель», «Дилижанс» («Путешествие будет опасным»), «Гроздь гнева». — *Прим. перев.*

Ну вот, это должно было случиться! У нас прокол. Но с высоты небес блаженный Пафнутий охраняет Пафнутия ползучего. Прокол произошел в деревне, около сарая *gommista* *. Мессанисо ** суетится, снимает колесо, снимает при помощи деревянного молотка покрышку, издает восклицание, затем крестится: под покрышкой нет обычно сопутствующей ей камеры. Признаюсь, что и я в затруднении, так как тоже не знал об этом.

В мгновение ока — каким образом сработал телеграф? — жители деревни в полном составе окружают нас и начинают обсуждать событие. Происходит длительное совещание: как чинить проколотую камеру, если она не существует? Держа заплату в руке, мессанисо все еще ищет камеру вопреки всякому смыслу. Со всех сторон несется: «*Ma non é possibile!*»*** Наконец мы обнаруживаем гвоздь в покрышке. Два человека бросаются к нему, извлекают его, словно священнодействуя, рассматривают и показывают остальным. Украдкой разглядывают и нас. Почти-тельность толпы напоминает о суеверном преклонении, которым ацтеки окружали лошадей Кортеса. Все покачивают головами. Я убежден, что на многих руках средний и указательный пальцы скрещены на всякий случай — ведь всегда можно ожидать сглаза. Отчаявшись найти камеру, мессанисо накладывает заплату на дыру с внутренней стороны покрышки. Чувствуется, однако, что это просто любезность, не связанная с его учеными познаниями. Он накачивает баллон, не веря в то, что делает; один его глаз источает скептицизм, другой светится верой в чудо. И чудо происходит: сомнений нет, воздух остается внутри баллона. Мы отъезжаем среди глубокого молчания. Молчат даже дети.

Немного дальше новое приключение. На площади другой деревни — толчок, треск: Пафнутий замирает. На площади — ни души. Я выхожу и вижу, что мы засели на огромном плоском камне, заклинившем низ кузова в его средней части. Пока мы

* Вулканизатор (*итал.*).

** Механик (*итал.*).

*** Но это невозможно! (*итал.*)

чешем затылки, появляется человек. Он хорошо одет, опрятен. Костюм, воротничок и галстук. В такую жару это может быть только *signore*. Он останавливается, смотрит на нашу беду и улыбается нам братской улыбкой, полной грусти:

— *Momento*.

Он уходит и возвращается, неся безо всякого усилия еще один огромный плоский камень, который кладет между первым камнем и передним колесом. Мне остается только самое простое — дать задний ход. Это то самое «дайте мне точку опоры и т. д.», только наоборот. И до этого тоже надо было додуматься.

Я благодарю нашего спасителя и приглашаю его выпить стаканчик. Он настаивает на том, чтобы угостить нас у себя. Законы гостеприимства здесь так строги, что мы не смеем отказаться. По пути он представляется. Он мэр деревни и школьный учитель. Знаменитый камень давно следовало бы убрать. Но дело в том, что у него есть своя история. Это древний камень позора — *pietra della gogna*. В былые времена лица, осужденные на общественное поругание, должны были становиться на него и подвергаться всеобщему глумлению.

(Теперь, когда Лилла рассказывает об этом приключении, она никогда не забывает прибавить: «... понимаете ли, мой муж водит машину так плохо, что в Сардинии Мотоклуб приговорил его к стоянию на *pietra della gogna*».)

Р. приглашает нас к себе, угощает прелестным холодным легким вином и испускает бесконечный вздох.

— Могу ли я говорить открыто? — спрашивает он, узнав о цели нашего путешествия. — Могу ли я рассчитывать на то, что вы не откроете моего имени?

В этом краю жизнь, подавленная традициями, невыносима. Нет, здесь нет настоящей нужды. Поля вокруг плодородны, и даже *braccianti* могут существовать. Но умы чрезвычайно отсталы. Он вынужден скрывать, как скрывают порок, свои социалистические симпатии и даже не смеет подписываться на некоторые газеты, чтобы не выдать себя и не вызвать

единодушного осуждения своих подчиненных. Арабo-исламское, а затем испано-католическое наследие сказывается в том, что народ рабски повинуется религиозным установлениям. К этому примешиваются, естественно, всевозможные языческие суеверия и даже глубокая вера в колдовство, вместе с бессознательным и невысказанным преклонением перед силами природы.

— Сардиния — ничто, она ничего не дает государству. Для правительства мы — бремя. С его точки зрения, наше единственное богатство — избиратели. Поэтому, понимаете ли, чем больше эти несчастные невежды наделают детей, тем лучше. Iddio provederà — бог заботится об этих невинных бедняжках. Единственный способ победить ужасающую бедность — это...

Он колеблется, смотрит на одного из нас, потом на другого и, наконец решившись, говорит со своей всегдашней грустной улыбкой:

— Chi arriscada, piscada (кто рискнет, тот поймает рыбу). Это ужасно, но это так. Что нам нужно, так это регулируемое деторождение.

Произнеся эту ужасную формулу, он останавливается, как бы ожидая, что его поразит на месте молния. Лилла вкрадчиво спрашивает его:

— Однако вы любите детей?

Он подтверждает легким кивком головы.

— Я не вижу обручального кольца на вашей руке?

Широкий жест, выражающий покорность судьбе.

— Я вот уже двадцать лет как обручен, но... видите ли, у меня две сестры. Надо было сперва выдать их замуж, затем вырастить моих племянников...

На секунду его глаза загораются:

— Теперь мое жалованье достигло 65 тысяч лир. Мои сестры устроены. Мои племянники скоро пойдут на военную службу. Я собираюсь жениться. Но...

Вероятно, он думает о своем возрасте, о возрасте своей невесты, об этих двух жизнях, соединяемых так поздно, и заключает, впадая в свойственный ему печально-угнетенный тон:

— E'difficile... E'difficile... *.

Я спрашиваю его в упор:

— Вы верите в бога?

— Еще бы, конечно.

Я готов поверить, что единственным атеистом в Италии был Пиранделло **.

Кажется, что в деревнях пульс жизни ослаблен под двойным гнетом солнца и невзгод. Хижины заперты. Пыль пляшет в воздухе; жара пронизывает пыль. Помимо своей воли мы замедляем ход, проезжая мимо разбросанных без порядка и симметрии жалких полуразрушенных построек со стенами, сложенными из самана без раствора, с драными, покосившимися крышами, с перекошенными дверями и окнами, с очагами без огня и тепла. Ни души. Ни кошки, ни бродячей собаки. Не видно даже кур.

Иногда вдали покажется женщина — стройный и благородный черный силуэт. Поставленная на голову женщины ноша — сосуд или корзина — делает ее походку величавой. Ее лицо открыто, и эта деталь удивляет, заставляя вспомнить о том, что находишься не в мусульманской стране.

Пейзаж становится трагически безнадежным, подобно пейзажам Эстремадуры. Отсутствие людей, укрывшихся в своих хижинах, свидетельствует об их желании сохранить свое достоинство. Ибо в Сардинии голод не выставляют напоказ. Здесь пытаются скрыть дыры в одежде. Здесь не просят милостыню. Саван пыли, покрывающий деревни, придает им опрятный вид. Но нам кажется, что это кадры какого-то фильма, и их звуковое сопровождение, их музыкальный фон — *attitú* (или *attitudú*), погребальный напев Барбаджии, из которой мы только что уехали. *Attitú* поется у изголовья умершего насильственной смертью. Это диалог между вдовой, матерью или сестрой усопшего и *attitadora*. Это плач в стихах, мучительно прекрасный, в котором неграмотные крестьяне проявляют свое врожденное чувство слова, поэзии, ритма. Женщины в траурных

* Это трудно... это трудно... (итал.)

** Пиранделло Луиджи (1867—1936)—итальянский писатель.—
Прим. перев.

одеждах возносят хвалу тому, кого уже нет, поют о счастье жить рядом с ним, потом спрашивают о причине его внезапного ухода. Медленно, с берущей за сердце размеренностью они повышают тон, называют имя убийцы, проклинают его и обещают месть. Для сарда зло — так же обыденно, как сама жизнь. За добро сполна воздаст бог, зло люди судят сами. Здесь отчетливо видна граница между верой и суеверием. Но цель, пожалуй, не только в том, чтобы призвать вендетту: многие видят в этом плаче драматическое действие, долженствующее усилить скорбь присутствующих. Прежде всего нужно, чтобы печаль об умершем была соответствующим образом выражена. Здесь сказывается, по-видимому, арабское происхождение церемонии. Это отзвук мусульманских похоронных обрядов с их хорами профессиональных плакальщиц.

Если оплакивают ребенка, его труп лежит с открытыми глазами, чтобы «видеть ангелов, которые приветствуют его». Но взрослому следует закрыть глаза. Иначе его угасший взгляд непременно призовет кого-нибудь из близких последовать за ним. Туда еще до конца года.

Время от времени входит скорбная женщина, разнося в тишине кофе в траурных чашках. Мать или вдова не пьет. Она словно окаменела и, когда пение прерывается, выпускает вздох, от которого сжимается сердце. Вздох, который подстать этой суровой природе, наложившей на людей свою печать.

Невероятно низкий уровень жизни во многом определяется географической изоляцией острова. Малярия, свирепствующая уже три столетия, туберкулез, по заболеваемости которым Сардиния установила прискорбный национальный рекорд, детская смертность, приближающаяся иногда к 100 процентам, трахома (от 1 процента до 10 в зависимости от высоты местности) — вот следствия такого уровня жизни. Население распределено по острову очень неравномерно, и размещение его зависит от наличия воды. Осадков здесь выпадает в среднем 700 миллиметров. Но, к несчастью, более 80 процентов поверхности острова — голая скала: гранит, сланцы или

базальты, с которых дождевые воды тут же скатываются в море. Источников мало. Земля изнывает от жажды. О путях сообщения дают представление такие цифры: 0,042 километра дорог на квадратный километр, почти в четыре раза меньше, чем в материковой Италии.

Словом, единственное богатство Сардинии — уголь, цинк, свинец. Многие ученые утверждают, что в ее недрах есть и другие металлы. Малярия, слава богу, можно сказать побеждена. Cassa per il Mezzogiorno строит на острове дороги и плотины, поощряет и финансирует строительство новых промышленных предприятий и развитие земледелия и скотоводства. Почему же удельный вес острова в экономике всей Италии составляет лишь 1 процент, между тем как его население достигает 2,66 процента всего населения страны?

Марио Аццена придумал выражение, которое объясняет все: экономика Сардинии омертвлена. У ее народа, раздавленного тысячелетиями бедствий, нет больше энергии. Недоедание сделало свое страшное дело, истощив плоть и подавив дух народа. Измученные голодом школьники бросают школу на первом году обучения, и 65 процентов детей пополняют собой армию неграмотных. Что же делают эти дети, вынужденные работать с семи лет? Да что угодно. Главным же образом они идут в пастухи или становятся мальчишками на побегушках в городских кафе.

Единственный выход для них — опять-таки эмиграция на материк, в Африку или в Америку.

А сейчас мы спешим в Ористано, где нас ждут. Пейзаж перестает быть неинтересным. Мы едем по цивилизованным местам, и с некоторых пор Пафнутий, радостно урча, бежит по асфальтированной дороге. Но спешить не спеши, а остановка в Баррумине неизбежна. О нас говорили с тамошним мэром, который с готовностью отдает себя в наше распоряжение. Он хорошо знает остров и его историю.

Начало заселения Сардинии теряется во мраке времен. Современный путешественник будет удивлен, обнаружив около Макомера островерхие конические свинарники, характерные для какой-нибудь деревни

в африканских джунглях. Местные жители называют их тем же словом «тукуль», которое на Черном континенте означает «хижина». Все это довольно странно. Еще более странными кажутся внушительные развалины, возникающие там и сям вдоль дороги. Это древние сооружения из огромных камней, положенных один на другой. Сарды говорят о них с почтением. Иной раз о таком сооружении скажут, что это могила гиганта, иной раз его назовут «домом колдуньи» (*Domus de janas*), а то и вовсе древней крепостью. Обыкновенно их объединяют под общим названием — нураги. Многие находят в них сходство с талайотами (сигнальными башнями) Балеарских островов. Однако ничто не подтверждает общности их происхождения. Ясно только, что и здесь, и там башня — два этажа в форме усеченного конуса — служила, по-видимому, жилищем вождю, располагаясь поблизости от места жертвоприношений; она сложена из крупных камней, уложенных строго горизонтально. Как ни странно, эта цивилизация, которая оставила памятники, не имеющие себе равных, не знала письменности или, во всяком случае, не украшала письменами стены своих сооружений. Поэтому и сегодня, даже после того как недавно при раскопках в Баррумине была обнаружена целая нурагская деревня, обо многом можно еще только догадываться.

Содержание углерода-14 в найденных предметах позволяет отнести их к 1700 году до рождества Христова. Обитатели нурагов были воинственным народом, если судить по обнаруженным в последнее время статуэткам. Нападая на врагов, они применяли каменные ядра. Ряд предметов — все они каменные — как будто свидетельствует о том, что в нурагах жили и ремесленники; мельницы и хлебные печи, сохранившиеся в развалинах и погребенные под грудями обломков, дают основание предполагать, что обитателям нурагов были известны растительное масло и хлеб.

Согласно легенде, старинная деревня Баррумине, насчитывающая от двухсот до трехсот жителей, была связана подземным ходом со средневековым замком Мармилла. Однако, даже если не обращать внимание

на расстояние между ними, нельзя забывать, что между сооружением замка и возникновением деревни прошло две тысячи лет. Тем не менее в округе все еще говорят об этом подземном ходе, не забывая при этом оградить себя крестным знаменем от призраков, которые, быть может, бродят по подземелью, переходя от одного засыпанного выхода к другому.

Вот чем стали люди эпохи нурагов — призраками. Кем же они были? Сколько времени длилось их господство на острове? Известно лишь, что карфагеняне внезапно вторглись в Сардинию между 500 и 480 годами до нашей эры и колонизовали ее, а в 238 году до нашей эры уступили ее Риму. Затем она перешла к Византии, владевшей островом до X века, но уже с VIII века начались набеги сарацинов. В XI веке остров захватили Пиза и Генуя, впоследствии оспаривавшие его друг у друга; победила Пиза. В конце XIII века настала очередь Хаиме II Арагонского. На этом, к несчастью, кровопускания не закончились; в 1708 году, после того как Кальяри капитулировал перед английским флотом, остальной Сардинией овладела Австрия. Однако ненадолго: несколько лет спустя кардинал Альберони снова завоевал ее для Испании. Наконец в 1720 году по Лондонскому трактату она была отдана герцогам Савойским... Утверждают, что в то время остров насчитывал триста тысяч жителей, точнее триста тысяч оставшихся в живых.

Появление вдали панорамы строительства плотины на реке Флумендоза обозначило конец нашего путешествия по пустынному краю. Скалы уступают место полям. Краски меняются. Мы в зеленом Кампидано, и вид становится обыденным. Эта перемена — пролог к нашим встречам с островитянами, освободившимися от гнета земли. Мы встречаем их в Ористано, одном из значительных городов Сардинии (наряду с Кальяри на юге и Сассари на севере).

Господин О., коренной сард, незнаком с нами. Но Нерина, бывшая моя ученица, ставшая его женой, вероятно, прожужжала ему все уши разными историями — к тому же порядком приукрашенными — о professore и professoressa. Он ждет нас с нетер-

пением и приветствует словами, в торжественности которых сквозит легкая ирония:

— Benvenuti a Oristano *, на родину Элеоноры д'Арбореа и крупнейший оплот справедливости в этом презренном мире **.

Этот маленький, толстенный весельчак держит за руку четырехлетнюю Эммануэлу, миниатюрную, тоненькую, хрупкую; в ее взгляде лукавые огоньки, обещающие немало неприятностей ее будущим поклонникам. Нерина, прелестная в своем цветастом платье, сдабривает обильными слезами сердечные излияния и бесконечные объятия, которыми она обменивается с professoressa — моей супругой.

Мы втискиваемся в машину, и я уже больше не слышу шума мотора. Правда, он расположен сзади, но не в этом дело. Малышка освоилась с обстановкой и болтает, не заботясь о том, слушают ее или нет. О. рассказывает мне об автомобильной катастрофе или, как он выражается, автомобилистическом инциденте, свидетелем которого он был. Нерина подробно описывает какую-то экскурсию. Время от времени Эммануэла перелезает с колен отца, сидящего рядом со мной, на колени одной из женщин, сидящих сзади. Какая-то машина обгоняет нас, едва-едва не задев. О., высунувшись до пояса из окна, осыпает неосторожного шофера непереводимыми проклятиями.

— О! Нанни! — укоряет его Нерина.

После этого она продолжает свой рассказ, а девочка начинает плакать, требуя мороженого.

— Нет, ты только что съела две порции, — обрывает ее отец и в свою очередь начинает: — Шесть лет я дрался в Африке, шесть лет!

На лету я ловлю доносящийся сзади необыкновенный оборот речи, один из тех, тайна которых известна только Нерине:

— И вот этот невоспитаннык принимается говорить мне всякие пылкости!

Я снова настраиваю свою барабанную перепонку на волну мужа; он учиняет всеобщую резню всем

* Добро пожаловать в Ористано (итал.).

** Намек на «Carta de logu» — сардинский свод законов, принятый в Ористано 1365 году.

монархистам и клерикалам на полуострове. В ответ на это или просто случайно Эммануэла засовывает всю руку в рот отцу и вопит:

— Я зубной врач! Я зубной врач!

— Вынь руку, ты мешаешь папе говорить, — кричит ее мать.

Прибытие к дому О. кладет конец дебатам. Мать господина О. принимает нас с достоинством и простотой, которые отличают гостеприимство сардов. Нас угощают стаканом vernassia. Ористанская vernassia славится по достоинству. Она тотчас же выводит из строя мои мыслительные способности. Спор, вспыхивающий между матерью и сыном, доходит до меня, приглушенный парами алкоголя. Мать, как и прежде, верна королю, а сын — единственно из желания продемонстрировать нам гнев матери — обзывает короля словами, несовместимыми с величием монарха. Чувствуется, что это старый спор, аргументы которого притупились от слишком частого употребления. Но когда безрассудный отпрыск переносит свои нападки на экс-королеву, стоптанный башмак матери, легко преодолевая свободное пространство между ними, летит к сыновнему лбу.

Хлопает дверь. Входит сестра О. — Чензина, крупная женщина, веселая и подвижная. Она работает в ETFAS (Ente Trasformazione Fondaria e Agraria in Sardegna), организации, созданной для проведения аграрной реформы в Сардинии. Я и рта не успеваю раскрыть: Чензина, оказывается, уже все предусмотрела и подготовила встречу — она sistemato tutto *, — и нас ожидает assegnatario **. Мы тотчас же возвращаемся в машину. По дороге Чензина рассказывает нам в общих чертах о деятельности ETFAS. После изъятия пустующих земель эта организация несколько лет проводила работы по благоустройству, чтобы создать условия для их освоения: прокладывала дороги, подводила воду, строила дома. Затем началось распределение участков.

* Все организовала (итал.).

** Крестьянин, получивший землю в результате реформы.—

Прим. перев.

Земля предоставляется не безвозмездно. Крестьянин, получивший участок, обязан возместить его стоимость в течение тридцати лет; все это время он должен считаться с планами использования почвы, разработанными ETFAS. Контракт заключается обязательно на весь этот срок: выплачивать ежегодные взносы досрочно, например при хорошем урожае, не разрешается. Это дает гарантию того, что минимум одно поколение крестьян будет считаться с общим планом, координирующим усилия каждого из них. Первоначально la Cassa per il Mezzogiorno, финансирующая ETFAS, была создана на десять лет, затем срок ее деятельности продлили до двенадцати и наконец до пятнадцати лет.

До настоящего времени она располагала капиталом в 2 миллиарда 40 миллионов лир. Этот кредит отпущен на обработку заброшенных или вновь осваиваемых земель и строительство промышленных предприятий в южных районах. В каждом из них основаны одна или несколько организаций, именуемых общественными, в чью компетенцию входит отчуждение и перераспределение земель, изучение и утверждение промышленных проектов и поддержка начинаний путем предоставления значительных кредитов. Разумеется — и мы увидим это главным образом в Сицилии, — борьба за получение кредитов парализует самую ценную инициативу. Но в Сардинии она еще не достигла высшего накала.

ETFAS охватывает своей деятельностью весь район Ористано. Площадь распределяемых участков неодинакова. Она определяется возможностями их использования — каждый должен получить на своей земле нечто более или менее равноценное. Иными словами, размеры участков зависят от качества почвы, местоположения участка, его продуктивности.

— Как можно стать кандидатом на получение участка? — спрашивает Лилла.

— Самым простым и в то же время самым сложным способом — подав прошение. А после этого надо много и упорно хлопотать, выполнить бесчисленные формальности, и, кроме того, доказать свою принадлежность к крестьянству, продемонстрировать навыки земледельца. Из всей массы поступив-

ших заявлений уполномоченные ETFAS отбирают столько, сколько должно быть распределено участков, а во избежание пристрастного решения устраивается жеребьевка. После того как подготовят участки, иными словами, когда ETFAS создаст условия для их использования, состоится новое распределение, в ожидании которого будущие землевладельцы стоят на очереди. В течение всего этого времени их стараются привлекать — за плату, разумеется, — к различным работам. Очередники образуют резервную рабочую силу, и в то же время такая «стажировка» позволяет руководству ETFAS проверить способности каждого работника.

За четыре года эта система трижды дала «осечку»: у двух крестьян участки были отобраны за несерьезное отношение к делу и пьянство, третий отказался сам. Нам как раз предстоит увидеть человека, который стоял первым на очереди и унаследовал участок этого третьего.

Два гектара земли, разделенные на две половины небольшой земляной насыпью. Поля, расположенные на берегу реки Тирсо, ежегодно затопляются. В этом году, например, вода в течение трех дней полностью покрывала озимые.

— Чудо мадонны, — говорит крестьянин, — у меня никакого убытка, а у соседа погиб весь урожай.

Этому человеку присуща медлительность тружеников, он из тех, кто сто раз ткнет зернышко туда, откуда его сто раз вымывает водой. Сначала крестьянин ведет нас осматривать свои угодья. У него размеренная, спокойная походка человека, который знает: тише едешь — дальше будешь. По дороге он то тут, то там выдергивает пучок сорняков. Он подыскивает слова, чтобы выразить свое удовлетворение. На мой вопрос, снилось ли ему, что в один прекрасный день он станет владельцем двух гектаров земли, крестьянин спокойно отвечает:

— Никогда, сударь.

— Вы живете здесь уже несколько месяцев, — допрашивает его Лилла, — все ли вас устраивает?

Взглянув на Чензину, он отвечает:

— Я всем доволен.

— И у вас нет никаких претензий?

— Никаких.

Искренен ли он? Его безразличное лицо, привыкшее скрывать чувства, непроницаемо. Несомненно одно: даже если что-нибудь и не так, в присутствии служащей ETFAS он нам об этом не скажет.

А может быть, не скажет и оставшись с нами наедине: ведь это нас не касается. Вот о своей работе он говорит. Ему приходится нелегко. Поднимается поутру в четыре часа. Спать ложится довольно поздно, уже после захода солнца. Нередко так устает, что вечером не в силах есть. Сын еще слишком мал, чтобы помогать отцу. В разгар лета он — хочешь не хочешь — вынужден устраивать себе полуденный отдых: под южным солнцем невозможно работать. Когда он описывает свой труд, в его голосе начинает звучать тревога. Неожиданно он обращается к Чензине с вопросом:

— Случается, меня так схватит здесь, в пояснице. Как вы думаете, с чего бы это?

— Усталость... — отвечает та.

Он делает движение, означающее: ну, если дело только в этом...

Разговорившись понемногу, крестьянин упоминает о своем товарище: тому повезло — получил участок одним из первых. Худо-бедно, а у него уже отложен миллион. Своими делами он доволен. Урожай принес ему сразу 400 тысяч лир. Чего ему недостает, так это нескольких голов скота. Его ходатайство перед ETFAS о ссуде, кажется, будет удовлетворено.

Не тяготит ли нашего собеседника перспектива находиться под опекой ETFAS целых тридцать лет? На лице крестьянина появляется еле заметная улыбка:

— Без господина никак не обойдешься.

Мне кажется именно в этих нескольких словах — основная мысль беседы. ETFAS — учреждение, созданное для него и ему подобных, представляющее и защищающее его интересы, не может восприниматься им иначе как хозяин. Это и не удивительно после стольких веков рабства, неприкрытого или ханжески завуалированного. Не следует забывать, что официально феодальная зависимость была отменена в

Сардинии лишь в 1836 году! И как ему рассуждать иначе? Раньше он был bracciante — поденщиком, работая, если повезет, до ста двадцати дней в году; его дневной заработок в зависимости от настроения или доброй воли хозяина колебался от 500 до 800 лир — иначе говоря, он имел 100 тысяч лир в год.

Именно такие данные о среднегодовом доходе семьи как на Сардинии, так и в Сицилии приводятся в официальном статистическом справочнике. Признаться, это совсем немного.

Стемнело. Мы медленно бредем к дому, едва различимому на фоне грозowych облаков, которые, однако, нисколько не помешают солнцу ярко светить завтра.

Жена хозяина поджидает нас, сидя неподвижно за столом в общей комнате; черты ее лица подчеркнуты пляшущим пламенем керосиновой лампы. Только крестьяне обладают способностью ждать так — с отсутствующим взглядом, опершись обеими руками в колени, — и все же не казаться праздными. При нашем появлении женщина почтительно потупляет взор. Она сдержанно приветствует нас и с лампой в руке идет вперед, показывая свой дом. Надо было видеть шалаши из ветвей, землянки, лачуги, овины, в которых жили исполщики прежде и в которых и сейчас еще ютятся многодетные поденные рабочие, чтобы понять, почему эти ровные голые стены, побеленные и уже потемневшие, эта выполняющая свое назначение крыша и этот очаг, который не дымит, могут показаться настоящим раем. Общая комната расположена на первом этаже, две другие — на втором. Вода, в ближайшие дни подключат электричество. Крестьянин улыбается. Можно и подождать. За сорок шесть лет он запаса терпением.

Тяжела доля крестьянина. Ну а доля крестьянки? Вставать вместе с мужем, если не раньше; ложиться одновременно с ним, если не позже; вести хозяйство, готовить, ухаживать за скотиной и птицей, помогать в поле, стирать белье, мыть посуду, шить, штопать, ходить за детьми.

— Кстати, — спрашивает Лилла, — дом невелик. А как же семьи, где много детей?

Им ЕТФАС предоставляет ссуду на расширение дома, так же, как на приобретение скота, посевного материала, удобрений, кур, мула или свиньи.

Остается привыкнуть к одиночеству. Порой оно невыносимо. Правда ли, что поначалу кое-кто из крестьян отказывался от дома с удобствами, предпочитая, как прежде, ютиться в лачуге, и каждый божий день бегать от деревни к участку и обратно?

Да, бывало и так. После рабочего дня человек должен иметь возможность побыть среди «христиан». В свое время ЕТФАС строила дом посередине участка. Требовалось мужество, чтобы жить как отшельник, и общаться с людьми только во время воскресного богослужения. Поэтому в дальнейшем стали соединять хотя бы по две семьи, строя для них жилье на границе между участками. А теперь уже строят целые деревни, сдаваемые новой общине вместе со школой, зданием муниципалитета, церковью и помещением, где можно собираться в праздники. Впрочем, мы уже проезжали такую общину неподалеку от Баррумини — деревни нурагов.

Лилла затронула щекотливый вопрос о многодетных семьях. По простоте душевной крестьянин выдает себя:

— Слава богу, у нас только двое ребят.

Чензина толкает нас локтем, взглядом умоляя не касаться этой деликатной темы. Но Лилла обращается к крестьянке, которая не выглядит беременной, и спрашивает:

— И только двое? Но ведь вы поженились уже давно!

Мужчина поднимает голову. Видно, как желваки играют на его квадратных скулах. Он цедит сквозь зубы:

— Двоих еще поднатужишься, да вырастишь. А нищих-то зачем же плодить?

— Но разве это не грешно? — удивляется Лилла.

Такая наивность вызывает первую улыбку на лице крестьянки.

— Мало ли в каких грехах приходится каяться.

У О. мы застаем ветеринара, жаждущего пообщаться с «культурными иностранцами». Мы пользуемся

этой беседой, чтобы уяснить себе кое-что о «чувстве чести». Ведь все эти кровавые бани, о которых мы столько слышали, видимо, порядком изменились?

В девяти случаях из десяти оскорбленный садится в засаду с ружьем, заряженным Iuragga — волчьей картечью, спокойно пристреливает врага и тут же, пользуясь его же ножом, уродует у трупа неприличные места. Нередко, однако, вендетта сводится к отравлению домашнего скота или поджогу овина. Мы объясняем своим сардским друзьям, что, как нам кажется, за пределами Сардинии такого рода сведение счетов производит невыгодное впечатление. Если уж говорить о чести, то именно она требует, чтобы противники сходились лицом к лицу. Ветеринар строит презрительную мину:

— *Bella vendetta!* * Возьмите к примеру меня, а? Как видите, я не богатырь и ростом не вышел. *Va bene* **. Захожу в *cantina* *** пропустить стаканчик. Там какому-то типу вздумалось меня оскорбить. Он вытаскивает нож, приставляет его к моему горлу, вынуждая меня опуститься на колени, а потом мочится мне, мягко выражаясь, на голову. После этого я встаю, умываюсь с позволения дам, потом возвращаюсь и спрашиваю обидчика, за что он меня оскорбил. Как показывают в кино, у каждого из нас в кулаке зажат нож. Он высокий и коренастый. Значит, если я не доволен, что мне сделали на голову, то могу получить *coltellata* **** в живот. И вы хотите меня уверить, что мне станет от этого легче? Никогда в жизни. Я его подстрелю себе спокойненько или же наврежу ему там, где это будет особенно чувствительно: заражу ящуром единственную корову, сожгу урожай, а то и наставлю рога или же лишу его дочку невинности! По крайней мере, получу удовлетворение. И здесь у нас все будут знать, что это моя работа — никто на этот счет не станет заблуждаться, и каждый скажет: лучше Джулио не задирать. Он умеет дорожить своей честью.

* Прекрасная вендетта! (*итал.*)

** Ладно (*итал.*).

*** Погребок (*итал.*).

**** Удар ножом (*итал.*)

Лилла мечет молнии:

— Но ведь это же трусость! Поступая так, ничем не рискуешь!

— Вы ошибаетесь, мадам,— спокойно отвечает ветеринар. Допустим, каждый знает виновного, но помалкивает. *Vevo?* * Следовательно, от неприятностей с полицией я избавлен. Ну а семья парня, которого уколошил? В ней всегда найдется кто-нибудь, кто захочет мне отомстить,— сын, родной или двоюродный брат, неважно кто. С этого времени я уже не смогу выходить из дому без ружья. И все равно рано или поздно — это так же верно, как то, что я неверующий и что бог существует — настанет мой черед быть убитым. А потом наступит очередь моего сына заряжать ружье волчьей картечью — и так далее.

— Словом, бесконечная цепочка?

— Нет. Есть два способа оборвать ее: первый практиковался еще в доброе старое время и состоит в том, чтобы терпеливо дожидаться момента, когда вся семья твоего врага будет в сборе, и тогда уложить всех до единого — мужчин, женщин и детей.

Маленький человечек распаляется. Он увлекся и, позабыв, что находится в гостиной матери О., прикладывает к плечу воображаемое ружье, целится, стреляет, имитируя выстрел — бах-трах! — перезаряжает, стреляет снова и в конце концов молча подводит рукой черту:

— Все! Никого не осталось. Я могу вздохнуть спокойно.

— Ну а другой способ? — интересуется Лилла.

Он пожимает плечами и делает недовольную гримасу:

— Плкнуть на все.

Он этого явно не одобряет.

— Я из Нуоро, сударь, и мне остается лишь сожалеть о том, что хорошие старые обычаи наших мест — здоровые обычаи — постепенно исчезают.

Ту же растерянность мы испытали на следующий день при посещении рыболовецкого кооператива. Слова «рыболовецкий кооператив» вовсе не говорят

* Здесь «так?» (*итал.*)

о том, что речь пойдет о лове рыбы в море. Лодок у кооператива нет — только несколько плоскодонок, чтобы передвигаться среди утесника и тростника от одного садка к другому. Рыболовецкий участок составляет часть земель, изъятых у латифундистов; он сдается кооперативу за пять миллионов лир в год, тогда как два гектара земли каждый крестьянин получает практически даром. Я нахожу это несправедливым. Меня утешают:

— Ma va la, va la, рано или поздно нам отдадут и этот клочок земли, и воду *.

Свое желание вступить в кооператив надо подкрепить взносом 150 тысяч лир. Не обязательно деньгами. Это «приданое» может состоять из лодки, сетей, какого-нибудь инвентаря. Выбывая же из кооператива, рыбак ничего не получает. Словом, как в израильских kibboutzim **.

Сопровождающий нас рыбак — красивый статный парень лет двадцати пяти — тридцати; глядя на его прокаленное солнцем лицо нелегко сказать точно, сколько ему лет. Он дежурный; его товарищи уехали в город на гулянье. Не скучно ли ему оставаться здесь одному? Его жест выражает покорность судьбе. Надо же кому-нибудь присматривать за садками.

— Кругом большая нужда. Многие зарятся на чужую рыбу.

Он выражает свои мысли медленно, но не подыскивает слова и не вынуждает нас упрашивать его «рассказать о себе». Прежде он рыбачил в одиночку. Риск, которому он подвергнулся, был ему не по карману: потеря сети обрекала его на недели вынужденного безделья. К тому же с одними веслами без мотора много на наловишь. Заработок? 1500—2000 лир в неделю. Повезет — можно заработать до 5 тысяч. Два года назад, взяв деньги в долг, экономя на сигаретах, кино, танцах и «черт знает на чем еще», он

* Один высокопоставленный чиновник ETFAS изложил мне знаменитую систему экспроприации, согласно которой участки принадлежат этой организации еще неполностью. В общем, если я правильно понял, эта непомерно высокая арендная плата взимается в пользу прежних землевладельцев.

** Kibboutz (*древнеевр.*) — сельскохозяйственное товарищество в Израиле. — *Прим. перев.*

собрал необходимую сумму и вступил в кооператив. С тех пор жизнь его прекрасна. Сам черт ему не брат. Все к лучшему в этом лучшем из миров.

— Почему?

— Потому, что здесь все налажено. Ежедневно из садков выбирается определенное количество рыбы, которая идет на продажу: доход распределяется между членами кооператива. Каждому достается примерно одна тысяча лир в день.

Безмятежно улыбаясь, рыбак рассказывает о своей жене. Он недавно женился. Я удивляюсь: ведь в этих краях свадьбы не проходят без показных трат. Кроме того, как я заметил, в его хижине стоит большой мотоцикл. Где же он взял такие деньги? Я прошу его показать мне садки: плоскодонки вмещают двоих, а с глазу на глаз он разоткровенничается *. И вот мы отправляемся в путь. Сильные руки рыбака ловко орудуют шестом. Садки отделены от узкого морского залива скрепленными между собой тростниковыми перегородками, поставленными поперек течения. Увлекаемая потоком, рыба попадает в проход между перегородками, напоминая горло огромной верши, а оттуда в «камеру смерти», где томится, пока ее не выловят.

На расшатанных мостках рыбак изменил тон; похоже, что он готов принять мой вызов на откровенность. Я был бы рад отказаться от дальнейших распросов, но он уже ждет моей атаки. Итак, я начинаю:

— Ты увел чужой мотоцикл?

— Нет, клянусь, — протестует парень, испытывая своеобразное удовольствие от того, что попался. Он жестикулирует, молитвенно складывает руки, призывает в свидетели мадонну, клянется жизнью будущих детей.

Он купил мотоцикл по случаю за 50 тысяч лир в рассрочку и теперь уже почти расплатился. Благодаря мотоциклу он может ночевать дома.

— Посудите сами, *dottore* **, я ведь женился каких-нибудь два месяца тому назад.

* Удивительная наблюдательность и невероятный дар предвидения! Не предусмотрел я лишь того, что на обратном пути, садясь в лодку, я бултыхнулся в воду.

** В Сардинии не разделяют слабости остальных итальянцев к титулам. Но в данном случае несчастный идет на все.

— А сколько стоила тебе свадьба?

Глубокий вздох, блуждающий взгляд:

— Сто тысяч лир, *dottore*, включая угощение, всю церемонию, подарки. Ох бедный я, бедный!

— Где же ты взял такие деньги?

— Взял в долг, *dottore*. Если я останусь рыбаком, то не расплачусь до конца моих дней! О *dottore*! Ведь вы иностранец. Устройте мне вызов во Францию. Где угодно, на любой работе мне будет лучше, чем здесь. Что меня ожидает при зарплатке в тысячу лир в день с молодой и хорошенькой женой? Если уж мне на роду написано стать *besso* — рогоносцем, то по крайней мере пускай я буду далеко и не узнаю этого!

Однако я отказываюсь поверить, что люди денежные — как правило, народ прижимистый — дают займы 100 тысяч лир человеку, который, это знают все, зарабатывает какую-то тысячу лир в день.

Краснея, он признается, что по средам, в свой выходной день, подрабатывает в кафе... Официанту перепадают чаевые...

— Но на них тоже далеко не уедешь.

— Ну... Кроме того, немного рыбы там и тут. Сверх нормы кооператив выдает нам ежедневно по два килограмма: один — для продажи, другой — для еды.

Это уже другой разговор. При самой низкой цене за килограмм рыбы можно выручить 500 лир. Тем не менее я подсчитываю вслух: 50 тысяч лир за мотоцикл, вступительный взнос, свадьба! Парень разрыдался.

— Ма, *dottore*, всю жизнь нуждаешься, вечные нехватки, во всем себе отказываешь.

— Только что, на берегу, ты утверждал, что живешь как в раю.

— Это на людях. И потом... Ма ега *vego* *. Эта нищета — рай по сравнению с моей прежней жизнью.

— Скажи правду. Ты ворующь рыбу?

Он разводит руками, устало пожимая плечами:

— Е *come si fa a samrá*? (Разве иначе проживешь?)

На обратном пути самое тяжкое — выносить его взгляд: покорный, униженный, покаянный. Он при-

* Так оно и есть (*итал.*).

знался в мелких кражах чуть ли не полицейскому — образованный человек, синьор, не может не быть заодно с властями. Я сую ему тысячу лир:

— На, своди жену в кино и купи ей *gelato* *.

Перестав орудовать шестом, рыбак рассматривает деньги... Потом стирает тыльной стороной руки слезу, повисшую на морщинке, и, сам того не желая, цинично улыбается:

— На этой неделе я еще не стану *besso!*

Я всегда задавался вопросом, будет ли осужден Жан Вальжан в день Страшного суда. Ни грубый тон, ни тыканье не в моих привычках: я пересказал эту сцену с единственной целью показать, что эти люди с их покорностью судьбе сами становятся помехой переменам, которые пошли бы им на пользу. Смирение они всасывают с молоком матери. С помощью карабинеров, церкви и нанимателей общество душит в них малейший протест. И не видя для себя иного выхода, кроме бегства, эмиграции, они живут с сознанием своей принадлежности к существам низшего сорта, едва возвышающимся над животными, и смиряются со всем, лишь бы выжить. Я не утверждаю, что они любят *signore*, но они, как правило, считают, что *signore* не должен ронять себя. Поступая иначе, я не только ничего не выведал бы у рыбака, но еще и заслужил бы его презрение. Я утверждаю, что в Италии меня больше всего возмутил тот горестный факт, что одни люди сознательно добились превращения других в существа низшего сорта. А добившись этого, они объясняют вам, что раскрепощение, освобождение бедняков, недочеловеков невозможно, невыгодно им самим.

И тут я должен признать, что ветеринар, с которым мы беседовали накануне, был прав: строгим соблюдением закона чести — устарелого, ребяческого, грубого — несчастные хоть как-то защищают свое человеческое достоинство. Отнимите у них кинжал — и они уже не что иное, как обыкновенные люмпены.

После кооператива мы посетили *Mare Morto* — большой спокойный залив с пляжем из тонкого песка.

* Мороженое (*итал.*).

Каждый сезон здесь в хижинах из соломы обосновывается колония рыбаков из Альгеро, выходцев из Каталонии. Они тоже образуют своего рода кооператив, устав которого не писан, но освящен традицией и передается устно от отца к сыну.

Самое поразительное — царящая в этих хижинах чистота. Одна из женщин приглашает нас войти и оказать милость, откушав вместе с ее семейством. Мы вежливо отказываемся. За свои шестьдесят лет другой жизни она не знала. Дети? Конечно, у нее были дети! Двадцать один ребенок, семеро выжили, некоторые женаты, у нее тридцать шесть внуков. Присев на корточки в углу, ее муж — маленький, чахлый, с загорелым морщинистым лицом, беззубым ртом и мигающими глазами — посмеивается. Супруги переглядываются. Мы с женой подпрыгиваем: можно поклясться, что в их глазах загорелся лукавый огонек. Неужели двадцать второй?

Глава колонии, предупрежденный о нашем визите, прибегает, чтобы оказать нам соответствующий прием. Мы проходим по лагерю. В этот час женщины подают *la pasta* — огромные, пантагрюэлевские порции спагетти, которые каждый уносит с собой в тень или на солнце на куске оберточной бумаги. Километры теста они уписывают с такой быстротой, что бумага не успевает прорваться.

Эти люди *liberi come il mare* *, как с гордостью подчеркивает наш провожатый, рискуют жизнью, так как рыбачат в открытом море. Прошлым летом одна только его лодка потеряла на два с половиной миллиона лир сетей, верш для омаров и различных канатов. Конечно, сети у них самодельные, но — увы! — нейлоновая нить, из которой они плетутся, очень дорога. Лодка стоит 2—3 миллиона. Ее снаряжение обходится в ту же сумму. Улов распределяется поровну между членами команды лодки, а ее хозяину засчитывается еще одна доля. Средний заработок (в сезон!) — тысяча лир в день.

Рыбаки, окружившие нас кольцом, кивают в подтверждение его слов. Один из них громко подсказывает:

* Свободные, как море (*итал.*).

— Расскажи ему про «большух».

Это шлюпки сравнительно большого тоннажа, которым правила предписывают рыбачить в открытом море, что, однако, не мешает им выбирать своими глубинными сетями рыбу из залива Mare Morto.

— E i bombardieri *, — подсказывает другой. I bombardieri — горячие головы, которые, укрывшись в рифах и — увы! — всегда нарушая правила, глушат рыбу динамитом, уничтожая без разбору подводную флору и фауну. Они без труда выбирают улов и продают его оптовикам, а те, радуясь дешевизне, закрывают глаза на то, что у всех рыб переломаны хребты. Береговая охрана? Она притворяется, что не видит незаконных действий, потому что греет на них руки.

Здесь, как, впрочем, и повсюду в Италии, люди рассказывают о самых трагических сторонах своей жизни весело. Все их чувства передаются гаммой, состоящей всего из двух нот: горестной и радостной. К тому же и та и другая приглушены инстинктом самосохранения, который из-за голода (самого страшного из всех — голода физического) заставляет их всегда держаться настороженно. Вот почему у этих людей частые смех и слезы на три четверти утратили тот смысл, который приписываем им мы, и значат не больше, чем эпитеты и превосходные степени, которыми пересыпана речь итальянца.

Злоупотребления. Взятничество. Низкие ставки. Когда думаешь о том рыбаке, с которым я разговаривал раньше, и об этих людях, невольно задаешь себе вопрос, как же они умудряются жить.

Ответ на этот вопрос я получил добрых двадцать лет назад в поезде, курсировавшем между Каиром и Александрией. Управляющий одного паши просветил меня насчет условий жизни феллахов-батраков.

— На pita и foul **, составляющие их пищу, требуются два пиастра в день. Я плачу им только один. Второй они ухитряются где-то украсть сами.

* И про глушителей рыбы (итал.).

** Бобы и чеснок (араб.).

«Замкните круг, и он станет заколдованным», — говорит Ионеско * в «Лысой певичке». Веками люди без зазрения совести смыкали круг голода.

Низкая заработная плата вынуждает всех, работающих по найму, «устраиваться» или просто красть. Вот почему родители школьника в пору экзаменов открыто несут учителю подарки. И как иначе объяснить, почему суют монету швейцару, служащему, сидящему за окошком, жандарму или мэру; почему «приличие» требует, чтобы, добываясь неоспоримой справедливости, человек шел к адвокату и даже к судье не иначе, как вооружившись корзиной яиц или фруктов, парой каплунов или же ковригой деревенского хлеба?

E come si fa a campá'?

Мы посетили третье рыболовецкое хозяйство, на этот раз частное. Рыбаки, попав в положение своего рода служащих, казались довольными.

У них есть все — работа, профсоюзная книжка, устойчивое положение. Даже страховой полис.

— Сколько вы зарабатываете?

Смущенные вопросом, рыбаки в замешательстве переглядываются:

— Трудно сказать, сударь: мы ведь получаем долю с доходов.

— Но существует же низшая ставка, гарантированный минимум.

Они едва заметно переглядываются. Тот, кто постарше, решается ответить:

— Это секрет. Спросите у хозяина.

Мне остается «разделять и властвовать». Я изъявляю желание посмотреть «камеру смерти». Старый рыбак, сунув предложенную мною французскую сигарету в угол рта и окинув меня ироническим взглядом, набивается в провожатые.

Расспрашивать не нужно. Едва мы отходим от остальных рыбаков на сто метров, он гасит сигарету — «с вашего позволения, докурю после», — кладет ее в карман и начинает:

— Гарантированный месячный заработок? 800—

* Эжен Ионеско — современный французский драматург-декадент, румын по происхождению. — *Прим. перев.*

1000 лир, в зависимости от исполняемых обязанностей.

— В день?

— В месяц, я же сказал.

Он не спускает с меня глаз и, прежде чем продолжить, наслаждается моим удивлением:

— Чисто символический заработок, разумеется. Низшая ставка.

Договор с хозяином у нас на бумаге не зафиксирован, но в нем есть статья, которая молчаливо подразумевает: разрешается воровать с условием не попадаться. Сами понимаете, разини здесь не нужны.

Я вспылил, на этот раз не преднамеренно:

— И вы считаете это правильным?

Он стискивает зубы, колеблется, что-то похожее на тоску по родине заволакивает его глаза.

— Синьор, я не здешний, я из Калабрии. Дома, в молодости, я не считал бы это правильным (тут следует многозначительно подавленный вздох)... Когда я отбыл заключение, то в довершение ко всему мне пришлось покинуть родную деревню. И вот, понимаете, в мои годы...

Он плюет на руки и хватает шест:

— Вы и вправду желаете посмотреть «камеру смерти»?

Я отрицательно качаю головой, и мы возвращаемся в молчании. Прежде чем причалить к берегу, он говорит, не обращаясь персонально ко мне — просто, как бы констатируя факт:

— *C'è della merda in giro...* (Лезет всякая дрянь!)

Мне кажется, было бы несправедливо закончить рассказ об этом полюбившемся нам острове минорной нотой. Я хотел бы завершить описание нашей сардинской эпопеи упоминанием об одном трогательном эпизоде.

Перед отъездом Лилла перенесла легкий сердечный приступ. Требовалась электрокардиограмма. Друзья направили нас к доктору С. (уверен, что он не желает, чтобы я назвал его имя). Он принял нас, тщательно выслушал жену, позвал молодого кардиолога, который трижды записал электрокардио-

грамму, ссылаясь на то, что перебои в подаче тока могли исказить кривую. В этот день мы пробыли у врача с 19 часов до 22. Поскольку кардиограмма все-таки не давала ясной картины, было решено повторить процедуру неделю спустя. В промежутке С. принял нас еще раз, чтобы проследить за результатами назначенного лечения. Короче, мы были у него на консультации трижды. Этот культурный, просвещенный человек, глубоко привязанный к Сардинии — своей родине, уделил нам десять часов своего времени. Когда пришло время отблагодарить его за труды, он категорически отказался принять деньги:

— Вам понравилась Сардиния, и это меня щедро вознаграждает.

Я часто говорил о гостеприимстве, любезности, радушии итальянцев, но не умел точно выразить, чем сарды отличаются от остальных итальянцев. Может быть, именно бескорыстие — отличительная черта жителей этого острова.

Сицилия



В те далекие времена, когда наполнявшаяся при помощи пипетки вечная ручка заканчивалась золотым пером в 18 каратов, по воскресеньям можно было видеть, как приличные люди, отмытые и празднично одетые, выйдя из божьего храма, пробирались по ступенькам между двумя рядами нищих калек, выставлявших напоказ свои язвы. Примерно такая же картина общества, полного резких контрастов, встречает путешественника в Палермо.

Вдоль побережья стоят бок о бок нарядные современные здания из бетона и бараки, разрушенные войной или временем. Город разрезают два проспекта с выстроившимися в ряд элегантными магазинами и богатыми домами. Это Запад. Внезапно асфальт тротуара обрывается, сменяясь утрамбованной доро-

гой: проспекты пересекает узенькая улочка не длиннее ста пятидесяти метров; тут уже не увидишь ничего, кроме рытвин, трещин, лохмотьев, грязи, веселой и шумной нищеты. Это Восток. Можно подумать, что попал в Константинополь, в район Галатты. При виде таких контрастов совершенно теряешься. Но местных жителей они не смущают. На перекрестке полицейский, в чистой форме и белых перчатках, с завитыми волосами под колониальной каской, приглядывает за порядком как на проспекте, так и на улочке. Прохожие, задерживающиеся у витрин, чтобы полюбоваться тканями ценой 10 тысяч лир за метр, по-видимому, считают нормальным, когда тут же рядом извивается в грязи покрытый мухами маленький оборванец и громко, уже профессионально, кланчит милостыню. Но у нас сжимается сердце.

Возможно, мы совершили ошибку, не подготовив себя к встрече с Югом: до приезда в Сицилию нам следовало побывать в Апулии и Калабрии и постепенно погружаться в мир человеческой обездоленности. А после Рима и кратковременного пребывания в Сардинии, где нищета стыдливо маскируется, переход кажется слишком резким, и мы спасаемся бегством.

Новый квартал. Шикарное кафе-кондитерская. Усталый старик официант, нетвердо переставляющий ноги на плоских стопах, подает нам меню сладостей а ля Хаджи Бекир * и уходит, не дожидаясь заказа, — горемыка, исполненный презрения. Тут меня охватывает праведный гнев. Быть может, его вызвали промелькнувшие перед моими глазами контрасты. Побелев от бешенства, я вскакиваю и призываю официанта к порядку. Он тут же возвращается и рассыпается в извинениях, угодливо, раболепно. Пристыженный, проклиная свою несдержанность, я готов проглотить все что угодно, лишь бы избавить его от отвратительного страха, обезобразившего морщинистое лицо. Но он не понимает меня и, дрожа за свое место, удваивает призывы к снисхождению, милосердию, прощению. И это тем более невыносимо,

* Знаменитый кондитер Среднего Востока.

что продавца шнурков, зашедшего в кафе попытать удачу, старик, сам переживший унижение, осыпает бранью и прогоняет ударами салфетки.

Шикарный отель с видом на рейд. Малюсенький, жаркий номер уже занят мухами; хоть он и стоит непомерно дорого, ванна в нем не вымыта, душ не работает. Посыльный обещал прислать водопроводчика и уборщицу. Ни тот, ни другой и не думают являться. Спускаюсь к портье с жалобой. Он многословно, извиняющимся голосом объясняет, что нынче сервис уже не тот — рабочий и прислуга утратили чувство профессиональной чести.

— Вот вам пример, мсье. Мы устроили все на американский манер. Если вам что-нибудь нужно, вы уже не вызываете прислугу звонком, а передаете распоряжение по телефону. Это очень мило, но лишено... (он щелкает пальцами). Утрачивается прямой, непосредственный контакт между господином и слугой.

Сокрушенно качая головой, он заключает:

— Non c'è più senso di signorilità!

Я перевел бы его слова так: уже не чувствуешь, что принадлежишь к господствующему классу. Холуй, оплакивающий утрату хозяйской плетки, просто невыносим.

Изнываю от жажды. На лестничной площадке установлен красивый фонтанчик. Табличка гласит: «Питьевая вода со льдом». Одно плохо: вода поступает тепловатая. Даже совсем теплая. Лилла нажимает на кнопку с надписью: «Подача кондиционированного воздуха». Никакого результата. В раздражении звоню портье; тот рассыпается в извинениях: установка начнет действовать только с будущего понедельника. Я рычу:

— А мухи?

— Мухи? Subito, синьор.

Тук-тук. Входит немолодая женщина, неприветливая и усатая, вся в черном (вероятно, она не снимает траура по мухам). В руках опрыскиватель. Молча, с сердитым видом, не обращая внимания на два полутрупа, валяющихся на кровати, она закрывает окна, занавески и, оставив нам в комнате

тонну невыносимого аромата, выходит и притворяет за собою дверь.

Лилла, еще способная шутить, подражает движениям умирающего лебедя. Удирать, пока мы окончательно не задохнулись.

Лишь за порогом гостиницы я понял, почему итальянцы говорят не «между Сциллой и Харибдой», а «из огня да в полымя». Воздух был душным, раскаленным. А установленное здесь правило движения в одном направлении не давало нам даже возможности выбирать улицы, где была тень.

Все, решительно все плохо. И наверное, я буду несправедлив к Сицилии, открытой мною при столь неблагоприятных обстоятельствах.

Тем не менее я встретил здесь интереснейших людей. С., журналист, специализировавшийся в области экономики и сельского хозяйства. А., другой журналист — миланец, специалист по вопросам политики. Они согласны в одном: проводить аграрную реформу бессмысленно. В эпоху, когда во всем мире рентабельна только механизированная обработка больших площадей, Италия, располагающая как раз такими площадями, экспроприрует латифундии и дробит их на участки. Мне уже приходилось слышать такие рассуждения. Они поразили меня своей резонансностью, но не убедили. В самом деле, решение психологической проблемы — дать обездоленному человеку основание почувствовать себя гражданином — представляется мне более неотложным, нежели проблематичное завоевание места на мировом рынке. Вот почему дробление земельной собственности ради ее перераспределения имеет первостепенное значение как мера, помогающая несчастному, который до сих пор был лишен всего, осознать, что у него есть не только обязанности по отношению к обществу, но и права.

Мои собеседники в изумлении качают головами.

Тогда я говорю о разделяющей классы пропасти, о частной инициативе, которую сбрасывают со счетов, об оторванности культурного человека от повседневной жизни народа: ведь в представлении образованных людей народ — лишь абстракция, источник рабочей силы, рассматриваемый в общем и целом.

Мои собеседники смущены, словно их гость совершенно не знаком с правилами игры. Уроженец Севера А. улыбается. Ему уже приходилось иметь дело с резонерами такого рода. Но С., искренне растерявшись, взвешивает «за» и «против». При чем тут душа сицилийца, если преследуемая цель добиться, чтобы сельскохозяйственная продукция Италии заняла подобающее место на общеевропейском рынке? Я и сам уже не знаю, идет ли речь о чем-то типичном только для Италии или вообще для нашего времени.

Впрочем, есть проблемы и поострее.

Справедливо или нет, но в Сардинии к промышленности всегда относились, как к бедной родственнице. В Сицилии дело обстоит иначе. Здесь промышленность хочет играть свою роль в экономике. Однако вопрос об ее финансировании вызывает трения между организациями, проводящими аграрную реформу, и теми, которые проводят индустриализацию на этом крупнейшем острове Средиземного моря.

Dottore В., руководящий чиновник IRFIS — Регионального института по финансированию промышленности в Сицилии, — присоединяется к нашей компании; он посылает *riccolo* * за кофе со льдом для всех присутствующих и бросается в драку. *Primo* **, от сельского хозяйства ждать нечего. Земля Сицилии ни черта не стоит, из нее ничего не выжмешь: *Secundo* ***, потребуются годы, прежде чем вложенные в сельское хозяйство капиталы дадут прирост всего 10 процентов, тогда как промышленность при хорошем руководстве и оснащении современным оборудованием за пять лет даст двойной прирост капитала. *Terzio* ****, сельскому хозяйству никогда не рассосать массовую безработицу в Сицилии, а заводы, построенные в стратегических пунктах скопления незанятой рабочей силы, в короткий срок принесут всеобщее благоденствие, процветание, радость и т. д. ... и да будет так!

* Мальпша (*итал.*).

** Во-первых (*итал.*).

*** Во-вторых (*итал.*).

**** В-третьих (*итал.*).

Запыхавшись, он умолкает. С. подхватывает эстафету разговора с присущей ему унылой интонацией:

— А что ты сделаешь с аграрной традицией острова?

— Чихать мне на нее, с твоего позволения. Неужели ты не понимаешь, что мы живем во второй половине XX века?

Следует длинная фраза, напичканная вводными предложениями, из которой более или менее ясно, что, по его мнению, в Сицилии упор на развитие сельского хозяйства — ошибка. А. — северянин и потому человек в принципе беспристрастный — заявляет о своем категорическом несогласии с таким взглядом. Хотя язык миланца и не столь цветист, у меня такое чувство, будто я заваливаюсь на латинском сочинении. В спор втягиваются все. Он идет на повышенных тонах. Никто не слушает собеседников, но сам старается говорить с выражением. По счастью, кофе с мороженым прерывает этот концерт как раз в тот момент, когда я уже вижу себя свидетелем трех вызовов на дуэль. Ничего подобного. Любезные вопросы о том, сколько кусочков сахара класть в чашку, отмечены печатью самой горячей дружбы; все оскорбления уже позабыты. Оказывается, я неправильно понял; с тоской на сердце возвращаюсь к своим баранам:

— Ну а рабочая сила?

В ней недостатка нет — на этот счет мнения сходятся. Тогда я уточняю свою мысль:

— Но промышленность нуждается в квалифицированной рабочей силе, а на Юге ее нет.

С легким раздражением взрослых, разговору которых помешал баловник ребенок, они поясняют:

— Ее пришлет Север!

Тем самым подтверждается, если в этом была необходимость, что спор идет о принципе, а не о том, какое решение вопроса подсказано жизнью. Они с удовольствием смеются вместе со мной над недоразумением. Я отстаиваю свою точку зрения: Север уже сам жалуется на нехватку квалифицированных рабочих; кроме того, необходимо разрешить проблему безработицы в Сицилии. Они дружно вздыхают:

— Если бы только нам приходилось драться за рабочую силу.

И тут прорывается их разочарование. Они сетуют на себя за то, что верили, увлекались. Обычная сказка: «В Италии все впустую», «бьешься-бьешься, а...». Короче, к своему великому удивлению, я узнаю, что если в Сардинии и Калабрии аграрная реформа дала многообещающие результаты, то в Сицилии она потерпела полный провал.

— Почему?

В учреждениях раздутые штаты: слишком много служащих и мало знающих свое дело. Zавогга утонул в папках. По словам А., сейчас, во всяком случае, уже нет ни одного безработного «руководящего работника».

В первую очередь были пристроены протеже правящей партии. Без протекции члена Христианско-демократической партии или какого-нибудь священника «на хорошем счету у партии» — предупреждаем, есть и не такие — ничего не добьешься. Словом, все сходится на том, что диктатура Христианско-демократической партии заставляет с сожалением вспоминать о фашизме.

— Поймите нас правильно, — вмешивается А., — просто-напросто речь идет о специфике Италии. От того, будет ли у нас завтра коммунистическое правительство или неофашистское, положение не изменится.

Припев хорошо известен:

— Эх! Была бы у нас настоящая социалистическая партия!

— Почему же у вас ее нет?

Они огорченно разводят руками:

— Маh...

Я ухмыляюсь, полагая, что весело шучу:

— И тут не обошлось без мафии?

И поражен, видя, что они соглашаются с моими словами всерьез. Их эта шутка не смешит. Голоса становятся приглушенными. Мои собеседники бросают взгляды на дверь и стены. Можно подумать, будто они сговорились меня разыграть.

— Не собираетесь ли вы убеждать меня, что мафия еще существует?

Теперь уже итальянцы смотрят на меня круглыми от удивления глазами:

— Значит, вы ничего не знаете о Сицилии?

— Единственное, что в Сицилии неизменно вот уже целый век, — это мафия!

— Точнее, могущество мафии....

Я не верю своим ушам. Они пожимают плечами: со всеми иностранцами одно и то же. Ни один не потрудился изучить исторические корни этого явления. Мафия родилась из народного протеста против французской оккупации. Выкованная в сопротивлении иностранцам-угнетателям, вобравшая самые чистые традиции чести, патриотизма, справедливости, она была к тому времени, когда Италия становилась королевством, единственной политической организацией на острове. И молодое государство, укрепляя новую административную власть, естественно, опиралось на мафию. Естественно и то, что позже, укрепив свои позиции, эта же власть пыталась сломить организации тайного общества. Но члены мафии вошли во вкус. Исчезла благовидная цель, но деятельность, так же как и методы, осталась. Люди приобрели привычку к власти и нелегальности. Наверное, с мафией все-таки сладили бы; но нескончаемые политические интриги рождали у той или другой группировки необходимость опереться в Сицилии помимо административной власти еще на какую-нибудь прочную организацию. Как без помощи мафии провести в Сицилии предвыборную кампанию? Как разрекламировать партию? Как организовать высадку союзнических войск на острове? Как управлять этим районом, где жандарм не всегда обладает авторитетом, а главное всемогуществом мафиозо?

— Вы хотите сказать, что в настоящее время...

— Увы. И в наши дни вот уже с каких пор мафия действует независимо, продавая услуги за надежную гарантию неприкосновенности личности своих членов, включая и тех, которые замешаны в тягчайших преступлениях.

Я в недоумении:

— Только сейчас вы говорили о блате, без которого получить место, работу, даже заключение по какому-либо делу просто невозможно. Являются ли

рекомендации мафии более вескими, чем рекомендации Христианско-демократической партии?

Крик трех сердец:

— В равной мере.

Откашлявшись, С. уточняет:

— Ну в девяти случаях из десяти.

Допустим! Но что же такое в сущности мафия? Единственное тайное общество, глава которого во избежание доноса встречается с рядовыми членами без свидетелей. Единственное тайное общество, уставы которого не зафиксированы на бумаге, заучиваются наизусть и неукоснительно соблюдаются. Единственное тайное общество, наступательным оружием которого является преступление, а оборонительным — *omertá* — молчание. Единственное общество, достаточно сильное, чтобы публично смиряться перед существующей властью, ведущей с ним борьбу. (Когда судья, сицилиец, разоблачил ее преступления в римском журнале, глава мафии в знак смирения поцеловал ему руку: настоящий путь в Каноссу — добровольное самоуничтожение, которое лишь повысило уважение к мафиозо.) Единственное тайное общество, которое вербует порок, использует его и в то же время служит ему. С одним «ф» или с двумя — мафия это мафия.

Из всех санкций чаще всего она прибегает к умерщвлению. Безоговорочное послушание. Подвергаясь террору сама, она сеет его вокруг. Никакой высокой цели, одно-единственное стремление — и впредь спокойно эксплуатировать Сицилию и ее жителей. Вокруг всего этого ритуал церемоний, которые никто не решается поднять на смех. Организационно мафия строится по иерархическому принципу, практикуя пышные наименования, как, например, *onoratá Societá* (почтенное общество), *pontefice massimo* (верховный жрец), которого старики, допускающие в интимной обстановке почтительную фамильярность, называют *zio* (дядя).

Западная Сицилия — настоящая вотчина мафии; Палермо, Трапани, Агридженто, Кальтаниссета, Фавера — центры ее активности. Называется ли она *onoratá Societá*, *oblonica*, *mano fraterna* (братская рука) или *code piatte* (плоские хвосты) — предлог

всегда один: охрана традиций честности, мужества и гостеприимства. Громкие слова, за которыми кроются вымогательство, грабеж, эксплуатация, незаконное лишение свободы, насилие и преступление.

Отличительный признак — берет — *il beretto*. Мафиозо считает себя человеком респектабельным, что дает ему основание претендовать на известный авторитет и вести праздную жизнь за чужой счет. Беда тому, кто, проходя мимо, не поприветствует его традиционным *rispettamù!* Непокорные знают, какой опасности они себя подвергают. Рано или поздно в открытом поле они услышат сакраментальное приглашение «лицом к земле». Они повинуются — раз мафия устраивает засаду, значит, сила на ее стороне — и пассивно дадут отметить себя клеймом, изувечить, зная заранее, что сопротивление абсолютно бесполезно; оно лишь ухудшит положение и навлечет беду на родственников.

Ренато Кандидо, посвятивший мафии целую книгу*, дает ей такую характеристику:

«... Груз тайного страха, который человек, известный своими преступлениями или грубой силой, взваливает на слабых, робких и миролюбивых...»

Автор пишет без обиняков. По его мнению, образцовому мафиозо присущи такие качества, как преступная молчаливость, ложная смелость, наглое двоедушие, предательство даже по отношению к близким, противопоставление себя всем нравственным и гражданским законам.

Спору нет, есть в *onoratá Societá* и смелые люди, но чаще всего в нее входят те, кому милей засада и удар кинжалом в спину.

Труднее всего принять совершенно спокойный тон, которым вам рассказывают о мафии. Ее вымогательства составляют неотъемлемую часть повседневной жизни, такую же, как град, налоги, болезни, грозы — люди, вздыхая, смиряются: «такова жизнь!»

Один промышленник признается, вне себя от счастья:

— Мне просто повезло. Свояк одного моего работника рекомендовал мне своего приятеля — мафиозо.

* «*Guesta Mafia*». Изд. Salvatore Sciascia, Кальтаниссетта.

Я нанял его сторожем. Правда, он ни черта не делает. Но одного его присутствия достаточно — я избавлен от неприятностей. Торговец рыбой, которому мы подносим стаканчик, объясняет:

— Он приходит утром вместе с первыми покупателями. Ты не решаешься смотреть ему в глаза. Он забирает себе рыбу, которую я откладываю для него, после чего читает газету возле лотка и «защищает» меня до конца базара.

В самом деле, недорогая плата за спокойствие и возможность работать без страха.

Один адвокат рассказывает нам под конец обеда:

— У меня гостила чета друзей-туристов. Едва они ступили на землю Сицилии, как у мужа украли портфель. Он хотел пожаловаться в полицию, но я попросил его потерпеть сутки, пошел к «их человеку», которому мне случилось оказать услугу. Тот повел меня в большой дом, где нас принял немолодой, очень корректный мужчина и, не проронив ни слова, выслушал мою жалобу. В конце беседы он просто моргнул. Мы ушли. На следующее утро мне понадобилось только сходить за портфелем друга.

Один мой коллега из Флоренции, поселившийся в Монреале и знавший Джулиано, собрал доказательства, свидетельствовавшие о том, что этот знаменитый бандит был убит вовсе не полицией, а просто-напросто во время сна — своим лейтенантом, действовавшим по приказу мафии.

— Я подготовил с десяток сенсационных статей, — говорит он. — Главный редактор газеты пришел в восторг. Затем в один прекрасный день, когда я был в его кабинете, позвонил «некто». «Не стоит этого печатать». Мол, сюжетов для репортажей и без того хоть отбавляй. Нам будут очень признательны. Разумеется, мы оставили свою затею, лишь бы не навлечь на себя бесчисленные неприятности.

Официант кафе с гордостью признается мне, что «служил в армии Джулиано, чтобы свободная Сицилия стала еще одной звездой во флаге Соединенных Штатов».

— Но это абсурд! — восклицает Лилла.

Тот пожимает плечами:

— Разумеется. Но зато красиво, как идеал!

Этот же официант возвращался с полуострова, набив чемодан контрабандными сигаретами. «Жить-то надо!» Когда он спускался с трапа, финансовый инспектор сделал ему знак, увел с собой и, проверив содержимое чемодана, конфисковал его. Бедняга с отчаяния пошел повидать «кого следует» и рассказал о своем злосудии. Тот снял телефонную трубку и произнес всего два слова: «Пострадавший — друг». После чего контрабандисту оставалось только сходить за своими сигаретами.

В общем, до сих пор нам рассказывали о своего рода «среде» проказников и о никчемной, но действительной опеке, осуществляемой в корыстных целях.

Но это еще не все. Мафия негласно контролирует торговлю. С нею не спорят. Неизвестно каким образом на овощи, фрукты, рыбу, мясо устанавливается определенная цена. Беда тому, кто ее не придерживается. Самое меньшее, в виде предупреждения, ему грозит взбучка и уничтожение товара. Нередко мафия применяет бомбы. Да. Так действуют и американские гангстеры, с которыми нас познакомило кино. Ведь известно, что многие главари заатлантических шаек родом из Сицилии. В 1909 году США даже откомандировали Джузеппе Пестрони, одну из своих самых проникательных полицейских ищеек, изучить предполагаемые филиалы американской черной руки на средиземноморском острове. Полицейского пристрелили сразу по прибытии прямо на пристани, хотя он явился инкогнито. И никто, абсолютно никто ничего не заметил, такая это была чистая работа.

Разумеется, почтенное сообщество не отказывается и от убийства: в тот день, когда Джулиано, самый знаменитый мафиозо, решил, что настал момент летать на собственных крыльях, он был без дальних слов приговорен к смерти. Единогласно. Ведь эти господа выдают себя за демократов. Плевков на землю заменяет поднятие руки при голосовании. Все тот же Кандидо описывает совещание главарей мафии, на котором обсуждалось поведение разбойника, нарушившего правила игры.

— Свинья! — сказал один beretto storto (берет, надвинутый на глаз), бросив окурочек сигары и растоптав его — жест, смысл которого ясен.

— Падалы! — подтвердил второй, сплевывая на землю. Тогда третий, самый высокопоставленный, подвел черту:

— Итак, мнение одно.

Помимо «опеки» и других не очень обременительных по сравнению с устройством засад и кражами занятий ради наживы, мафия охотно занимается похищением людей и незаконным лишением их свободы. Приоритет не за киднапперами*. Только всем уж очень хорошо известны ее проделки, и мафиозо редко представляется случай отдаться излюбленному спорту. Жертва после первого же угрожающего письма, не колеблясь, авансом уплачивает выкуп или, если она сумела «обеспечить себя связями», прибегает к их помощи.

Само собой разумеется, все это возможно лишь в силу двух причин. Прежде всего, жители острова относятся к властям вообще и к полиции в частности как к врачам, к тому же бессильным. Затем, какими бы ни были пережитое горе или понесенный урон, честь требует не выдавать виновного, а расправляться с ним самочинно. И в этом случае закон молчания — *omertá* соблюдается чего бы это ни стоило.

Одна история, вычитанная в «*Questa Mafia*», особенно поразила меня. Только что убили человека. Начальник полиции приступает к допросу вдовы, кормящей грудью ребенка. Несмотря на горе, она остается бесстрашной и неумоимо твердит одно: ничего не знаю, ничего не видела. И только время от времени дрожащими губами просит разрешения в последний раз поцеловать покойного мужа. Но полицейский выдерживает характер. В конце концов женщина взрывается:

— *Maresciallo*, может, вы и выполняете свой долг, но только вы попусту тратите время. Вот единственный мужчина, который знает, кто убийца.

И она показала рукой на сосущего грудь младенца.

Когда читаешь, что в 1931 году дон Витторио Кало из Монреале, в течение десяти лет бывший главой мафии, предстал перед судом по обвинению в 39 убийствах, 37 вооруженных нападениях с целью

* *Kidnapper* (англ.) — похититель детей.

грабежа, 6 попытках убийства, 63 вымогательствах, 36 кражах, 13 грубых насилиях и 8 случаях нанесения ущерба, кажется, что это не явь, а сон. Многовато для одного человека. До него в 1926 году Кашо Ферро Вито из Палермо был осужден за 20 убийств, 8 посягательств на жизнь, 5 вооруженных нападениях с целью грабежа, 37 вымогательств и 53 других мелких преступления.

Но что за важность, если один pontefice massimo устранил. Мафия изберет себе другого! Этого места домогаются, и в народе по-прежнему считают, что тот не мужчина, кто не имел дела с правосудием. Одна мать, узнав, что ее сына били, а он не защищался, воскликнула:

— Несчастный! Если ты не отсидишь двадцати лет в тюрьме, пока молод, то когда же еще?

Муссолини воспринимал мафию как ущемление личной власти. Рассказывают, что однажды, когда он посетил какую-то деревню, мэра, сопровождавший дуче, неодобрительно отнесся к необычному скоплению полицейских, выставленных для охраны особы диктатора:

— Пока я тут, вам нечего бояться!

Тогда взбешенный дуче предпринял знаменитую операцию Мори. Единственным ее результатом был рост эмиграции в США. С той поры американское правительство неоднократно выпроваживало нежелательных гостей, в их числе Лаки Лучано. Говорят, что, прижатый в Штатах налогами, он сумел вернуться на родину и обеспечил связь между высадившимися в Сицилии войсками союзников и тогдашним главой мафии доном Калоджеро Виццини. Как бы там ни было, после войны ссыльный репатриант живет не хуже паши в резиденции, охраняемой полицией.

Мафия спекулирует на суеверии и невежестве народа. Она заходит дальше, чем полагают. Чтобы держать в повиновении деревню Монталлегро, мафиозо изготовили нечто вроде деревянного цилиндра, выкрасили его в темно-серый цвет и тайком подняли на возвышающийся над деревней холм. Они распространили слух, будто это пушка, и при малейшей непокорности мафия обстреляет дома. В течение

двадцати лет к жителям деревни являлись эмиссары:

— «Госпожа-пушка» проголодалась!

И крестьяне платили.

Можно ли понять жизнь Сицилии без мафии? Как без этой страшной угрозы, нависшей и над бедными, и над богатыми, объяснить тесное соседство здоровой кожи с открытыми ранами, выставленную напоказ роскошь и позорные трущобы, набитые животы и ввалившиеся щеки, эрудитов и неграмотных? Я знаю, что подобные контрасты есть не только здесь. Но в Сицилии они предельно обнажены — до бесстыдства, возмущая и едва не заставляя нас предпочесть ей те общества, где противоречия лицемерно прикрыты, где порок платит дань добродетели*. Нигде тебя не коробит так, как здесь, где противоположности полярны, вопиющи. Как будто бы вам говорят: вот так; устраивает вас это или нет — цена одна.

Резкие контрасты. Ослепительный свет. Серые камни. Пышные сады. Прохладные тени. Обильно политая, на диво зеленая лужайка. А проедешь сто метров — женщины в черном покорно стоят в очереди у фонтана, чтобы набрать ведро воды. Служащий из аппарата местного самоуправления** заверяет меня, что достаточно проложить четыре километра труб, и Палермо можно затопить водой. Увы, годами обсуждение этого вопроса сводится к мелочным спорам и бесплодным дискуссиям. Мой собеседник тоже вздыхает:

— Вода для поливки огородов и фруктовых садов, снабжающих рынок, — одно из самых мощных орудий «тех», кто диктует рыночные цены на овощи и фрукты.

В припадке святой ярости он ударяет кулаком по столу и восклицает:

— Кризис в Сицилии — это прежде всего кризис правящих классов!

Накануне мои собеседники утверждали то же самое.

* Выражение, принадлежащее не мне, а Ларошфуко, моему собрату по перу.

** Вот уже около десяти лет, как Сицилии, подобно Сардинии, Альто-Адидже и Валь д'Аосте, предоставлено местное самоуправление.

Единственный выход из разногласия между сторонниками интенсивной помощи сельскому хозяйству и сторонниками усиленного финансирования промышленности — выделение средств в первую очередь на общественные работы.

— Вот увидите, к чему это приводит, *signore*, — круговая порука, саботаж, все, что угодно. Подрядчики — монополисты, увы, всегда одни и те же — нажили себе целое состояние. А выполненные работы уже теперь нуждаются в переделке.

В самом деле, я уже имел случай убедиться в этом — на новой дороге вокруг Агридженте каждые пять-шесть метров попадаются глубокие выбоины; по шоссе, ведущему в Кальтаниссетту, ехать невозможно.

Один служащий сообщает мне данные и цифры, заведомо подтасованные. А когда я ловлю его на обмане, он не спорит, цинично заявляя:

— Тут обращаются миллиардные суммы. Надо все-таки следить за тем, чтобы они не попадали в карманы голодранцев, которые не знают, на что их употребить. Ведь в конце концов, *caro autore**, на нас возложена историческая миссия.

Прежде чем покинуть этот город, отвращения к которому я не скрывал с самого начала, мне хотелось бы посвятить несколько строк одному человеку — Данило Дольчи. Всякий раз, когда я произносил это имя, мои собеседники усмехались. Это *morto di fame*** , жадный до рекламы, аферист, опасный безумец. Приехав в Сицилию с Севера, он утверждал, что политически абсолютно независим, а потом вскрылась его принадлежность к компартии — и сколько добрых людей, которые его поддерживали, помогали ему, материально и советом, было скомпрометировано. По общему мнению, этот мечтатель причинил одно лишь зло. Более того:

— Во что вмешивается он, этот северянин? Как будто бы мы без него не можем обойтись.

Только один человек, сицилиец, вздохнув, сказал:

— Его вина только в том, что он одинок.

* Дорогой писатель (*итал.*).

** Тщеславный человек (*итал.*).

Разумеется, я не мог цифру за цифрой проверить данные, сообщенные Данило Дольчи в его «Расследовании в Палермо», но, читая книгу, находил в ней собственные впечатления. Мне было все равно, к какой политической партии он принадлежит. Этого человека возмутило, причем необычайно сильно, то, что и во мне вызвало ужас. Я хотел с ним встретиться; мне отвечали, что он исчез.

— Положил в карман семнадцатимиллионную Ленинскую премию — и «поминай как звали».

Несколько недель назад мое внимание привлекла статья о Дольчи в одном парижском еженедельнике. Я позвонил ее автору — он видел Дольчи; не доверять его словам у меня нет никакого основания. Этот человек — настоящий человек. Семнадцать миллионов целиком ушли на различные предприятия, основанные им для помощи беднякам.

— Поезжайте в Партинико и посмотрите, как он живет,— сказал мой парижский коллега в заключение.

Я не колеблюсь между этими «за» и «против», с каким бы пылом они ни произносились. Я за Дольчи. Даже если бы вся его заслуга заключалась лишь в том, что он взял на себя почин; даже если бы она была лишь в том, что он познакомил другие страны с этим распространенным в Италии словом, не имеющим французского эквивалента: *nullatenente*. *Nulla* — значит ничего, *tenente* — владелец, собственник. Словом, ничем не владеющий. И *nullatenente* — несчастный на стадии предельного обнищания. Именно этого человека и взял под свою защиту Данило Дольчи.

Уф! Выехав на дорогу, вдыхаю полной грудью. Предместья Палермо красивы и богаты. Глядя на холмы и зеленеющие вершины, обманываешься насчет вида самого города. Первый этап пути — *Piana degli Albanesi*, Албанское плато. Этнографический островок. Постепенно в обиходе оно было переименовано в *Piana dei Greci* — Греческое плато. Но Муссолини восстановил историческую правду, впрочем, лишь приблизительную. В действительности речь идет о бывших жителях Морей, то есть Пелопоннеса, южной

части Балканского полуострова. Посягательства турок сближали их с албанцами, несмотря на разницу происхождения. Отсюда у них и общий герой — Георгий Кастриот, прозванный Скандербегом. Освободив свою родину, он стал появляться всюду, где возникала необходимость бороться с притязаниями турок. После смерти Скандербега и восстановления ислама из Мореи началось массовое бегство. Первая организованная партия эмигрантов переселилась в Пьяна в 1500 году. К ним присоединилось несколько одиночек, уже находившихся в Контессе. Они сохранили родной язык, передавая его из поколения в поколение, свои обычаи и традиции, так как справляли праздники и придерживались православного церковного ритуала; они сохранили мучительную тоску по родной Морее, которую большинство из них не знало. Первого мая, в день поминовения усопших, они еще до сих пор поют:

Прекрасная Морея, которую мы не видели со дня разлуки...*

Почва на этих возвышенностях бедна. Сыр, растительное масло, вино, трава. В скудных количествах. Конечно, люди покидают эти места, эмигрируя на полуостров или дальше. По утрам мужчины отправляются на работу, а женщины остаются домовничать. Если их и увидишь в поле во время жатвы, то лишь потому, что они приносят мужчинам еду.

По праздникам эти дамы наряжаются в традиционные костюмы. Поверх красной юбки — цвет албанского национального флага — легкий прозрачный передник темного цвета: траур по Скандербегу. Лиф тоже красный, но блузка с широкими рукавами — белая. Золотые украшения с выгравированным черным орлом; широкий серебряный пояс и медальон с изображением святого. В торжественных случаях они покрываются кружевным шарфом голубого цвета. Зеленое — знак траура... или свадьбы.

Разве бегство в прошлое — удел только тех народов, которые несчастливы?

* Греко-албанские островки существуют также в Калабрии, к северу от Козенцы.

Пыльные, выжженные солнцем улицы малолетних. К нашей машине подходит мальчик, разглядывает ее номерной знак и... заговаривает с нами по-французски. Его отец работал шахтером в районе Ланса. Ему было тогда шесть лет, и он ходил во французскую школу. Когда он вырастет большой, то вернется во Францию и будет посылать домой деньги. Как же они очутились в Piana degli Albanesi? Оказывается, его отцу предложили работу в каменоломне. Только подрядчик в один прекрасный день сбежал, не уплатив рабочим. Пока парнишка — ему лет двенадцать-тринадцать — это рассказывает, глаза его становятся грустными и покорными, словно речь идет об одном из тех стихийных бедствий, против которых человек бессилён... Он добавляет фразу, заставившую нас содрогнуться — ведь ее произносит ребенок:

— Во Франции папе тоже однажды не заплатили. Но если там не уплатят, можно перебиться. А здесь у вас не остается ничего другого, как плакать.

Такой крик души, уже известный нам, мы слышим опять почти слово в слово час спустя в единственном в этих местах кафе-ресторане. Рабочие, с которыми мы завязываем беседу, расхваливают «сезон» во Франции. Один из них рассказывает, что в последний раз, когда он там был, ему не заплатили. И все-таки он умоляет:

— Мсье, пожалуйста, замолвите за меня словечко консулу, пусть мне разрешат вернуться во Францию.

Лилла удивляется, что после такого горького опыта у него еще не пропало желание ехать туда. И тут мужчина, малорослый, сморщенный, скрюченный, чтобы негде было разгуляться усталости, повторяет фразу, сказанную до времени состарившимся мальчонкой. Среди рабочих находится также один северянин, он слушает, не участвуя в беседе. Сицилийцы говорят тихо. В их поведении, разговоре сквозит какая-то нерешительность, неуверенность. Они невзрачны в своих драных одеждах, напаяленных, несмотря на июньскую жару. Чувствуется, что они с рождения привыкли бояться. Один лишь взгляд на миланца, стоящего рядом с ними, наводит на горест-

ные размышления. Он квалифицированный высокооплачиваемый монтер, приглашенный в Сицилию для установки насосов плотины. Его твердый заработок почти вдвое больше заработка «местных». Кроме того, он получает подъемные, командировочные, а когда его что-нибудь не устраивает, просто-напросто угрожает отъездом. Он высокий, сильный, в рубашке с короткими рукавами, и уже одна манера держать сигарету говорит, что он имеет право на сигарету, что она — не роскошь, которая ему не по карману. Больше всего меня стесняет взгляд его живых, умных глаз, старающихся поймать взгляд моих. И поняв, зачем я расспрашиваю, на какой-то миг он выражает удивление, потом внезапно омрачается — этот человек тоже почувствовал жалость и возмущение.

Самый молодой из сицилийцев уже женат, и жена его беременна. Он зарабатывает 32 тысячи в месяц — когда есть работа; жилье обходится ему в 18 тысяч!

Возвращаясь в машину, мы уже не задаемся неизменным вопросом: как они умудряются жить?

Природа становится неприветливой. Земля негостеприимна. Человек тут чужой. Поэтому он здесь и не селится. Несколько деревень на большом расстоянии одна от другой. Ни одного города на всем нашем пути через остров — от Палермо до Агридженте. Но в отличие от Сардинии повсюду следы присутствия человека, даже на иссохшей до третины земле.

Воды нет. Скалы. Камни. Там и сям робкая, но такая волнующая попытка обработать почву, говорящая об отчаянных усилиях крестьян сберечь эту землю, принести ей пригоршню воды. Невольно спрашиваешь себя: где же обитает земледелец? В десяти, двадцати километрах отсюда — вон в той, взгромоздившейся на бугор деревне, которую не сразу отличишь на фоне неба — такого неизменно синего, что кажется, будто оно высокомерно игнорирует людские слезы.

Жалкие дома из камня, глины. Солнце обожгло все стены, камни, скалу и дорогу. Куда ни глянешь —

всюду одно и то же. Деревни трудно отличить одну от другой, как их трудно отличить и от камней. На каждой пяди земли, на каждой хижине печать года. Словно в страхе перед человеком и стихиями, житель этих мест добивался такой схожести, маскирующей его существование среди бесплодной природы. И кактусы. Повсюду вдоль дороги эти пыльные кактусы, подчеркивающие негостеприимный характер местности. Изредка встретишь колокольню, нарушающую однообразный рисунок крыш, или одинокого всадника, медленно передвигающегося на изнуренном коне с ружьем поперек седла. Потому что и сегодня еще, отправляясь в поле, земледелец берет с собой ружье. Некоторых из них я спрашивал:

— Зачем вам ружье?

Редко спрашиваемый обращал на меня свой взор. Ни один из них не ответил мне. Их лица с резкими чертами казались изможденными, глаза блестели.

Следует сказать, что сицилиец продаст все до последней корки хлеба, лишь бы купить себе оружие, пусть это будет простой нож с защелкой. Ему надо чем-то драться. Когда встречаешь их, затерявшихся в этом бесплодном крае, чувствуешь, что они начеку. В их взгляде такой же страх, какой замечаешь в глазах животного, когда оно повержено, обессилено, загнано. Что за осанка у наездников! Даже если их лошадь еле переставляет ноги. Но стоит им сойти с коня, и чары пропадают. Низкорослые, в одежде, придающей им сутуловатый вид, отягощенные карабином.

Указателей на шоссе мало или нет совсем. Приходится спрашивать дорогу. Прежде чем дать ответ, вас молча испытующе оглядывают. Здесь не очень привыкли разговаривать, в особенности с иностранцами. Спрашиваемые едва приоткрывают рот, и их гордость уступает место какому-то смущению. Путанные жесты. Правая рука тянется показать, что надо повернуть налево. Глаза часто моргают — и их беспокойство передается вам. Бедные, бедные люди.

При виде Фаверы, аванпоста Агридженте, у нас вырвался вздох облегчения, как у путешественников, караван которых миновал пустыню. Но, очутившись в Фавере, мы возмущаемся грязью, бедностью до

мов и улиц этого крупного населенного пункта. Фавера — колыбель гостеприимства — похваляется тем, что удерживает печальный рекорд по убийствам из кровной мести. Королева здесь, бесспорно, вендетта. Она правит рука об руку с мафией.

Вопреки сложившемуся представлению, город Агридженте стоит не у моря. Любуясь собой, он расположился на возвышенности, лицом к Средиземному морю, от которого его отделяют участки плодородных земель и знаменитая Долина Храмов. Следует признать, что эти руины, гордые своей победоносной борьбой с объединенными разрушительными силами — временем, песком и ветром, — великолепны. Дально-видная администрация по вечерам освещает их с превосходным вкусом. К сожалению, «электричество стоит дорого, а мы так бедны...»

Здесь бедняк молчит. Из гордости. На нищету жалуется богатый. Остатки давних суеверий. По всему Среднему Востоку свирепствует страх перед сглазом — *malocchio*, *jettatura*, *jella*.

Мы избрали себе пристанищем небольшую гостиницу на берегу моря. Ее хозяин — маленький человек, толстый, желчный, с грушевидным животом, предметом его огорчений.

Лилла утверждает, что он мафиозо. Глядя на него, невольно думаешь: «Он слишком вежлив для честного человека».

Однажды утром мы собрались купаться. В табличке, вывешенной на купальне, указана такса: кабина — 400 лир; место в кабине — 100 лир. Просим два места. Мальчик-кассир хладнокровно отвечает, что все «общие» кабины заняты. Желая утихомирить кипящий во мне гнев, я оборачиваюсь и бросаю взгляд на пляж — он безлюден. Лишь какая-то женщина в откровенном купальнике бикини принимает солнечную ванну. Еще сдерживаясь, спрашиваю: — Словом, вы хотите вытянуть из нас 800 лир вместо 200?

Он не успевает ответить. Как обычно, одного звука моего голоса достаточно, чтобы порох взорвался. Я убегаю, пока еще не свернул шею этому начинающему мафиозо. Хозяин отеля рассыпается в любезностях. Лилла объясняет ему причину моего бешенства.

Он принимается заламывать в отчаянии руки, демонстрируя свою скорбь, и взывать к пречистой деве и святым.

— О мадонна, почему, ну почему мы обязательно поступаем так гадко, чтобы все иностранцы нас ненавидели?

Он зовет на помощь жену. Вдвоем они нежно посылают нас на берег морского каналчика, торжественно называемый «частным пляжем отеля», приглашая «удовлетворить свое законное желание». Голосом, срывающимся от переполняющих ее эмоций, хозяйка отеля кричит нам вдогонку:

— А после купания примите душ!

Преисполненный братских чувств к людям, хозяин превосходит хозяйку:

— Вода обходится дорого, но это ничего!

Под скрюченными пальцами наших ног — ни песчинки, только гнилые морские водоросли, отбросы и полный набор острых камней. У нас уже пропало всякое желание купаться, и мы проклинаем ту роковую минуту, когда поделились с этими людьми своими переживаниями. А те следят с террасы за нашим маневрированием полными слез глазами родителей, которые лезли из кожи вон, чтобы купить пару носков ребенку, требовавшему электрический поезд. Сдерживаясь, чтобы не закричать от боли, мы передвигаемся прыжками и наконец окунаемся в гнилую воду.

Назавтра, в день нашего отъезда, хозяин и хозяйка не показываются. Портье, именуемый «секретарем», протягивает нам счет. Снова у меня перед глазами взмахнули красным плащом, и в один прыжок я оказываюсь в Туристическом бюро, где заплаканный господин выслушивает мои сетования:

— За номер, окончательная стоимость которого по таксе 1800 лир, в счете проставлено 2400, плюс налог и обслуживание. Питались мы по общему меню, потому что выбора не предоставлялось, а еда вписана в счет блюдо за блюдом.

Он делает вид, что изучает бумажки, ломает руки, в свою очередь взывает ко всем святым и, спустившись на землю, заключает:

— Признайтесь, синьор, что это недорого!

— Дорого или не дорого, но это мошенничество!

— Издержки, синьор, издержки...

Тогда я указываю ему на допущенный хозяином отеля промах — предел его бесстыдства. Уверенный в поддержке приятелей из Туристического бюро, он дошел до того, что начислил себе 15 процентов платы за услуги сверх суммы налога. Непростительная оплошность, если у постояльца скверный характер вроде моего. Волей-неволей господин регистрирует мою жалобу, и я уезжаю, с любопытством ожидая, к каким официальным последствиям приведет мой демарш.

Три месяца спустя получаю письмо. Расследование показало, что в самом деле «секретарь» злоупотребил доверием хозяина. Вышеупомянутого «секретаря» прогнали с работы. Разумеется, о возврате денег ни слова. Не откладывая, я облегчаю душу заказным письмом. Недавно мною получено последнее «официальное» послание: право, это прискорбный инцидент, но «самым неприятным было констатировать, что, кажется, я на них сержусь» *.

Мафия всегда вооружена. В данном случае она действовала обезоруживающе.

Прежде чем покинуть район, нам остается посмотреть, как добываются каменная соль и сера, а также посетить дом Луиджи Пиранделло.

Каменная соль добывается как нельзя более просто. В горе прокладываются подземные штольни, вырытую породу подают на-гора: она-то и есть предмет добычи. Ни тебе поэзии, ни романтики, ни обливающихся потом, закованных в цепи, подгоняемых хлыстами рабов. Плохо оплачиваемые рабочие лениво движутся под глянцевитыми сводами. Заряд динамита, далекий взрыв. Тарахтя мотором, проезжает грузовик. Мы следуем за ним. Галереи располагаются одна над другой и спиралью входят в ископаемую соль. Источником света служат фары. Люди ждут с лопатами в руках; насыпают полный

* Деньги не возвращены мне и по сей день, хотя уже прошел год. Гостиницы Сицилии находятся под надежным покровительством.

кузов, и машина возвращается к пароходу, стоящему под погрузкой в Порто-Эмпедокле.

Небольшая справка: в Италии продажа соли является монополией государства. Население покупает ее у «торговцев табаком». «Sale e tabacchi» * — читаем на вывесках. Однако Сицилия — район, где добывается соль, — сохранила свободную торговлю этим продуктом. На острове она стоит от 2 до 10 лир килограмм, на 60 процентов дешевле, чем на материке. Отсюда прибыльность контрабанды. Мне рассказывали о вдове, оставшейся после смерти мужа без средств. Она стала совершать поездки из Мессины в Реджоди-Калабрия и обратно. Таможенники знали все, но закрывали глаза, придерживаясь знаменитого принципа: *Lasciamoli campra'!* Эта мелкая подпольная торговля контрабандным товаром в открытую продолжается добрых пятнадцать лет. Досужие финансовые чиновники подсчитали, что одна только бравая старушка уже перевезла такое количество соли, которым можно было бы загрузить целый товарный состав.

С серой дело обстоит сложнее.

Еще недавно она была источником богатства острова. И вдруг американцы стали навязывать Италии свою серу. В Новом Свете сера добывается открытым способом — ее пласты выходят на поверхность земли. В Сицилии же за ней приходится спускаться все глубже и глубже. Поэтому США могут возить ее через океан и тем не менее продавать по цене, которая вдвое ниже себестоимости серы, добытой на месте. И шахты были закрыты. Но что делать с рабочими? Правительство пошло на уступки и выдало субсидии. Шахты снова открылись. Так что, благодарение господу, хозяева, несмотря ни на что, кладут в свой карман барыши — быть может, и не бог весть какие, но вполне приличные. Что касается шахтеров, то благодаря этому компромиссу они могут по-прежнему заниматься своей отнюдь не единственной вредной работой, применяя допотопные методы добычи. Сегодня, когда угроза закрытия шахт ликвидирована, каждый встречный и поперечный упрекает их

* «Соль и табак» (итал.).

в том, что они живут на иждивении у общества, хотя еще вчера они были предлогом для призывов к человечности. А за этой стыдливой дымовой завесой владельцы шахт, покорившись судьбе, подсчитывают доходы и вздыхают: *contenti amosi!* (будем довольствоваться малым). В своем кругу они прыскают со смеху, повторяя довольно простой подсчет: закрыв раз и навсегда шахты и выплачивая ежедневно по тысяче лир пособия безработным шахтерам, государство сэкономило бы 30 процентов субсидии.

К северу от Кальтаниссетты мелкая желтая пыль покрывает апокалиптический пейзаж. Случайные постройки, шаткие, залатанные, торчат на склоне горы, наподобие булавочных головок, воткнутых в подушечку. Это *derricks'ы** «бедных».

Вооруженный сторож, допросив нас, с недоверчивым видом возвращается к себе в сторожку звонить по телефону. Он пропускает нашу машину, но с подозрением смотрит ей вслед.

Перед строениями, возведенными в низинке, нас тотчас же окружают рабочие — человек двадцать, — бригада, отработавшая дневную смену час тому назад и ждущая выплаты жалованья. Кассир еще не встал после съесты. Грустная любезность, глаза, в которых французский номерной знак рождает проблески тоски по дальним странам.

Грязная контора, изнуренный персонал. Больной инженер не решается дать нам разрешение на осмотр шахты. Надо вооружиться терпением — директор отдыхает после обеда. Я достаю пачку французских сигарет и угощаю. И пока ее не раскурили, дверь беспрерывно открывалась, пропуская новых людей, вошедших как бы случайно. Затем один из них подбирает голубую обертку, оставляя ее себе на память. Они затягиваются и рассматривают сигарету так, словно видят ее впервые. Один рабочий посмелее спрашивает, сколько зарабатывает шахтер на добыче серы в Париже. Он очень удивлен, что образованный синьор этого не знает. Внезапно будто порыв ветра развеял сонную конторскую атмосферу. Люди торопливо входят и выходят. Неизменный мальчонка

* Буровые вышки (англ.).

на побегушках проходит с чашкой кофе на подносе. Инженер поднимается:

— Директор проснулся.

Десять минут спустя он возвращается:

— Разрешается осмотреть наземные сооружения.

Спускаться в шахту категорически запрещено.

— Почему?

— Мах...

Такое объяснение, лишённое ясности и аргументации, никого не убеждает. Это сопряжено с риском? Я напоминаю ему, что только сейчас он утверждал, будто их оборудование самое современное на острове и рабочим уже не грозит опасность. Он устало поправляется:

— Практически опасности нет.

— Так в чем же дело?

— Все мы под богом ходим.

Впоследствии мне подтвердили, что эта шахта действительно одна из тех, которые оснащены современным оборудованием несколько лучше. Святой боже, как же должны выглядеть другие?! В этих тучах мельчайшего желтого порошка виднеется хаотическое переплетение стоек и балок, связанных канатами, напоминая рисунки механизмов, на которых веревки поддерживают трубы на стыках. Куда ни взглянешь — всюду созданные человеком горы пыли в форме усеченного конуса, строения; и все это наводит тоску, гнетет своим удручающим безобразием. Дыры в земле. Одни служат печами, другие — хранилищами. Везде, везде этот желтый порошок, рассыпанный или сваленный в кучу. Смехотворно обесцененное богатство, ради которого выбиваются из сил зачисленные в профсоюз каторжники.

Инженер останавливается, хочет перехватить наши взгляды.

— Ничего интересного, правда ведь? — спрашивает он (напоминая этим монаха с лихорадочно возбужденными глазами, водившего нас осматривать церковь Сан-Хаун де Диос в Гренаде. Стоя возле целого клада изделий из золота и серебра, он тоже допытывался «Нравится вам? Нравится?», как будто отрицательный ответ избавил бы его от какой-то тревоги).

Инженер закончил свое дежурство и собирается ехать домой. Ему с нами по пути, но наше предложение подвезти его он отклоняет. «Доберусь на служебном автобусе, который отправится через час». Поколебавшись, он окончательно отклоняет наше предложение:

— А то еще подумают, что я вам все выболтал.

Как будто и без того трудно догадаться о тех постыдных вещах, о которых он мог рассказать!

Дом Пиранделло стоит где-то между Агридженте и Порто-Эмпедокле. Каждый слышал о нем. Но никто не может точно указать его местоположение. Наконец мы обнаруживаем недавно проложенную дорогу длиной в триста-четыреста метров: она ведет к старому пустующему зданию из камня, ветхому, с заколоченными ставнями. Это и есть дом Пиранделло.

— Осторожней,— предупреждает нас сторож,— не наступайте на пол. Он еще не починен.

В рабочем кабинете единственный предмет обстановки — урна. В ней хранится прах писателя. Давая пояснения, сторож говорит приглушенным голосом:

— Вы иностранцы? Тогда я могу вам сказать: маэстро был безбожником. Он велел себя сжечь. Ему этого никогда не прощали. Никогда.

Он глубоко вздыхает и, проникшись к нам доверием, предается знакомой философии:

— Эх! Ничего удивительного. Хватит того, что не веровал в бога всю свою жизнь. Но на смертном одре, в час, когда готовишься предстать пред судом божьим, можно бы и обратиться к вере. Какого черта! А он — не пожелал!

Сторож восхищается подобным упорством, но сожалеет о нем.

Появляются молодожены, совершающие свадебное путешествие. Муж, горячий поклонник драматурга, завязывает разговор, но устраивает так, чтобы жена не слышала его слов. У нее замкнутое, упрямое лицо человека, который не ждет добра от посещения безбожника. Она остается ледяной, даже когда супруг пытается ее растопить:

— Вот видишь, моя бесценная, мсье подтверждает, что в Париже Пиранделло считают одним из великих писателей нашего века.

Сторож долго не прикрывает дверцу нашей машины; наконец он решается:

— Вам я могу сказать: он был самым честным человеком на свете. Un signore с головы до ног, così bravo!* Послушайте, раз вы его любите, я вам кое-что покажу. Видите — вон там, внизу, дерево? Под ним он садился поразмышлять...

На полной скорости Пафнутий пересекает Пальма-ди-Монтекьяро — еще один центр мафии. Монтекьяро?** Какая ирония! Нечистоты и мухи. Немощные улицы безлюдны. Хибары с досками вместо ставен стоят как безглазые. Неожиданная в таком месте коза восседает на куче гниющих под солнцем отбросов — ни дать, ни взять одна из старинных гравюр с изображением вельзевула. Наше путешествие все больше и больше походит на бегство.

И сразу, безо всякого перехода, в Ликате мы оказываемся на другой планете. Как это ни парадоксально, но именно на восточной стороне острова чувствуешь себя как на Западе. Сказывается близость к материке? И это тоже. Но главное — нефть, обнаруженная в этом районе, что помогает ему менять кожу: отель на американский манер, прямые улицы, муниципальные машины, дворники. Позади города поля утыканы металлическими derriks'ами. Дорога становится великолепной — итальянской. Посветлевшие лица. Даже растительность здесь иная. Играют опрятные ребятишки. Женщины улыбаются. Невероятно!

Пьяцца-Армерина, где с недавнего времени открыта для обозрения чудесная мозаика, — настоящий оазис. Вдоль дороги вместо негостеприимных кактусов — сочная листва орешника.

(Конечно, деревни и тут неприглядны, но они уже не производят такого мрачного впечатления. Их оживляют миндальные деревья, над крышами весело поднимаются колокольни. В некоторых деревнях,

* Такой славный (итал.).

** Чистая гора (итал.).

например в Вицинии, дома крыты черепицей, уложенной рифленой стороной наружу и образующей правильные дорожки — ни дать ни взять дома из вельвета.)

Не хочу отнимать хлеб у гидов. После Долины Храмов и Пестума, Седжесте, Селионте, Тиндари я охотно уступаю им знаменитые мозаики и античных девушек в современных купальниках фасона бикини. Нас с Лиллой в этом античном городе, лишь совсем недавно открытом широкой публикой, интересует один трудовой конфликт. Чтобы уберечь ценные мозаики от разрушительного действия солнца и дождя, администрация заказала какой-то северной фирме изготовить и смонтировать своими же силами металлическую арматуру. Одновременно одному специалисту по мозаике из местных были поручены необходимые реставрационные работы. И вот жалованье этого признанного художника оказалось ниже жалованья монтажников с Севера. Сицилийцы с жаром вступились за него. Миланцы ссылаются на существующие расценки. А бедняга жалуется:

— Кончится тем, что лишусь места. Никогда еще я не был так счастлив и не зарабатывал столько денег. Не могли бы вы попросить их «отступиться»?

С сожалением покидаем мы Пьяцца-Армерину — прелестный городок, очаровательный этап на нашем пути, собор которого украшает табличка, внушающая верующим — и не без строгости, — что плевать на пол не следует*.

Рагуза, двуликий город, старый и молодой, — о, нефть, сколько преступлений свершается во имя твое! — внезапно рождает в нас желание вновь окатиться на берегу моря.

Не проехали мы и двух километров, как нас поразила одна деталь: невысокие, закругленные наверху каменные стены, которые сходятся и перекрещиваются. Вся земля исполосована ими, как кожа

* До сих пор в общественных местах провинции сохранились таблички, развешанные фашистской администрацией, особенно чувствительной ко всему, что касается культуры и прогресса: «Культурный человек не плюет на пол и не чертыхается».

рубцами. Просим объяснения у первого встречного пешехода. Тот пожимает плечами: насколько ему известно, эти стены стояли здесь всегда. Лилла хочет воспользоваться прогулкой, чтобы посмотреть на нефтяную скважину вблизи. Когда же я показываю ей скважину, она с обидой выговаривает мне за то, что я привез ее к обычному насосу, отличающемуся от египетского *chadouf*'а только тем, что он металлический и работает на электроэнергии. На это я отвечаю, что не моя вина, если добыча нефти в этом районе ведется так, а не иначе. К счастью, загадка со стенами интригует нас в такой степени, что война из-за способа добычи нефти предотвращается. Меняющий колесо мотоциклист находит более убедительное объяснение: с тех пор как в районе обнаружена нефть, самые мелкие землевладельцы поспешили огородить свои участки во избежание недоразумений при распределении долларов. Верится с трудом. Отец многочисленного семейства раскрывает нам секрет — вся округа была покрыта камнями, и крестьяне нашли, что использовать их на месте выгоднее, чем тратиться на вывозку. Стиснув зубы, мы упорно продолжаем это глупое расследование до тех пор, пока, к счастью, не наталкиваемся на старика, занятого строительством именно такой низкой каменной ограды. И, к нашему великому удивлению, он подтверждает последнюю версию: не зная, куда девать камни, местные жители воздвигают стены!

— Ну и пусть себе воздвигают, — заключает Лилла.

В Сиракузах нет никаких достопримечательностей. Не нашлось и мальчонки, который предложил бы нам показать купальню Архимеда. Мы останавливаемся — а Лилла падает на колени — перед необыкновенно крутыми ступеньками лестницы отеля. Портье улыбается. По его словам, дом построен капитаном дальнего плавания. Эта лестница напоминала моряку трап. Решительно все объяснения этого дня кажутся нам весьма экстравагантными. Но... *Se non è vero...**

* *Se non è vero, è ben trovato* — если это и неправда, то хорошо придумано (*итал. пословица*).

На следующий день — Катания. Ничего интересного. Изнурительная жара. И только великолепный вид, открывающийся из нашего номера в Таормине, способен вывести нас из того бесчувственного состояния, в каком мы находимся. Быть может, это место и не самое удобное для купания — поэтому здесь строится фуникулер, — но как тут красиво!

Обед на террасе. Наши балахоны несколько не гармонируют с обстановкой. Но нам это совершенно безразлично. Мы ни на что не смотрим, кроме огромной желтой луны, которая лениво отделяется от воды. Ее отражение по форме напоминает амфору. Огни Реджо-ди-Калабрия сверкают на горизонте, как колье, стопроцентный kitsch *. Но kitsch нереальный, сжимающий вам горло.

Прямая дорога идет отсюда до самой Мессины. Один пляж сменяется другим, точной копией предыдущего. То же самое можно сказать и о деревнях. Побережье кишмя кишит туристами. В таких случаях, как правило, муниципальные власти убирают нищету подальше от проезжих дорог. Так или иначе, этот район выглядит несравненно богаче. Он похож на зеленый сад с фруктовыми деревьями.

Сажаем в машину человека, голосующего на дороге. Это рабочий лет тридцати. Он уже побывал в эмиграции. «Вот в Австралии — да, там можно заработать себе на жизнь». Но из-за климата ему пришлось вернуться на родину. В этих краях работа профсоюзов ощутимее. Поэтому сейчас он получает вдвое больше того, что получал каких-нибудь десять лет назад. Он охотно признает, что многое изменилось, «но это еще не совсем то». Следует невероятная история о социальном страховании. У его жены болят глаза. Пока выписываемые лекарства соответствовали заболеванию, при котором можно работать, все шло гладко: любезный доктор выписывал рецеп-

* Целую ночь мы с друзьями полиглотами пытались дать определение слову «kitsch», широко распространенному в Германии. Оно означает все, что подделывается под искусство, не являясь им, и что мы оцениваем одновременно как банальное, претенциозное, искусственное, условное, штампованное, дешевое и безвкусное. Словом, копирование искусства, предназначенное для самого широкого потребителя.

ты на имя застрахованного. Но вот уже две недели, как он не может этого делать. У Mutua такие правила, что в нее только всаживаешь треть жалованья. Нас все время поражает несоответствие между тем, что он рассказывает, и тем, как он рассказывает. Похоже, что бедняку ужасно весело, когда он добавляет к сказанному:

— На то, что она сохранит зрение, надежды мало. Что поделаешь! Если бы еще эти mascalzoni* возместили мне деньги, ушедшие на визиты к специалисту! А то у нашей Mutua нет окулиста, и каждый визит 5 тысяч лир как не бывало. Хорошо еще, что врач — милый человек и меня не обдирает. Но пусть бы еще только эти расходы. А то ведь приходится ездить в Мессину на консультации. И, поскольку жена плохо видит, я вынужден ее провожать. На это уходит половина моего рабочего дня, плюс два билета туда и обратно в автобусе, плюс еда в ресторане, non c'è la fessio più (сил моих больше нет). Высадите меня здесь, мсье, спасибо. Да благословит вас бог.

Да, да, мы с Лиллой прекрасно знаем, что он преувеличивает. Согласно диагнозу одного холеного ученого, у итальянцев развит «комплекс сетования». И все-таки! Уже половина трудностей, стоящих перед ними в борьбе за самое скромное место под солнцем, оправдала бы обрез и революцию. Потому что, если уж мыслить в этом направлении дальше, нигде не видали мы вещей красивее и элегантнее, чем в витринах Мессины.

Мы катим через город наобум. Это старая привычка. Для знакомства с городом ничего лучше не придумаешь. В какой-то момент замечаю в зеркале, что за нами едет малолитражка, которую, как мне кажется, я уже видел. Прибавляю скорость. Малолитражка делает то же самое.

— За нами погоня, — говорю я Лилле, скривив рот в чистейшем стиле американских гангстерских фильмов. Она оборачивается и включается в игру:

— Да-а. Ты спрятал валюту?

Начинается глупый, сумасшедший бег наперегонки. Нам нужна разрядка. Лихие повороты, проклятия

* Негодяи (итал.).

пешеходов и шоферов, незнакомые улочки, проезжаемые на бешеной скорости, — пущены в ход все известные мне шоферские приемы. Поразительно — малолитражка так и не отцепилась! При поворотах видно, что за рулем сидит довольно молодой человек с улыбкой на лице — по утверждению жены, насмешливой.

Желая удостовериться, останавливаю машину. Малолитражка останавливается позади Пафнутия, из нее выходит молодой человек и быстрым шагом направляется к нам.

— Пора доставать револьвер, — шепчет Лилла, которая отчаянно бодрится, стараясь не выдать волнения.

Молодой человек остановился, улыбаясь во весь рот.

— Я представитель фирмы Рено, — отрекомендовался он, — и вот уже с полчаса гоняюсь за вами, чтобы посмотреть, хорошо ли ходит ваша «Дофин» и не нуждается ли вы в чем-нибудь?

Он вытирает со лба пот и приглашает нас выпить аперитив.

Я упоминаю об этом инциденте не для того, чтобы рекламировать марку «Дофин». Я уплатил за своего Пафнутия немалые деньги и никому ничего не должен. Но мне кажется, это еще один пример той черты характера, которую на протяжении всего рассказа об итальянцах я *grosso modo** называл любовью.

Нам оставалось только переправиться на материк.

Не успел еще Пафнутий остановиться на пристани, как к нам устремился мужчина лет тридцати, без пиджака:

— Вы в Реджо? Прошу ваши документы на машину! Какой апломб! Какая организация дела!

Мужчина исчез в конторе. По выходе оттуда он выглядит уже совсем иначе — жалким, приниженным, покорным. Протягивая мне билет для переправы, он говорит:

— Не забудьте, пожалуйста, про чаевые, мсье. Не скупись. Я безработный.

* Весьма приблизительно (итал.).

Лилла смотрит на меня саркастически:

— Какая организация дела!

Вот именно, какая организация. Тоже мне работа! Вытянуть у туриста лишние 100—200 лир только за то, чтобы избавить его от необходимости пройти триста метров к окошечку кассы. Спрашиваю у безработного:

— А что, в Мессине трудно с работой?

Он удовлетворенно поглядывает на чаевые, кладет деньги в карман, выпячивает грудь и высокомерно отвечает:

— А какой интерес работать... *Con permesso**, — и бросается к подъезжающей машине.

Лилла — быть может, она лучше чувствует местный колорит — обращает мое внимание на то, что эта глава оставляет тяжелое впечатление. Может быть, мое настроение взяло верх над моими намерениями. Поэтому я уточняю: несмотря ни на что, экономика Сицилии не «омертвлена». Иными словами, мне показалось, что у сицилийца дух предпринимательства развит сильнее, чем у сарда. С другой стороны, как турист я ни в чем не могу упрекнуть добрую половину острова, в частности все восточное побережье — оно великолепно.

Я хотел бы передать свое чувство сравнением. Широко известна эмблема Сицилии: тележка с ярко раскрашенными боковинами, на которых изображены средневековые сражения, и везет ее осел или мул, а иногда лошадь, в упряжи с помпонами, бубенцами, перьями и различными украшениями. Весело, нарядно, ярко.

Тележки существуют. Просто пыль покрыла щиты, а время обесцветило краски наивных картинок. Бубенцы звенят, а легкий ветерок развеивает перья и помпоны. Только эти помпоны и эти перья пострадали от времени. Что касается животного, то оно вызывает жалость. И все-таки тележка еще может произвести впечатление и показаться прелестной. При одном условии: если не смотреть на несчастного сицилийца, взгромоздившегося на сиденье.

* С вашего позволения (*итал.*).



Мы привезли домой пластинку с записью последнего фестиваля неаполитанских песен. Я часто ставлю ее. И, слушая «Vouggia» или «Tourpetoupe Mariscia», переносусь в номер в Мерджелине и снова вижу разноцветные лодки в маленьком порту перед нашим балконом, синее в блесках море, а вдали — Везувий, окутанный серой дымкой зноя. Вот в гавань лениво входит вапоретто, включив на полную мощь все свои громкоговорители ...

Когда я попал в Неаполь впервые, я заплакал, увидев, как он похож на то, чем я представлял его себе.

Соприкосновения с городом, с его кварталами могут волновать так же глубоко, как встречи с людьми. Неаполь и я — это любовь на всю жизнь. Я люблю округлую линию его залива и его добродушный вулкан, ярусы его улиц на обращенном к морю склоне, кичливую торжественность и яркую элегантность его обитателей, чья протяжная, мягкая, певучая и ироническая речь заставляет меня вздрагивать от удовольствия. В девяти случаях из десяти я ничего в ней не понимаю, но музыка слов умиротворяет меня. В других городах, желая прервать собеседника, стараются его перекричать. В Неаполе его еще хватают за руку. Лишенный возможности жестикулировать, неаполитанец замолкает.

Днем на улицу не выйти — слишком жарко. Мы остаемся дома, в тени, и пытаемся навести порядок в наших путевых записях. Итак: Сардиния, Сицилия, Реджо-ди-Калабрия.

Мы с Лиллой одновременно рассмеялись: scutre!

Воспоминание, которое, если можно так выразиться, напоминает об одном лице.

Это было в тот вечер, когда мы приехали в Реджо. У меня был адрес одного журналиста. Но как ориен-

тироваться в незнакомом городе при сгущающихся сумерках? На краю тротуара какой-то молодой человек, внимательно изучив номерной знак Пафнутия, бодро обращается к нам со следующими словами:

— Я говорю на французском.

Моя вежливая улыбка подбадривает его.

— Я имею вам помощь.

Это говорится с лучшими намерениями. Я посвящаю его в наши затруднения на правильном итальянском языке. Но молодой человек хватается за представившуюся возможность применить свои знания нашего языка:

— Этот место мне знакомый. Я провожаю вас.

Я жестом приглашаю его сесть в машину, но он гордо отвечает:

— У меня есть *moto-scutre* (франко-калибрийский вариант слова «scooter» — мотороллер).

И вот мы катим по городу, который, право, очень мил, — мотороллер впереди, Пафнутий за ним. Через некоторое время молодой человек затормозил. По-моему, все эти десять минут мы ехали по кругу. Аккуратно поставив *moto-scutre*, он объявляет:

— Из-за *sense vietale** я все время *gire, verse la sinistre***, но это еще не тот дом.

Затем мы совершаем еще один более широкий и более внушительный круг, позволяющий убедиться, что разыскиваемого нами номера в природе не существует. Тогда молодой человек, поставив в сторону свой *scutre*, заявляет:

— Извиняйте меня. Ошибка.

В таких случаях еще неизвестно, кто должен извиняться. Любезный юноша потерял с нами добрый час времени и не хотел принять даже сигарету.

Что же касается «французского» языка, которым любят блеснуть на Крайнем Юге, то, между прочим, нам представилась возможность судить о нем, когда один полицейский свистел нам вслед и орал:

— А указыватель?

* Одностороннее движение (*итал.*).

** Кружу, забирая влево (*итал.*).

Сколько раз в ответ на наши расспросы, как проехать по незнакомому городу, местные жители с участием отвечали нам на языке, принимаемом ими за французский:

— Пересеките *la strada* *, поверните *a destra* **, постучите в *terce* *** дверь.

Мило и приветливо, с неизменной готовностью оказать услугу.

Именно в окрестностях Реджо мы повстречали одного из самых очаровательных представителей рода человеческого — профессора Заппоне. Это было в Пальми, прелестном городке, спокойном и мирном, где препятствия, чинимые любви, привели за последнее время я не знаю к скольким смертным случаям. Заппоне — красобай, образованный человек, у него удивительная память, и он очень щедр на рассказы. Если уж говорить начистоту, то мою книгу должен был бы написать он. У этого человека неисчерпаемый запас рассказов о суевериях, связанных с бракосочетанием, об языческих искупительных обрядах, перенятых христианством у других религий. Он, например, знает, что стоит только поработать в петров день — и обязательно жди, что в деревне умрет три человека. Он рассказывал, как в засуху жители Риачи организуют процессию со статуями местных святых Козьмы и Демьяна. Придя к морю, они наклоняют фигуры святых до самой воды и хором угрожают:

O San Cosimo e Damiano
O ci bagnate o vi bagnamo! ****

В другом городке статую закованного в цепи святого переносят из «его» церкви в «чужую» и держат там, пока святой не уступит и не ниспошлет ливень, и, чтобы святой был поговорчивей, к носу статуи подносят время от времени соленую селедку, пытаясь вызвать у святого жажду.

* Улица (*итал.*).

** Направо (*итал.*).

*** Третью (*итал.*).

**** О святые Козьма и Демьян,
покропите нас, а не то мы вас искупаем! (*итал.*).

Он рассказывал нам удивительные легенды о змеях и о serpari — тех, кто их почитает. Говорят, что 5 июня все живущие на горе змеи сползают к морю. По словам Заппоне, у этого явления есть научное объяснение: во время tuoni di Marzo (мартовских гроз) очнувшиеся после долгой зимней спячки змеи испытывают зуд под старой, готовой свалиться кожей. После смены кожи их начинает мучить жажда. Тут они замечают с вершины белое пятно и, приняв его за молоко, устремляются вниз, к морю. Наш друг утверждал даже, что на морском берегу змеи совокупаются с муренами.

Он рассказал нам и о женщинах из Баньяры, которые года два тому назад смело облачились в короткие штаны своих мужей.

— На диво светловолосые в сравнении со смуглыми черноволосыми жителями Италии — по-видимому, они единственные прямые потомки великих лангобардских завоевателей, — женщины Баньяры в один прекрасный день решили, что с них хватит нужды. Посоветовавшись между собой, они переложили домашнее хозяйство на своих безработных мужей, а сами, наполнив корзины овощами и фруктами из собственного сада, водрузили их на головы, как это принято у арабов, и отправились на окрестные базары. Такого еще не бывало. Настоящая революция. Где это видано? Женщины, покидающие домашний очаг, чтобы бегать по дорогам? Но к вечеру они вернулись домой с деньгами. И рассказчик заключает:

— А на следующий день все повторилось сначала, и так продолжается по сей день.

— А мужчины их не ревнуют? — спрашивает Лилла.

Заппоне корчит гримасу:

— Бывает, кое-кого пырнут ножом. Но вы бы видели их. Настоящие лангобардки — высокие, сильные. Женщины, которые умеют постоять за себя... — он подмигивает: — когда пожелают!

Лилла прерывает мои воспоминания:

— Достаточно о Реджо-ди-Калабрии.

И разом переносит меня из Пальми в Неаполь. Под солнцем цвета расплавленного свинца к приста-

ни подходит вапоретто. От берега отплывает красная лодка. На веслах толстяк. Отгребя метров на десять, он снимает пиджак, кладет весла в лодку, раскрывает над головой зонт и, растянувшись, отдается послеобеденному отдыху.

Я не желаю еще покидать Реджо-ди-Калабрию и завязываю с Лиллой спор. В главе о Калабрии мне хотелось бы напомнить о знаменитом письме Поля Луи Курье *, вошедшем в школьные хрестоматии:

— Помнишь: два путешественника слышат, как хозяева калабрийцы вполголоса совещаются, зарезать ли им обоих?

— А потом муж пошел босой с большим ножом и... отрезал кусок окорока.

— Да, да. «Обоих» — речь шла о каплунах.

Лилла хмурит брови. Я решил было, что она размышляет. Какое там. Она уже и думать забыла о моей книге.

— А что, если нам поехать завтра на Капри?

Экскурсия на Капри. Прощай, работа. Полтора часа на пароходе. У пристани постоянно дежурят большой пароход и маленький. Не знаю, чем руководствуется судовладелец, но всегда почему-то первым отходит маленький. Море настроено скверно. Лилла молчит, судорожно сжав губы. Она вечно твердит, что морская болезнь — «вопрос силы воли». Воля или нет, но надо отдать ей должное — держится она молодцом. Чего никак не скажешь об остальных пассажирах корабля. Признаюсь, мне никогда не случалось видеть ничего подобного. Я не мог даже представить себе такой ужасной картины. Вокруг молодой четы, которая явно парила где-то далеко на всем знакомым крыльях любви, обмякнув, сидели пассажиры и, положив руки на спинку переднего ряда скамей, отдавали богу душу. Каждый выворачивал содержимое своего нутра прямо себе под ноги. Матросы, для которых, видимо, в этом не было ничего необычного, перебирались от скамейки к скамейке, вооружившись ведром и веником. Словом, это была не морская прогулка, а какая-то непрерыв-

* Поль Луи Курье (1772—1825)— французский писатель-демократ: выдающийся филолог-эллинист.— *Прим. перев.*

ная судорога. Англичанин, одетый в шорты, заходящие ему ниже колен *, невозмутимо наблюдал эту картину, заглатывая бутерброд с ветчиной, — любого другого при этом непременно стошнило бы.

Лилла передает мне наскоро нацарапанную записку: «В следующий раз полетим самолетом. Меньше народу».

Верно, как я и сам не додумался.

Уже спускаясь по трапу и решась наконец разжать зубы, Лилла дала торжественную клятву впредь не плавать ни на каком судне... водоизмещением менее 35 тысяч тонн. Клятва пьяницы не пить: вечером то все равно надо ехать домой! Возвращались мы на малюсеньком катере (большой опять стоял рядом; что же касается пароходов водоизмещением 35 тысяч тонн, то, по наведенным нами справкам, на Капри такие не заходят). Вопреки всем ожиданиям, «больших» нет, хотя море злее, чем было утром.

Капри я, конечно, пропускаю. Разве есть что-нибудь такое, чего уже не было бы сказано о нем? Мы объехали остров в *carrozzella* ** с очень болтливым возницей, но его акцент был, если можно так выразиться, настолько акцентированным, что мы ничего из его рассуждений не поняли. В Сан-Мишеле мы посетили дом Акселя Мунте *** — хорошенький, как всегда. Здесь мы встретили кучу людей — точно таких, каких каждый день можно видеть в Париже. Чудаки, приезжают любоваться морем, разрезанным на куски плечами и головами стоящих впереди. Мы ничего не имеем против тех, кто находит Капри *formid* и *sensass* ****. Но нам лично больше по душе Искья, куда, верные своему обету не совершать морских прогулок, мы отправились два дня спустя. Здесь толпа реже, а это уже благо. Мы объехали остров на *moto-scutre*, а это уже прогресс — больше шуму. Но все-таки, дай нам бог никогда не додуматься до того, чтобы приехать сюда когда-нибудь на месяц.

* По-видимому, этот фасон ввели футболисты, не желавшие показывать противнику дрожь собственных коленок.

** Тележка (*итал.*).

*** Аксель Мунте (1857—1949) — шведский писатель и врач; воспел красоты Капри. — *Прим. перев.*

**** Сокращения от «потрясающий» и «сенсационный» (*англ.*).

На этом наши морские авантюры закончились, и мы можем вернуться к вещам более серьезным и к Калабрии.

Вместо того чтобы поехать из Реджо прямо на Север, мы сначала отправились вдоль побережья в обратную сторону и двинулись дальше на Восток. Воздух здесь изнуряет, солнце гнетет, бедная земля высохла до предела и покрыта бороздами каменистых ручьев, вода в которых бывает только в середине зимы и сходит слишком быстро. Иногда попадаетея тщательно обработанное поле. Селения — деревни и маленькие города, расположенные далеко друг от друга. Мы монополюно владеем дорогой — никто у нас ее не оспаривает. После мыса Spartivento (Рассекающий ветер) берем курс на Север. Тут природа другая. Сказать о ней, что она приводит в уныние, — мало. Слишком сухо, слишком жарко, слишком безлюдно. Пляжи — бескрайние, великолепные, покрытые мельчайшим белым, как мука, песком, и море — неопишуемой, неповторимой голубизны. Но почему, почему не построят здесь отелей и не поселят в них, в этом дачном раю, бесчисленных туристов?

Ответ дает это постоянно ослепляющее солнце, лучи которого отражаются дважды — морем и белыми скалами. Кругом ни деревца. Именно это и характерно для здешнего пейзажа. Мне объяснили, что крестьянин Юга снедаем «ненавистью к дереву», и это извечная антипатия. Обитатель скудной земли, затрачивающий столько сил на то, чтобы выжать из нее свое пропитание, он считает это большое бревно бесполезным. Вот кому нет дела до человека, этому паразиту, обедняющему землю, сосущему из нее последние соки, а главное воду, которая так нужна человеку самому. А что может дать дерево взамен? Тень? Но человеку нужна еда! Веками он корчевал, спиливал деревья, чтобы заработать жалкие деньги. А на то, чтобы посадить их снова, денег нет. И вот он живет под палящим солнцем.

Катандзаро. Занятный городок, взобравшийся на два холма. Завтрак в отеле. Слуга с глазами, как сливы, охотно рассказывает нам, как его, «иностранца» (он с Севера, из «Италии», из Порто-Рекан-

ти!), подкараулили «местные» и «набили ему морду».

— Трусы,— заключает он со смесью покорности и наивности,— их было четверо против меня одного! Пускай бы явились в наши края, у меня нашлось бы два-три приятеля. На каждого из них. Устроили бы мы им веселую жизнь. Что заказывает мадам?

В моей записной книжке есть номера трех телефонов, по которым я могу звонить здесь, в Катандзаро. Сосед по столику вмешивается в наш разговор, чтобы отсоветовать мне звонить сейчас, во время съесты... Я все равно звоню. Ни один из трех номеров не отвечает.

— Ничего удивительного, — замечает сосед, — с аппаратов сняты трубки.

Странная логика. Только сейчас мне было сказано, что эти «славные люди легли отдыхать и рассчитывают, что их покой никто не нарушит». Какого же черта они ради предосторожности снимают трубки?

В ответ лицо нашего соседа расплывается в улыбке:

— Иногда в город наведываются «иностранцы».

Он охотно вступает в разговор и рекомендует: Ф., представитель генуэзской судоходной компании. Он постоянно разъезжает по стране, оказывая услуги тем, кто желает эмигрировать. Нескончаемый поток людей, изнурительная работа. В большинстве случаев будущие эмигранты или малограмотны, или теряются перед необходимостью выполнить бесчисленные формальности — добиться паспорта, визы, рабочего контракта и т. д. ... И вот судовладельцы, стремясь привлечь их на свои пароходы, открывают на Юге свои конторы и содержат служащих, оказывающих этим людям услуги.

Действительно — и, быть может, мы ничего более душераздирающего не видели, — в самых умирающих, самых нищих деревнях неприятнее всего поражали эти конторы, обклеенные яркими рекламами с изображением парохода и приглашением бежать, уехать в дальние страны, туда, где можно найти работу и хлеб, в которых отказывает людям эта неблагодарная земля.

— Конечно,— любезно сообщает Ф., — надо гарантировать эмигрантам и возможность вернуться домой. За редким исключением все они возвращаются.

— Но где же берут они деньги на поездку?

— Чаще всего это загадка. У них ведь нередко нет ни лиры за душой. Тогда мы в той или иной форме помогаем им материально. То есть существуют специальные кредитные конторы, имеющие агентов за океаном, которые взимают авансированные деньги.

Ф. с тоской вспоминает недавнее прошлое — первые послевоенные годы. Пречистая дева, сколько же было тогда эмигрантов! И никаких тебе норм, тарифов. Плата за проезд назначалась произвольно. На этом сколачивались целые состояния.

— И это было тем более приятно,— с обезоруживающей улыбкой замечает он,— что создавалось впечатление, будто оказываешь людям услугу.

По произвольной ассоциации мыслей он рассказывает нам о своей семье:

— Жестокое время, не правда ли, синьор? Чтобы заработать на жизнь, мужчине приходится покидать дом, семью, детишек. По счастью, в Италии укороченный рабочий день в субботу, это дает мне возможность каждую неделю уезжать домой, в Неаполь. Остальное время мой дом — отель жолли.

...Жил однажды ткач по имени Марцотто, он стал фабрикантом и так разбогател, что построил свою железную дорогу, связывающую «его» город с дорогами страны. После освобождения заводы у него отняли. Но вскоре (за что купил, за то и продаю) рабочие, соскучившись по твердой руке, позвали Марцотто обратно. Он, правда, поставил свои условия, но они были приняты теми, кто стосковался по сладкому рабству. И вот Марцотто снова взял в руки бразды правления в своем маленьком королевстве, и оно расцвело. Вечная весна коммерции. Поскольку однообразие, как правило, рождает скуку, этот человек надумал пуститься на самые волнующие авантюры. У него родилась идея создать в южных, обойденных судьбой городах современные отели, в которых были бы все удобства, но которые ничем не напоминали бы люкс. Так возникли отели жолли — их

уже издали узнаешь по архитектуре. В них однотипные ванны, одинаковая планировка комнат и стандартная меблировка. Добрый гений путешественника, как объясняет наш друг: где ни очутишься — в Трапани, Никастро или Кампобассо, — спишь в одинаковых кроватях, завтракаешь за одинаковыми столами. Очень удобно.

Я признаюсь нашему собеседнику, что мы тоже от самой Сардинии систематически заезжаем в жолли и колеблемся, стоит ли останавливаться в городе, где такой гостиницы нет.

Зашел разговор о психологии людей дела. Наш собеседник приводит много примеров. Так, его собственному шефу генуэзцу в один прекрасный день надоело заниматься экспортом шелка, и он, купив по случаю корабль, стал судовладельцем. Единственный, кто остался «при своем деле», — это Маттеи, итальянский король нефти. Но он буквально преобразил лицо Юга Италии. Станции обслуживания автомобилей AGIP, построенные по стандарту (на желто-коричневых стенах эмблемы — волчица-саламандра, изрыгающая пламя), придают игривость этому унылому ландшафту и оживляют его, как цветные пятна. И тут нам приходится сознаться, что, быть может, из благодарности за это нарядное украшение, мы предпочитаем набирать горючее в колонках AGIP. Наша благодарность дошла до того, что мы выучили наизусть сложное название его супергорючего — *supercortemaggiore*.

Возможно, это и басня, но, как гласит народная мудрость, нет дыма без огня. Мы с интересом слушаем продолжение рассказа Ф. о Маттеи. Проведав — бог знает как — о том, что эмир — бог знает какой страны — остался недоволен отчислениями, получаемыми им от Англии и Америки, Маттеи прыгнул в свой самолет и поспешил предложить ему вдвое больше.

— Вот как он разделал англичан и американцев...

Эти слова он сопровождал жестом, описать который мне мешает элементарное чувство приличия; но наш собеседник применил его вполне непринужденно, сопроводив изящным поклоном в сторону Лиллы:

— Да извинит меня дама...

Не помню уже, как мы перешли к обсуждению достоинств жителей различных городов Италии. Миланец, по мнению Ф., чванлив, у него одно на уме — растратить деньги, и обязательно так, чтобы все это видели. Он мастер пустить пыль в глаза да похвастать. А вот генуэзец в воскресенье набожен, в будни свободомыслящ и легкомыслен, во все дни бережлив. Зато, когда потребуется, готов прокутить больше миланца.

Я осторожно спрашиваю:

— А южане?

Он отвечает решительно, не раздумывая:

— Варвары.

Однажды, когда он выпивал в погребеке, туда вошла закутанная в черное женщина и стала умолять одного из посетителей, своего господина и повелителя, соблаговолить отдать ей ключ от дома. Не удостоив ее даже взглядом, тот швырнул ключ на землю. Наш генуэзец, любезно подняв ключ, подал его женщине.

— Это же естественно, ведь мы цивилизованная страна! Так что бы вы думали? В тот же вечер в покрышках моей машины появились проколы кинжалом. Вендетта!

Такое знакомо немножко и мне. Я рассказываю ему о случае, который произошел со мной вскоре по приезде в Италию. Когда я в автобусе уступил место молодой женщине, ее спутник схватил меня за руку:

— С каких это пор ты знаком с моей невестой?

— И это произошло в центре Италии, — добавляю я, — к северу от невидимой границы между Севером и Югом.

Однако наш собеседник не дает сбить себя с толку:

— Ну извините! Поднять ключ женщине — это просто жест, а уступить ей место в автобусе — это уже вызов. Здесь за такое вас ни о чем бы не спросили и вспороли бы не покрышки, а живот!

...Любителю водить машину я посоветовал бы проехать от Катандзаро до Козенцы. Эта дорога способна кого хочешь отвадить от руля: если я не ошибаюсь, она побила все рекорды по числу поворотов. В Козенцу мы приехали с наступлением темноты.

Любезный портье, заглянув в мой паспорт, закричал по-французски:

— Мы счастливы видеть вас в числе наших гостей, мсье Калеф! (Лилла утверждает, что при этих словах я зарделся от удовольствия.)

Не успел я разрешить про себя вопрос, читал ли этот человек мои книги или просто слышал обо мне, как с тем же выражением радостного удивления он обратился к дочери Альбиона — особе лет под шестьдесят, с зубным протезом скверной работы:

— We are very honoured to have you as our guest, miss Jones! * (Лилла утверждает, что при этих словах я побледнел от досады.)

Козенца — спокойный город, который живет хорошо, ничего не делая. Здесь есть базар, и этого достаточно. По утрам окрестные крестьяне и ремесленники приезжают сюда, преодолев тридцать-сорок километров, чтобы продавать и покупать. Козенца лениво извлекает из этого обмена выгоду. Заглянули в редакцию местной газеты. Делами заправляют два брата. Они совершенно непохожи, но их невозможно отличить друг от друга: глаза — огоньки, хмурые лица, блузы цвета пыли, кругом всякая всячина, как в скобяной лавке. Между ними происходит своеобразный диалог, какого не придумаешь нарочно.

— Джулио, синьор хотел бы узнать, что происходит в Козенце?

— Ты прекрасно знаешь, Марко, что в Козенце ничего не происходит.

Это правда, счастливые люди живут без происшествий.

Из окна нашего номера на пятом этаже мы можем обозревать весь город. Под нами, на берегах Бузенто, безобразные дощатые лавки — типичный образец временного, ставшего постоянным. Они были построены муниципалитетом в надежде избавиться от черного рынка, процветавшего под открытым небом прямо на тротуаре. Время и изобилие товаров сладили с черным рынком, но уже не было средств разрушить эти лавки. Из каменистого серо-грязного

* Мы счастливы видеть вас в числе наших гостей, мисс Джонс! (англ.)

русла реки грузовики вывозят песок, лениво нагружаемый лопатами. Согласно легенде — опять легенда, — перед смертью король вестготов Аларих спрятал сокровища, добытые в 412 году при разграблении Рима, на дне чахлого тинистого потока, с трудом прокладывающего себе путь между камнями. Слишком жарко, чтобы разыскивать этот клад.

Куда ни глянешь — малюсенькие дворики и переплетение плоских крыш, всеми известными и неизвестными способами сведенных одна с другой над убогими грязными стенами с редкими трогательными пятнами чистоты. Никакого урбанистического кокетства: рядом с заново отделанным, опрятным, красивым, зажиточным palazzo — нищий домишко. На улице нарядные, как для причастия, ребятишки в перчатках и шляпках дерутся с оборвышами. Над шоссе нависают ветхие балконы с великолепными решетками из кованого железа. Завтра и вчера, роскошь и нищета, лучшее и худшее находятся в непосредственной, абсолютной близости.

В замысловатой тени сорокаметрового крана, который с видом курицы-наседки переносит стройматериалы для дома современного образца, приютилась жалкая лачуга. Ее хозяин, должно быть, воспользовался ситуацией без зазрения совести: на ветхой, местами дырявой крыше четко выделяются новые черепицы. Повсюду цветы — увядшие или свежие, живые или искусственные. На пустыре, где находится свалка, облезлый домишко цветовода прислонился к стене сверкающего свежестью десятиэтажного здания.

Что ни говори, Юг — это что-нибудь да значит.

Прежде чем отправиться дальше, мы из профессионального любопытства заглядываем в Opera Valorizzazione per la Sila — учреждение, на которое возложено проведение аграрной реформы в этом районе. Приятная неожиданность — через десять минут нас приглашают на экскурсию в Сиду. Ла-Сила — это горный массив, вернее, высокое лесистое плоскогорье. Пафнутий подождет нас в гараже. В наше распоряжение предоставлена машина с шофером и опытный гид. Путешествие оживляет словесная перепалка двух

калабрийцев, наперебой расхваливающих свои родные города — Кротоне и Козенцу.

Два дня, не предусмотренные нашим планом.

Проехав менее двадцати километров, мы поднялись на восемьсот метров. Кто говорил, что на Юге нет деревьев? Густые тенистые леса великолепны. Воздух свеж и приятен. У нас заразительно веселые, оживленные спутники, в особенности наш гид, тонкий гурман, рассуждающий о кулинарном искусстве с Лиллой, о фотографическом искусстве — со мной и просто об искусстве — с нами обоими.

Если я правильно понял, Opera Valorizzazione per la Sila — первая районная организация, созданная для проведения новых законов в жизнь. И поскольку на сегодняшний день у нее самый большой стаж, результаты ее деятельности самые убедительные. Мы видели, что ETFAС удается лишь медленно пускать корни на Сардинии, а ERAС отстает от нее в Сицилии. У OVS уже имеются заслуги: в течение нескольких лет ею проложено 893 километра дорог для сообщения между участками, не считая 300 километров магистральных дорог; уложено 275 километров водопроводных труб и выкопано 50 водоемов; распределено 11 тысяч голов скота, более 40 тысяч кур, 700 сельскохозяйственных машин и 12 тысяч сельскохозяйственных орудий. Для новых обитателей построено 4300 домов (всего 19 тысяч жилых комнат), 2 тысячи человек уже заключили контракты с OVS, а тысяча ведет с ней переговоры.

Среди 18 тысяч желающих OVS распределила 75 тысяч гектаров отчужденной и 10 тысяч гектаров закупленной земли. 36 тысяч гектаров ранее пустовавшей земли уже распаханно и засеяно, 32 тысячи гектаров орошено, 8 тысяч гектаров подготовлено под огороды и сады. На 5 тысячах гектаров посажено 17 миллионов растений, из которых полтора миллиона предназначено для укрепления земли и предотвращения эрозии. Здесь занимаются всем: артезианскими колодцами, канализацией, электрификацией, искусственными прудами.

54 кооператива насчитывают 6 тысяч членов. 1200 различных курсов посещает 35 тысяч человек — мужчины и женщины. Созданы ремесленные школы,

библиотеки, комнаты отдыха, церкви, школы для детей, рестораны-закусочные, две сыроварни, две маслобойни, магазины, склады, гаражи, два государственных сельскохозяйственных института. Все — от альфы до омеги.

Меня заверили, что цифры эти внушительны. Тем лучше, потому что лично я с трудом отличаю миллион от миллиарда. Мне известно лишь, что изобретением нуля человечество обязано какому-то индусу — и все. Короче говоря, в Силе воля и труд людей заметно изменили условия их жизни. 18 тысяч нуждающихся семей обрели кров и участок земли для обработки. 18 тысяч семей, которые произведут продукты питания для других. Каковы бы ни были потраченные средства, такая игра стоит свеч.

Я понимаю, что заставляет наших хозяев улыбаться. Очень уж приятно видеть дерево, приносящее плоды. Д'А. восклицает:

— Здесь не было ничего, даже дороги. Все это дело наших рук: и деревня, и вода, и электричество, и поля, даже население, если позволительно так выразиться, даже пруд.

В другом месте шофер восклицает:

— А помните, *signore*, какие здесь были раньше заросли кустарника? Надо иметь хорошую память и способность ориентироваться, чтобы разыскать теперь этот прежде заброшенный угол.

Разговор зашел о торговом ряде во вновь построенной деревне. Но мои спутники ненасытны.

— Мы с нетерпением ожидаем нового закона о дополнительном отчуждении земли. У нас пятьсот тысяч заявок на участки. Сумей мы пристроить хотя бы еще сто тысяч семей, это уже было бы неплохо.

После последнего закона все время приходилось поторапливаться. Полгода ушло на то, чтобы завершить отчуждение земель. По счастью, вся переданная в OVS площадь размером в 32 тысячи гектаров принадлежала одному владельцу. Но зато старые описи имущества оказались весьма приблизительными. Прежде чем перейти к формальностям, пришлось заново произвести обмер и восстановить истину. В этой борьбе с латифундистами, которые постоянно вставляют палки в колеса, днем и ночью принимает

участие целая армия служащих. Попытаемся взглянуть на вещи объективно. Возможно, не все ее солдаты — фанатики реформы. Но в подобных случаях спортивный азарт вполне заменяет упорство идеалиста.

Разумеется, не обошлось и без споров политического характера. Когда я высказываю сомнение относительно искренности Христианско-демократической партии, предложившей закон об отчуждении земель, со мной не спорят — действительно, подтверждают наши спутники, он был предложен в пропагандистских целях ради того, чтобы опередить коммунистов.

Орега Valorizzazione per la Sila подумала и о туризме. Высокогорное плато Калабрии — идеальная цель для непоседливых. Воздух тут чист и свеж, возможности для прогулок неисчерпаемые. OVS построила пансион для автомобилистов, доверив управление им супружеской чете, которая живет в доме почти даром, но обязана держать его круглый год открытым для приезжих. Плата тут до смешного низка по сравнению с принятой в Италии. Здесь хорошо кормят, обеспечивают превосходными постелями и удобствами. Впрочем, все номера забронированы на полгода вперед. Единственное неудобство: пансион далеко и в стороне от проезжих дорог... Мы посетили пункты, в которых намечено построить другие пансионы, большие и маленькие, а также площадку будущего аэродрома. Мне кажется, Калабрия всегда будет страдать от своего географического положения. До последнего времени побережье Тирренского моря посещали хоть те туристы, которые направлялись в Сицилию, новые же морские маршруты решительно его обходят. В дальнейшем обиженный судьбою Юг окажется еще больше в стороне от торговых перевозок и пассажирского движения. Таково основное возражение, приходящее мне в голову всякий раз, когда кто-нибудь из итальянцев с заразительной восторженностью латинян расписывает «неограниченные», до сих пор не использованные возможности Юга.

Прежде чем снова спуститься в пышущее жаром пекло долины, гиды угощают нас сюрпризом — показывают школу выделки восточных (вот именно!)

ковров, организованную OVS в Сан-Джованни-ин-Фьоре. Возглавляют школу специалисты-ковровщики, чета армян, которая когда-то осела в Бари; OVS вернула их к старой профессии. Они чувствуют себя до известной степени одинокими в этом чужом для них, украшенном цветами селе со столь благозвучным названием Сан-Джованни. Не знаю, где достают они шерсть и краски, чтобы воспроизводить традиционный рисунок и колорит восточных ковров. Но так или иначе, ковры, вытканые руками местных девушек, ничем не отличаются от ковров из Тавриза, Шираза и других зарекомендовавших себя мест. Конечно, нельзя не упомянуть о том, что в Сан-Джованни ткацкое искусство имеет и свои давние традиции, которые передавались «от матери к дочери». Увидев калабрийские шали, Лилла потеряла голову; впрочем, она была не прочь увезти с собой и ковер, но габариты Пафнутия заставили ее образумиться.

После Козенцы мы некоторое время едем наугад, предоставив Пафнутию самому выбирать дорогу. Кто-то, не помню кто именно, сказал нам, что на Юге якобы есть деревня, где живут сейчас одни женщины, дети и старики. Все работоспособные мужчины в отъезде, работают и шлют переводы. Увы, никто не может сказать точно, где находится эта женская деревня. Помогает нам первый встреченный на дороге полицейский. Разумеется, нас информировали неправильно — смеху ли ради, по честному ли заблуждению, а может быть, по глупости. Не знаю, только Морано Калабро ни капельки не соответствует тому, что нам описали. Мэр, муниципальные советники — все, не исключая подметальщиков, мужского пола. Что же касается женщин...

— Пускай только попробуют вмешиваться в общественные дела! — возмущается кто-то на террасе кафе, со всей серьезностью комментируя политику Ненни.

Похоже, что Лилла разочарована:

— А... мужчины, которые в отъезде? — робко вставляет она.

В разговор вмешивается другой, с газетой в руке:

— Мужчины в эмиграции? Да где таких нет?

Морано Калабро вне компетенции OVS. Край медленно умирает. Сегодня от 18 тысяч жителей осталось 5300. Никаких природных ресурсов. Дома, деревья, жители — все уже сейчас кажется спящим.

Камни, всюду камни. Радуемся, вновь увидев Ионическое море. Теперь мы испытали на собственном опыте, что море наводит на мысль о бегстве. То там, то сям на побережье виден зеленый островок, обязанный своим существованием либо упорству крестьянина, либо провидению, одарившему его водой. Но в целом весьма унылый пейзаж...

Таранто. Почему-то это название меня всегда интриговало. Действительность разочаровывает. Новый город, выстроенный по линейке. Мы прибыли в неудачное время — съеста. В конторах, на улицах ни души. Бродим, похожие на рожденный жарой мираж. В пять часов нас принимает корреспондент газеты, к которому нам рекомендовали зайти. Это еще молодой, подвижный, увлеченный делом человек, но, как и все, он устал и настроен пессимистически. По счастью, он не придерживается мнения, что при любом начинании необходима уверенность в успехе, и поэтому упорно продолжает работать.

— У Таранто нет никаких шансов, — говорит он. — Порт, можно сказать, заброшен и уступил свое место Бари с его более современными причалами и оборудованием. А все почему? Ясно как день: депутат от этого района родом из Бари. Эх! Родился бы он в Таранто! Но это не так, к сожалению. И, разумеется, депутат покровительствует родному городу. Что остается Таранто?

Судостроительная верфь — своего рода барометр обстановки на местах. Пошли увольнения — физиономии вытягиваются: придется день за днем есть pasta из черной муки. Набирают рабочих — значит, будут и белые макароны, замешанные на яйцах, и мясо, по меньшей мере раз в неделю. Я удивляюсь:

— Неужели правительство не в состоянии сделать работу верфей более ритмичной.

У нашего собеседника от удивления округляются глаза:

— Но ведь судостроительная верфь в Таранто — не национализированное предприятие! Самый большой пакет акций у Фиата. Работа здесь зависит не столько от местных условий, сколько от заказов и от *planning'a** в Турине.

Да, конечно же!

— А больше здесь негде работать?

Он отрицательно качает головой:

— Подавляющее большинство жителей Юга Италии чернорабочие. Рожденный докером обречен умереть докером. И вот что получается, смотрите...

Он разворачивает карту Юга:

— Откуда бы ни плыть в Таранто, придется делать крюк. В города на Адриатике — в Бари, Бриндизи и даже в Барлетту — попасть гораздо легче. На Тирренском побережье есть Реджо, не считая Неаполя или Салерно. Чего же ради обходить мысы и пробираться в залив Таранто? Это только удлиняет морское путешествие. А побережье здесь не настолько богато, чтобы оправдать такую роскошь.

И все же, по словам доктора В., в сравнении с некоторыми другими городами, удаленными от моря, Таранто еще повезло. В Матере, например, где из 40 тысяч жителей 30 тысяч ютятся в пещерах, только-только еще подошли к разрешению главной проблемы — жилищной. Увидев наши оторопелые физиономии, он пожимает плечами:

— Нет, я не шучу. Первая очередь жилых домов уже возводится и скоро будет сдана в эксплуатацию. В них заселят самое большое 10 тысяч этих *disgraziati*. Останется разместить еще 20 тысяч.

— Когда же это произойдет?

Вздыхая, он заключает:

— *Iddio provvederà***.

Он не бросает камня ни в чей огород. Просто констатирует факты. Мы начинаем думать, что на Юге вкладывать капиталы во что-нибудь — все равно, что бросать их на ветер, что все эти поглощенные Югом миллиарды пойдут прахом. Здесь можно говорить о человеческом долге, о христианском мило-

* Планирование (англ.).

** Бог знает (итал.).

сердии — о чем угодно, только не об экономике в общепринятом смысле слова.

В Бриндизи нам попался собеседник с более резкими суждениями. Жизнь на Юге жалка и никчемна. Умы ограничены. И все это из-за женщин, которые фанатически цепляются за устарелый образ жизни, традиции, суеверия.

— Значит, мужчины у них на поводу? — спрашивает Лилла.

— Вы позволите говорить открыто, мадам? — спрашивает тот в ответ.

— Разумеется.

Он буквально взрывается:

— Чего ждать от женщин, если они постоянно применяют постельный шантаж? Если ты будешь якшаться с этим социалистом — до меня не дотрагивайся.

Я прерываю его:

— Я думал, что вы христианский демократ.

— Да, — раздраженно кричит он. — Как и все! А кем прикажете еще быть в этой благословенной стране? Кастрированным социалистом? Замаскированным бахвалом-неофашистом? Вот тут-то и кроется трагическая ошибка стороннего наблюдателя. Если в Италии еще сохранилась капля свободы, то искать ее надо в лоне Христианско-демократической партии. Наше левое крыло в десять раз прогрессивнее и деятельнее социалистов. Наше правое крыло перецеголяло самых закоренелых капиталистов. Может быть, вы думаете, что я против религии? Ничего подобного! Я люблю бога, я только хочу, чтобы мне позволили любить его спокойно. Поймите мое положение! Что остается делать бедному христианину, когда у него с одной стороны жена, которая шантажирует его богом в постели, а с другой — священник, который угрожает ему богом на небесах?

Такая неприглядная картина повседневной жизни кажется сошедшей прямо со страниц романа Жоржа Оне*. Браки, устраиваемые родителями под угрозой лишить наследства, криводушие, сомнительные грязные комбинации, маскируемый адюльтер, супружеские измены, подстраиваемые для того,

* Жорж Оне (1848—1918)—французский писатель.—Прим. перев.

чтобы импотент получил наследство, отписанное потомку, которого он не может произвести сам. Все, что угодно. Полный репертуар классической мелодрамы.

— И никто против этого не бунтует?

— Единственный способ бунтовать — это уехать и не вернуться. А кто не уехал, тот смиряется, и среди оставшихся — блаженны, не ведающие о существовании иной жизни.

Глаза его блестят:

— Вы никогда не задавались вопросом, насколько оправдан заголовок книги Карло Леви «Христос остановился в Эболи»? До нас он так и не дошел. Мы отросток слишком длинного полуострова, забытый богом и людьми. Одно слово — Юг.

Отныне простые слова *il sud, il meridione* наполняются для нас горечью и несчастьями, которые мы здесь вобрали в себя. Зачем ехать в Матеру и смотреть на людей, живущих в гротах. Мы уже видели цыган Гренады на Сакромонте. Наверное, несчастные из Матеры лишены даже возможности использовать любопытство туристов. Мужество покидает нас, и мы берем курс на Бари.

Наш отель вздымается безукоризненно прямо и выглядит вызывающе современным. Вдоль побережья все здания города новые. Но за этим островком...

По тысяче мелких признаков нам сдается, что Бари — самый типичный город Юга. Своего рода общий знаменатель предельной нищеты и баснословного богатства с присущим всем портам социальной мешаниной. Бедняки обогащаются, богачи беднеют. Соседство кораблей, реальная возможность бежать, как правило, делают барьеры между кастами более проходимыми. Народ добродушен и едва слышит звон презренного металла, готов на любые услуги. Зато этим людям свойственно своего же собрата, оказавшегося в худшем положении, презирать с высокомерием чуть ли не миллионера.

Здесь все без претензий, просто. Трущобы приучили людей жить на улице, потому что двери их домов из-за духоты постоянно открыты. Они приветливы и заняты, но до тех пор, пока не столкнутся лицом к лицу с высокомерием денег, с *prepotenza*

имущего, претендующего на нечто большее и на целование руки в придачу. Официант «большого кафе», которому Лилла заказывает чай, преувеличенно удивляется.

— Без сахара! — уточняет Лилла.

Он отворачивается, изображая на лице отвращение:

— Мадонна! Его и с сахаром-то пить невозможно!

Однако, инстинктивно учуяв, что мы отказываемся от сахара вовсе не потому, что нам нечем за него заплатить, он начинает держаться *senza complimenti* *.

Возвращаясь с чаем, он уже не ломается. Умиленно наблюдая краешком глаза, как я старательно ухаживаю за Лиллой, он глубоко вздыхает (это выходит у него очень комично) и раздражается:

— Ах, синьор, вы, я вижу, здорово дорожите своей спутницей, хотя она и пьет чай. *Fortunato* **. Да будь у меня такая жена, как ваша, жил бы я в своей Болонье, — новый вздох, на этот раз неподдельный, — в И т а л и и!

И, наклонившись вперед, он тихо добавляет:

— Нипочем бы не приехал я в эту страну «бедуинов»!

Две девчушки дразнят мальчика в рваных штанишках за то, что он не решается показаться в таком виде матери. Они приплясывают и поют, тут же выдумывая слова на мотив народной песенки. Одна разыгрывает прогневанную мать, другая — несчастного плаксу. Мальчику это надоедает, и он бросается на них с кулаками. Разувшись и взяв по башмаку в каждую руку, девочки отбегают, чтобы издалека повторить все сначала. Является третья девочка, чуть постарше, но какая-то чопорная и не по годам степенная, с трагическими глазами. Не меняя выражения лица, она поддает ногой в зад одной девочке, потом другой. Такой удар способен вывести на орбиту спутник средней величины. После этого девочка флегматично идет своей дорогой, безразличная к потоку брани, которую изрыгают пострадавшие, потирая себе зады.

* Любезно (*итал.*).

** Счастливец (*итал.*).

Вдалеке мы видим мальчика лет четырнадцати, сидящего на тротуаре и проливающего — кто знает, почему? — горючие слезы. На другой стороне улицы стоит мужчина — отец мальчика? — и отчитывает его, щелкая длинным кнутом. Ребенок, всхлипывая, что-то просит. Потрясая кнутом, мужчина делает вид, что хочет сойти с тротуара. Парнишка с воем поднимается и, отбежав метров на десять, повторяет свои требования. Собравшись у окон, все обитатели улицы оживленно комментируют происходящее.

В сердце старого квартала Бари дети завтракают прямо на улице, заедая огурец или помидор здоровенной краюхой хлеба. Женщины ополаскивают помоями мостовые перед своим жильем и между делом болтают. В тени портика вяжут старухи, надев мотки шерсти на шею и натягивая их одеревеневшим затылком. Мы всякий раз поражаемся, видя спальни, двери которых открываются прямо на узкую улицу без тротуара.

Малыш, с виду не старше трех лет, устремившись верхом на пороге темного коридора, поглощает километры спагетти с томатным соусом, смотанные в клубок на дне огромной кастрюли. Сидя прямо на мостовой или на ящике, взрослые играют в карты. Слева, справа, спереди, сзади — повсюду включенные на полную мощность репродукторы изрыгают попеременно песни, речи, музыку, комментарии. Старые, поросшие мохом, осевшие черепичные крыши щетинятся неизбежными телевизионными антеннами — их называют здесь тиву (TV в итальянском произношении).

Между похожими, как близнецы, облупившимися фасадами домов проезжает *camioncino* — фургончик коробейника наших дней с громкоговорителем на крыше. Одной рукой поворачивая руль, другой держа микрофон, торговец вливает в эту симфонию городского шума свой громовой голос, расхваливающий товар. Этот товар — «смотрите, смотрите, *prima qualità* *!» — старательно выложен спереди на витрине, закрывающей от водителя

* Первый сорт (итал.).

три четверти ветрового стекла. Перед магазином покрывок (покрывки называются *gompa*, резина) ученик, которому нет еще и десяти лет — тощий, изможденный, сутулый, болезненный, — с остервенением заправляет камеру внутрь старой-престарой покрывки. Он получает 100 лир в день и ради этих денег был вынужден бросить школу. Толкая перед собой тележку с безобразными, еще живыми каракатицами проходит торговец рыбой, через каждые десять метров оповещая о себе надсадным голосом. Тележка столкнулась с фургончиком моторизованного коробейника. Катастрофа. Ни один не хочет уступить дорогу другому.

В оглушительной перепалке склоняются поочередно правительство, супружеская добродетель, мама и бабушка. Вставляют в нее свое слово и кумушки.

В жалком дворе какой-то завитой франт, тонкие ляжки которого плотно обтянуты заношенными до предела голубыми джинсами, вообразил, что он один на необитаемом острове, и оглушительно трещит мотором красного *Motoguzzi*, сверкающего новой краской. Проходит безупречно чистый молодой человек в белом костюме; густая шевелюра с чудовищно роскошной завивкой разделена пробором и напомажена. Сразу видно, что он отправился на свидание с одной-единственной целью — «загубить» девушку. Только действовать надо осторожно. Все немолодые женщины квартала и сама девица, к которой он идет, — это вражеский лагерь. На его стороне только мужчины. Извечная борьба полов. Одни пытаются надеть на неосторожных узы Гименея, а другие всячески отбрыкиваются. Победа, разумеется, достается слабому полу, и все завершается свадьбой, на которой приглашенные в гости соседи за один день поглощают годовые сбережения обеих семей и все то, что они взяли в долг.

Потому что если богатого просто обязывает положение, то бедняк блюдет свое достоинство, демонстративно презирая деньги. И еще до того, как долги будут выплачены, на грязных, покатых улицах прибавится ребятишек — в соплях, в пыли, в слезах и в смазочном масле они будут передвигаться на собственных задах по сбитым мостовым. И на их мор-

дашках будет играть та неподражаемая улыбка, ради которой состоятельные туристы приезжают сюда с другого конца света в надежде вновь обрести веру в человечество, растраченную в погоне за долларом, франком, фунтом стерлингов или маркой.

После свадьбы этот молодой человек, ныне такой фатоватый, тщательно уложит свой белый костюм и спрячет его для воскресного выхода. Еще не совсем придя в себя, он попытается подвести баланс: конец свободе, прощайте, мечты о побеге. Только холостой мужчина может бежать в другие страны, а для него теперь эмиграция стала возможной лишь ценой разлуки или удвоенных хлопот. И, мигом отрезвев, он сообразит, что это она «загубила» его. А она с блестящими от неиссякаемого потока слез глазами тоже поймет, на какую приманку клюнула: с завтрашнего дня ей придется наряду с другими женщинами, не жалея помоев, ополаскивать мостовую.

Mezzogiorno. Полдень. Стихия лета.

Мыслители, философы и психологи, вечно докапывающиеся до закономерностей, установили, что самые несчастные народы больше всех дорожат существующими социальными порядками, даже если эти порядки давят их. Статус-кво, старинный, ненавистный, ими же самими при случае смешиваемый с грязью, они предпочитают любому будущему, которое они, как правило, превозносят до хрипоты. Согласен. Однако при бесспорном и закоренелом консерватизме всех итальянцев — независимо от социальной принадлежности в их психологии заметен сдвиг. Это не перелом в сознании. Это еще неосознанная эволюция, которая, став реальностью пока лишь номинально, постепенно начинает давать о себе знать.

Ленность? Она была объяснимой и оправданной: стоило ли трудиться, если все равно подохнешь с голоду. С тех пор как под давлением событий распределение стало более справедливым, итальянец готов работать. Конечно, недоверие, соперничество между Севером и Югом, нечестные *combinazioni**

* Махинации (итал.).

и, главное, вековые привычки еще не изжиты. Но в стене апатии пробита брешь, которую дальновидные люди стремятся расширить.

Прозябание в трущобах, грязь? С одной стороны, солнце все очищает; с другой — молодежь, познав радости, доставляемые спортом и жизнью на свежем воздухе, не намерена дольше прозябать в четырех облезлых стенах.

Взяточничество? Говоря о нем, я пытался вскрыть его истоки и причины. Демократическая свобода слова и тут сыграла свою роль, позволив напомнить о честности и духовной щепетильности. Конечно, самый ничтожный жандарм все еще вправе тыкать арестованного. *Celere* * по-прежнему разгоняет сборища голодных и ради защиты привилегий так называемых правящих классов бросает свои джипы на людские толпы. Но среди угнетенных есть уже немало таких, которые прозрели и упорно борются со всем, что препятствует прогрессу.

С духом покорности судьбе — уже! — встретились мы и по ту сторону баррикады. В Барлетте у нас состоялась продолжительная беседа с землевладельцем — одним из тех синьоров, которые опомнились от шока, вызванного «преступными законами» об аграрной реформе, засучили рукава и, коль скоро земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает, принялись за дело. Этот смелый человек оказался между молотом и наковальней. Он хочет, чтобы его сыновья учились, такое желание само по себе похвально. Но один из них стремится стать адвокатом, а второй — врачом. Все методы — убеждение и принуждение — ничего не дали. Теперь он знает, что после его смерти в семье не останется человека, готового принять эстафету. «Они», вступив во владение его землей, поделят ее на участки и раздадут поденщикам.

С гримасой неудовольствия и со вздохом сожаления он признает, что справедливости ради земля должна принадлежать тем, кто заставляет ее давать плоды. Он плачет, признавая это, но признает.

* Моторизованная полиция (*итал.*).

Есть прямые следствия такого восприятия этой истины, от которой раньше все отмахивались.

В Италии система накопления и капиталовложений базировалась почти исключительно на землевладении. Трудящаяся и «накапливающая» части населения полуострова были развращены рентами, займами, девальвациями и финансовыми скандалами не меньше, чем во Франции. Мало того, что земельная собственность «придавала вес», она еще и открывала доступ к высшей ступеньке общественной лестницы. Земля поглощала сбережения всех — начиная с крестьян и кончая самыми высокооплачиваемыми представителями свободных профессий. Едва став собственником земли, бывший арендатор ни с чем так не торопился, как посадить на нее нового арендатора. Готовые же землевладельцы мечтали только о «цветочке в венок» — о присоединении новых нескольких гектаров к уже имеющимся землям. Земля и приносила доход, и давала «положение» в обществе.

Теперь обстановка стала иной. По словам нашего собеседника, перспектива новых отчуждений, по примеру прошлых лет, изменила ситуацию. Конечно, он сам мог бы еще при жизни продать свою землю другому хозяину, наследники которого были бы готовы продолжать дело. Однако такой шаг таит в себе немало ловушек и всяких «но».

Прежде всего перед ним встает вопрос, чем заниматься дальше. Он приобрел вкус к труду и к ответственности главы семейства, а отсюда пошла его любовь к земле. Кроме того (и, на мой взгляд, это будет иметь последствия поважнее), он начинает сомневаться в своем долге оставить детям как можно большее наследство. Он досадует на то, что сыновья постепенно уходят из-под его влияния, и размышляет: «Разве они заслужили, чтобы я жертвовал собой для их блага?» Нет, он не собирается менять свою землю на звонкую, полновесную монету, а будет и дальше получать от нее денежный доход.

Деньги? Выплачиваемый банками процент ничтожно мал, а покупательная способность лиры ничем не гарантирована. Конечно, можно скупать акции. Но иметь дело с биржей? У него нет навыка игры на

бирже, и он не доверяет другим биржевикам. Что же делать? Выход один — вкладывать капитал в торговлю или промышленность.

Совершенно ясно, что выгоде помещать капитал в земельную собственность настал конец — эта крепость капитализма обложена со всех сторон. И хотя существующее законодательство все еще открывает перед финансовыми магнатами большие возможности, обзавестись землей они не рискуют. Земля — корабль, давший гибельную течь, и крысы уже покидают его.

Воздев глаза к потолку и вообразив, что это небо, наш собеседник предается воспоминаниям о добром старом времени, когда он прилагал столько усилий, чтобы расширить свои владения.

Он наивно признается, что обстоятельства последнего времени постепенно облегчили его жизнь. Отпуски, путешествия, обновления, благоустроенность, твердость в отношении неоправданных претензий детей: «Если им захотелось ездить в университет на машине, пускай сами заработают на нее деньги». Разумеется, он поможет им оборудовать кабинеты, когда они кончат учиться.

Мало-помалу, сам того не желая, он приобщается к более передовой социальной философии. Сменится два-три поколения, и этот бескровный революционный переворот приведет к тому, что «буржуа» перестанут вкладывать свои капиталы в земельную собственность; прекратится эксплуатация крестьянства. Это один из тех фактов, которые повлекут за собой большие последствия и приведут не только к раскрепощению земледельца, но и дадут толчок развитию промышленности.

Рельеф этого края безнадежно однообразен. Перед нами равнина, но уже не такая пустынная и бесплодная. Из Барлетты, которую мы покидаем, взглянув в последний раз на «Колосс» — памятник IV века, изображающий, как полагают, императора Валентина, — мы направляемся в Фоджу. Как это ни странно, но каждый новый город на нашем пути — город современный. Дорога старательно огибает все отсталые деревни. Чем руководствовались власти? Стремлением избавить автомобилиста от необходи-

мости замедлять ход или желанием спрятать от него слишком большие язвы?

В Фодже у нас состоялась только одна встреча. Беседуем с молодым человеком, запальчивым, живым, логичным и непоследовательным. По его мнению, средства, отпущенные Cassa per il mezzogiorno, израсходованы непроизводительно. На эти же деньги можно было бы сделать во сто крат больше. Поэтому он решительно против правящей партии, которую, впрочем, сам представляет в избирательном округе. (Противоречие лишь кажущееся, поскольку, хочешь не хочешь, а надо признать, что в Христианско-демократическую партию вошли люди почти всех политических убеждений, за исключением крайних левых — и то не всегда!)

Мы спрашиваем, сколько, по его мнению, отпущенных средств прилипло по пути к рукам. Он отвечает без колебаний:

— Семьдесят пять процентов!

Конечно, это огромная утечка средств. Еще в провинции Нуоро, на Сардинии, показывая нам новый вокзал, строительство которого обошлось в девять миллиардов лир, гид хладнокровно объявил, что «с учетом обычных комиссионных» он стоит максимум два.

Неожиданно в глазах нашего собеседника мелькнула бессильная ярость, и он снова разволновался:

— Я, мсье, человек с убеждениями. Из-за политики я могу даже забросить мои личные дела. И все же признаюсь: я — ревностный католик во время избирательной кампании агитировал за Христианско-демократическую партию не жалея сил, и все-таки я неоднократно на глазах у всех покидал церковь, потому что священник, обязанный быть вне политики, проводил с амвона предвыборную агитацию.

— Так порвите с партией.

Он сокрушенно разводит руками:

— Другой работы не найдешь. Но и с этой жизнь нелегка.

Ему двадцать шесть лет, и он горит желанием жениться, но мало зарабатывает. Припертый к стене,

молодой человек признается, что, конечно, он и его невеста берут у жизни солидные авансы.

— Но мы очень осторожны! Santa Vergine! Настолько, насколько это возможно. Так что потом оба проклинаем наши редкие свидания.

Дрожащими от волнения руками он вытаскивает карманный молитвенник, открывает на первых страницах и кладет перед нашими глазами:

— Видите? Это Декалог. Десять заповедей. Квинтэссенция человеческой философии и морали. Один из самых кратких текстов и в то же время самый насыщенный мыслями, ничего возвышеннее никогда не было написано. Хорошо написано. И что же читаешь дальше? Не жри мяса по пятницам и не забывай платить священнику что положено. И посметь только прилепить это к Десяти заповедям!

Обессиленный своей горькой критикой, он умолкает, чтобы перевести дыхание:

— Пустяки,— говорит он, словно извиняясь.— Просто у меня прорвалось то, что долго накапливалось внутри. Я не могу говорить на подобные темы с соотечественниками. С иностранцами другое дело. Вы люди культурные. Только не упоминайте моего имени, прошу вас. Вы погубите меня. Ах! В сущности, это было бы даже лучше. Я был бы вынужден уехать. Здесь нечего делать. Нечего.

Спрашиваю его, знакома ли ему версия, согласно которой протестантская реформа обязана своим происхождением несколько преувеличенному интересу священника Лютера к женщинам. Его глаза загораются любопытством. Не уловив иронии, он цепляется только за смысл и выражает желание прочесть книгу о Лютере. Затем, после краткого раздумья, решительно заявляет:

— Ну нет! Протестантизм? Посудите сами!

Он возвращается к практическим вопросам, и это его конек. По его мнению, единственный выход из создавшегося положения — индустриализация Юга.

— Каким образом? У вас нет квалифицированной рабочей силы, нет природных ресурсов.

Не успеваю открыть рот, как мои возражения опровергнуты: оказывается, они — примитивное за-

блуждение. Минеральное сырье и специалистов даст Север.

— А как быть с удвоенным объемом перевозок: туда — сырье, обратно — готовая продукция?

— Это компенсируется более дешевой рабочей силой.

— А южанин останется жертвой эксплуатации?

— Нет. На сведение дебета с кредитом пойдут те семьдесят пять процентов капиталовложений, которые до сих пор шли на угощение этих синьоров.

Это уже чистейший бред. Неужели он в самом деле воображает, что повсеместное взяточничество можно пресечь по взмаху волшебной палочки? Я восклицаю:

— Утопия!

Наверное, я без предупреждения изменил правилам игры — он смотрит на меня круглыми глазами, откровенно вопрошая:

«Да, ну и что ж?»

Путешественника всегда поражают резкие изменения характера местности в пределах одного района. После тридцати километров пути чуть ли не по Сахаре мы неожиданно без всякого перехода оказываемся среди пышной растительности и за поворотом самой очаровательной из горных тропинок, в ложбине, открываем самую прелестную из деревушек — Маттинату: солнце светит здесь только по утрам; очевидно, это и пытается передать ее трогательное название *. Деревня расположена в районе Гаргано — между Фоджей и Тремоли, там, где у итальянского сапога торчит шпора.

Возможно, здесь не так красиво, как нам показалось. Но эти места на нас, утомленных бесчисленными пейзажами, произвели очень яркое впечатление. И уж совершенно безотносительно лес, берег, деревня показались мне просто великолепными, и я был бы рад побывать там еще разок. Эти края Роже Вайян** сделал местом действия своего «Закона»;

* Mattinata — утренняя (итал.).

** Современный французский писатель. — Прим. перев.

а Дассен* приезжал сюда снимать натурные кадры одноименного фильма.

В школе нам прожужжали уши герцогством Беневентским, которое вечно переходило из рук в руки.

А тут по дороге вам показывают не только его, но и ущелье Stretta di Arpaio, которое многие историки путают со знаменитыми ущельями Кодин. Это название часто упоминается здесь в разговоре и только затем, чтобы выставить вас перед женой в жалком виде. Потому что Лилла никогда не упускает случая о чем-нибудь спросить. Если я в состоянии ответить, она, желая приуменьшить мои заслуги, громогласно цитирует Фейдо**:

— Он знает все, Коко, он знает все!

Как правило, я маскирую свое раздражение улыбкой, надеясь, что ее нарочитость не очень заметна. Если же я не знаю, что ответить, как это было в случае с ущельями Кодин, Лилла не произносит ни слова, и это еще более оскорбительно.

Беневенто, насколько мне известно, — единственный город, строитель которого был сексуальным маньяком. В самом деле, город имеет форму бюстгальтера. Мне совершенно неизвестно, почему он знаменит. Я знаю вот что. Вечером, когда, обессиленные и разбитые, мы не могли уснуть, мы наняли извозчика и отправились в кино. Кучер пожелал нас обождать.

— За это время лошадь отдохнет, — сказал он.

И действительно, когда мы вышли из кино, он был тут как тут.

Мы намеревались выехать пораньше утром. Но человек предполагает... В гараже, где мы заправляемся бензином, за нами останавливается малолитражка. Водитель, молодой человек лет под тридцать, подходит к нам, восхищается Пафнутием, жалуется, что в Италии «Дофин» стоит очень дорого, — короче говоря, «завязывает беседу», и, слово за

* Современный американский кинорежиссер; после изгнания из Голливуда в 1950 г. работает в Европе, преимущественно в Греции. — *Прим. перев.*

** Жорж Фейдо (1862—1921) — французский драматург. — *Прим. перев.*

слово, Лилла задает ему свой знаменитый вопрос про ущелья Кюдин. Он знал ответ, скотина! Наверное, он был трижды доктором бог весть каких наук.

— Здесь римская армия, окруженная самнитами, прошла под ярмом...

— Под чьим ярмом, под каким ярмом?

Но я услышал не ответ, а комментарий:

— Под ярмом, которое наверняка не идет ни в какое сравнение с некоторыми другими, которыми мы имеем наглость хвастаться.

— Какими другими?

Оглядевшись с видом заговорщика, он делает нам вполголоса обычное признание:

— Вы иностранцы, люди культурные... с вами можно говорить... Только не здесь...

Учуяв хороший след, мы едем к нему домой (это, как он говорит, честь его дому). Мы не видим ни жены, ни детей.

— Я пытался найти работу по профессии, ради которой корпел в университете и чуть не подох с голоду. Потом я освоил одно ремесло, и с тех пор все идет как нельзя лучше.

Ему, несомненно, грустно.

Поскольку мне вовсе не улыбается потратить целый день на Беневенто, я спрашиваю напрямик:

— Вы хотели нам что-то показать?.. — Он протягивает мне отпечатанные типографским способом карточки*.

— Вы не знакомы с этим, а? — торжествует он.

— Что это такое?

— «Карточка души». Каждый священник имеет у себя такую картотеку по своей общине. Мне удалось стащить образцы.

И подумать только, что во Франции есть еще наивные люди, возмущающиеся полицейской картотекой! Однако предпочитаю предоставить слово нашему собеседнику:

— У нас, мсье, вдобавок существует еще и картотека душ. Она глаз, подсматривающий за

* Одну форму, имевшуюся у него в двух экземплярах, он подарил мне. С другой я снял фотокопию.

тем, что для человека наиболее сокровенно: за мыслями, за убеждениями. Для чего нужны эти карточки? Очень просто. Вы добиваетесь места — прислуги, садовника, счетовода или президента акционерного общества. Работодатель имеет обыкновенные собирать сведения о просителе. В других странах он запрашивает специальное агентство или банк, вкладчиком которого вы состоите. В Италии он адресуется к священнику... Тот отыскивает карточку... Не беспокойтесь, карточка сопровождает человека при всех переменах его местожительства. Она содержит исчерпывающие сведения, помогая составить под вполне определенным углом зрения точное представление о человеке. Прежде всего семья, количество детей, нравственный облик супружеской пары — как мужа, так и жены — и каждого ребенка. Состояние квартиры: начальными буквами обозначаются все градации — от роскоши до нищеты. Квартирная плата. Источники существования. Служебное положение. Жалованье. Расходы.

— Перейдем к серьезным вопросам. Легальный брак (то есть по церковному обряду), фактический развод, гражданский брак, внебрачная связь (это уже пахнет дьяволом), развод по закону (в Италии закон не позволяет развода, допуская раздельное проживание супругов без расторжения супружеских уз). Следуют графы воистину поучительные:

Политические убеждения

Религиозные убеждения

Религиозное образование

Физическая близость: очень частая

частая

разумная

редкая

отсутствует

Принадлежность к одной из католических организаций:

Католическое действие

«Братство третьих»

Христианско-демократическая партия

Ассоциация трудящихся католиков.

У них на учете все: инакомыслящие, насмехающиеся над священниками, неужившиеся с женой,

изменяющие супругу (супруге), члены профсоюза, не желающие ходить в церковь из-за того, что священники недостойны своего сана, не подающие в церкви из-за того, что эти деньги не поступают в пользу бедных, не являющиеся к исповеди потому, что священник пользуется признаниями, чтобы совать нос в чужие дела. Не говоря уже о коммунистах, социалистах, атеистах. Ага! Пускай только попробуют где-нибудь начать хлопотать о месте!

Вы мне скажете: не везде же так! Еще бы, не хватало! В больших городах, там, где другие партии лучше организованы и достаточно сильны, этого нет. Но в остальных местах приходится лавировать, оставаться в тени, идти на компромиссы, как, например, поступаю я сам.

В этой стране, гордящейся своим католицизмом, половина брачных союзов не узаконена. Из неудачного брака выхода нет. Иногда супруги разводятся в муниципалитете — процедура юридического расторжения брака стоит дорого, — но остаются связанными церковными узами.

Итальянцы не выносят одиночества. Они создают новые семьи. Незаконные. Дети рождаются от так называемых свободных союзов (которые преследуются). Незаконные дети с самого рождения оказываются в двусмысленном положении. Их записывают в акты гражданского состояния как *figli d'ignoto* — неизвестно чьи дети. Не иметь отца — это стыдно и это несправедливое унижение. Всю свою жизнь несчастным придется страдать от юридической безотцовщины. Слава богу, за последнее время число детей от неизвестных отцов настолько возросло, что власти решили графу об отцовстве в анкеты не включать.

Вот что рассказал мне молодой человек, патриот своей родины, по проверенным сведениям — не коммунист. После избирательной кампании, которая, следует признать, многих возмутила, он вышел из Христианско-демократической партии.

Как правило, здесь верят в бога и женщины, и мужчины. А его святейшество папа вообще выше всякой критики. Поэтому, претендуя на вольнодумство, мужчины обрушиваются на священников. Един-

ственное исключение составила очаровательная пара супругов лет около тридцати, встретившаяся нам на террасе кафе в Салерно.

К нашему немалому удивлению, в этом случае возмущается больше жена, да так возмущается, что достается и самому папе. И вот почему: в 1944 году ее муж, временно демобилизованный, скрылся в Ватикане.

— Я подыхал с голоду; семь лет, проведенных в армии, можно считать потерянными. И вот меня снова хотели забрить.

Супруга его перебивает:

— Он глотал люпин, чтобы заглушить голод! Фунтик люпина стоил пятьдесят сантимов! И знаете, что сказал ему его святейшество?

— Такова воля божья, — сказал мне папа.

— А дезертиров в Ватикане было хоть пруд пруди.

— Да, но таких, у которых имелись денежки, чтобы откупиться.

Наслушавшись антиклерикальных речей, мы подумали было, что повстречались наконец с единственными атеистами Италии. Ничего подобного. Господь был тут же, он существовал, он присутствовал, и все это знали:

— Отец Пий — святой человек, излечивающий несчастных, принимающий бедняков в своем монастыре и клинике Сипонте*. И это так же верно, как и то, что все американские итальянцы шлют ему чеки в долларах.

— Как вы узнали, что он «заместитель» Христа?

— Как? Вы не знаете?

Муж вздымает руки к небу:

— У него на теле стигматы!

Жена его поправляет:

— Если уж говорить правду, Эрминио, они появляются только на пасху...

* У подножия Гаргано, недалеко от Фоджи. Отец Пий чтим едва ли не всеми; только один из наших многочисленных итальянских собеседников отозвался о нем резко. А больница в Сипонте предназначена для богатых — плата там выше, чем в самой дорогой клинике Рима.

Побережье от Салерно до Сорренто настолько очаровательно, что не хочется уезжать. Жаль, что слово «рай» так затаскано. В Амальфи объявлена «война ажурных гротов». Вам чуть ли не предлагают оплаченный проезд на Капри, чтобы вы убедились, что местные гроты лучше каприйских!

Целую неделю я тщательно скрывал от Лиллы один секрет: годовщину нашей свадьбы. Но сегодня я не намерен скаредничать, прозябая в заштатной гостинице. Лилла в ужасе: она видит, что я веду машину к самому большому в Сорренто отелю, она слышит, как я спрашиваю комнату с видом на море. Нас ведут в огромный номер, в котором есть ванная с ручным душем и еще отдельный душ; кругом мрамор — белый, розовый, черный. А вид! Какой вид, боже мой! Я готов стать в угол и петь «Вернись в Сорренто». Мне только не хочется отравлять жене этот вечер. Узнав о причине, толкнувшей меня на такое роскошество, Лилла саркастически улыбается: оказывается, я ошибся числом. Вот она-то действительно приготовила сюрприз и преподнесет его мне как раз в тот день. Но она хорошая девочка и прощает мне мою ошибку. В конце концов из соображений экономии мы все-таки решаем отпраздновать нашу годовщину в этот вечер. Изысканный обед — pizza* и minestrone**, то есть блюда, обычно запрещенные нашим семейным кодексом. После обеда на балконе нашего номера, вид с которого красив по-прежнему, моя жена устраивает мне ласковую головомойку:

— Ты отдаешь себе отчет? 7 тысяч лир за одну ночь!

Я оправдываюсь:

— Включая обслуживание и налоги.

— Пусть так, дорогой! Но уж не воображаешь ли ты, что твоя книга «Я видел, как живет Италия» разойдется тиражом в пятьдесят тысяч? (Просто ужасно! Никто не хочет понять, что мы действительно никогда не писали бы книг, не будучи уверенными в том, что они разойдутся пятидесятитысячным ти-

* Лепешки из теста (итал.).

** Густой суп (итал.).

ражом. Кто и когда садился писать книгу, не стараясь представить себе, что скажет о ней умный критик?)

В час Морфея пошли сплошные разочарования. Окно приходится закрыть из опасения, что как бы москиты не ринулись на лампы. Но закрыв окна, мы обнаруживаем, что на весь наш номер есть только одна лампочка, запрятанная в глубине огромной хрустальной люстры. Соизволив зажечься, она излучает анемичный мертвенно-бледный голубоватый свет, который проникает далеко не во все углы огромной спальни. В частности, там, где стоят наши кровати, совершеннейшая темень, а нам хотелось немного почитать перед сном. Ни великолепный канделябр над изголовьем жены, ни второй — над моим, не функционируют. Ощупью, натываясь на мебель, мы разыскиваем штепсель. Получив всего два удара током, я убеждаюсь, что здесь все в порядке. Но сунувшись под кровати, обнаруживаю, что наши роскошные кровати — фикция. На простые козлы положены доски, а на них сердобольная рука администрации водрузила тюфяки, откровенно говоря, далеко не пышные.

Вне себя от бешенства, я зову горничную. В ответ звонит внутренний телефон (все удобства!). Я рычу в микрофон:

— В чем дело?

— Вы звонили, синьор? Чем могу служить? Обязан вас предупредить, что персонал ложится спать в десять часов. До восьми утра номера не обслуживаются.

Если бы в ту минуту в моих сосудах оказалось крови на каких-нибудь пятьдесят кубиков больше, меня наверняка хватил бы апоплексический удар. Я кричу:

— А свет? За свои 7 тысяч лир имеет человек право на свет?

— Какая-нибудь лампа не горит, синьор?

— Не одна, а тридцать три!

Минута размышления, и снова вежливый голос продолжает:

— Электромонтеры уже ушли домой, синьор. Но у меня, кажется, осталась свеча. Не будете ли

вы столь добры спуститься за ней, мне не на кого оставить бюро...

— А я голый! — отвечаю срывающимся голосом и бросаю трубку, потому что из ванной доносится вой Лиллы, переживающей один удар за другим:

а) она приняла ванну и спустила воду, намереваясь смыть мыло с помощью ручного душа;

б) оказалось, что шланг ручного душа весь в дырках, из которых во все стороны хлещет вода; досталось и мне, когда я вошел; вода не попадала только на мою намыленную жену;

в) кран над ванной считает, что его рабочий день закончился;

г) кран, подающий воду в душ, не желает закрываться.

С большим трудом я веду Лиллу с глазами, полными мыла, ко второму душу. Увы! Пока я стирывал его, струя воды приплась мне на голову, но больше из него не удастся извлечь ни единой капли,

Я переносу свои манипуляции на умывальник, но управлять его кранами так же сложно, как водить трактор. Наконец четвертый кран справа выдал маленькую струйку воды. Но именно в этот момент раздался стук в дверь. Сердобольная администрация прислала нам ночного сторожа, вооруженного лестницей. Этот остряк для начала осведомляется, не умею ли я менять пробки:

— Конечно же, это пробки. Когда у меня в доме гаснет свет, это всегда из-за пробок.

Затем он просит меня показать, где помещается распределительный щит. Почему я знаю! Захлопнув дверь перед его носом и лестницей (по моей милости Франция наверняка нажила себе еще одного врага), мчусь обратно в ванную, где Лилла уже стучит зубами*.

Наш последний резерв воды иссяк. Но в этих дворцах с их современными удобствами всегда можно

* Нет, мои ноги не поскользнулись на плитках, и я не расквасил себе нос. Я пересказываю не фильм, а достоверную историю.

найти выход из положения. В данном случае помогли многочисленные размокшие полотенца. Нам осталось только погасить последнюю лампочку, чтобы спастись от налета mosкитов, и сушиться под вечерним бризом. А потом? На войне как на войне. Мы засыпаем, не прочтя ни строчки.

Назавтра по настоянию Лиллы, которая всегда за справедливость, я, расплачиваясь по счету, заявляю рекламацию по всей форме. Оказывается, я имею право не на скидку, а на то, чтобы выслушать сетования дирекции, которая горько жалуется на строителей, стекольщиков, электриков и водопроводчиков.

— А каменщики, мсье! Ах! Не дай вам бог иметь дело с каменщиками! Ничего удивительного — все хорошие мастера уехали во Францию.

Мы убежали, не спросив сдачи. Да здравствуют отели-люкс! В машине Лилла наклоняется ко мне и целует:

— Благодарю за праздник в честь годовщины нашей свадьбы.

Это резюме. У Лиллы никогда не узнаешь, иронизирует она или нет.

И наконец Неаполь. Я люблю этот город особой, горячей любовью. Как здесь говорят *Ci ho passione* — я питаю к нему страсть. Люблю певцов, которые поют вам свои затасканные серенады такими голосами, от которых может свернуться майонез, даже если он приготовлен на оливковом масле.

Люблю неаполитанскую манеру отпускать комплименты. (Когда С. приводит нас обедать в клуб журналистов, он наставляет метрдотеля: — Не заставляй меня краснеть, это французы.)

Люблю их юмор. (Заказывая для нас по телефону комнату в пансионе, С. взрывается: — То есть как две кровати? Одну двуспальную семейную кровать. Это вам не англосаксы, а латиняне!)

Люблю кишаций людьми так называемый испанский квартал, его прямые улочки и внутренние комнаты, открытые взору прохожего, который видит старушку, похрапывающую в постели после обеда. Люблю шумный народ неаполитанских трущоб, проводящий на улице двадцать четыре часа в сутки.

Люблю пышную матрону, выставившую на улицу свой стол для глажения, и белье, как флаги, развешенное между балконами, и сапожника, рассказывающего о своих любовных похождениях скептически слушающим его *guaglioni** и забивающего при этом гвозди в подметки. И эти четыре зада, свисающие на улицу из окна чьей-то комнаты, в темной глубине которой мерцает экран телевизора. Почему они смотрят телевизор через окно, если открыта дверь? Потому что у двери сидит за швейной машинкой женщина, которая шьет, не спуская глаз с экрана. И нарядных девушек, спорящих со своей мамма, которая, стоя на балконе третьего этажа, не соглашается дать им ключ от *portone*, опасаясь, что девушки поздно вернутся домой (эта мера, кстати, не достигает цели). И беременных женщин, которые при такой нужде радуются своему животу. И этого типа — пижона из пижонов, — который шепчет оправдания своей зардевшейся дульцинее, стоящей по другую сторону оконной решетки, и старается пощекотать ей ушко кончиком усов. Меня так и подмывает сказать ему:

— Не волнуйся, она придет!

На что он, конечно, ответил бы:

— Я знаю, *ma si vuole* (но так полагается).

И столяра, который запросто, прямо на улице, сколачивает гроб...

Мне кажется, что я люблю даже огромное отвратительное здание почты** и безобразный неоновый щит на Вольтурно, указывающий, где находится церковь.

На стоянке такси и извозчиков я притормаживаю, чтобы спросить дорогу. Один шофер любезно объясняет мне, дремлющий на козлах извозчик вмешивается:

* Юнцы (*итал.*).

** Эти несоразмерно большие почтовые отделения — единственный след мнимых усилий Муссолини облегчить существование жителям Юга. На самом деле они — простой предлог вознести как можно выше фашистский знак — эмблему партии. С грехом пополам его потом отодрали (как и знаменитые лозунги вроде «Один народ, одна партия, один дуче!»).

— Не трать время. Он не иностранец, ты же слышишь, он говорит по-итальянски.

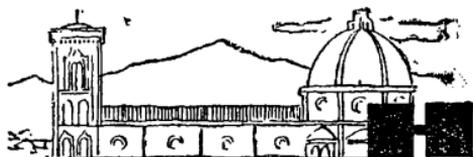
У меня назначена встреча с директором газеты. Он генуэзец, предупреждают меня, словно извиняясь, что не могут предложить мне настоящего неаполитанца.

Мне нравится и ужасающе безвкусная мемориальная доска, привешенная для удобства туристов к окну (пусть не обязательно к тому), через которое явилась муза к композитору, написавшему «Quando spunta la luna a Marecchiare»*. Я люблю и ее.

Я люблю здесь все, без исключения, и в том числе пассаж в чистейшем стиле метро, и знать не хочу, он ли подражание миланской Galleria или наоборот. И фуникулер... Но хватит. Я в этом случае лицо пристрастное, а книга и так уже разбухла.

Из Неаполя мы пускаемся в обратный путь, а дорога домой всегда навевает ностальгию.

Il conto— Заклучение



и для кого не секрет, что оба итальянских национальных блюда — pasta (макароны) и scampi fritti (жареные креветки) завезены Марко Поло с Дальнего Востока. Вероятно, он же импортировал и вечную озабоченность итальянца мнением других о его внешности — черта, типичная для китайцев (или японцев?).

Итальянцу ужасно важно, хорошо он выглядит или плохо. Это оправдывает его заботу об одежде, прическе. Здесь кокетливы и женщины, и мужчины...

Пока наш Пафнутий катит на север, мы беседуем, перескакивая с предмета на предмет. Лилла требует,

* Популярная неаполитанская песня.— *Прим. перев.*

чтобы я дал краткое определение итальянца. На это я отвечаю, что определение француза вызвало бы 42 миллиона опровержений.

— Ну и что ж! — парирует Лилла, — в Италии их будет всего на 6 миллионов больше.

Лилла категорически настаивает на одном: раз я считаю введение обязательным, то без заключения не обойтись.

Но что делать, если меня все равно уличат в неосведомленности, какой бы проблемы я ни коснулся — социальной, экономической или политической. Однако Лилла тверда:

— Так изучи эти проблемы. А то, чего не знаешь, обходи существующими и несуществующими приемами писательского искусства.

Ну хорошо.

Я старался передать то, что услышал от итальянцев, и описать то, что видел в Италии. Мне казалось, что я поступаю правильно: одолжив читателю свои уши и глаза, я даю ему полную свободу делать собственные выводы.

Всякий раз я становился на сторону страждущего и убеждал его, что из-за бездушия презренной элиты ему приходится горше, чем тому, кто страдает у нас. Как отвратительна эта итальянская элита! Она верит или еще пытается верить в свои «сверхъестественные» права, данные ей от рождения. Ее отношение к другим преступно. Де Сика свой фильм «Чудо в Милане» предполагал назвать «I proverbi danno fastidio». Это очень точно передает мою мысль (пусть в кои-то веки мне позволят дать неприлизанный перевод): «Бедные нам осточертели».

Немногие во Франции позволяют себе сегодня высказывать следующую гнусную мысль: «В прежнее время трудящийся люд чувствовал себя счастливей — у него было меньше потребностей». В Италии соответствующая присказка, рифмованная псевдонародной мудростью, сохранила еще силу ложной философии патернализма:

*Al contadino non far sapere,
Quant'è buono il cacio con le pere*

(Лучше пусть мужик не знает, вкусна ли бывает груша с сыром).

Чтобы все это понять, надо видеть их, тех, кого называют *signoroni*, этих господских недорослей, которым нет еще и двадцати лет. Они уверены, что ведут свою родословную от Юпитера, и поэтому плохо учатся и в школах, и в университетах. Эта завтрашняя элита, напмадив волосы, тарактит на мотоциклах и гоняет в машинах, купленных на папины деньги. Головы этих молодчиков заняты только деньгами, да таким видом спорта, как охота на девушек, предпочтительнее девственных — славы больше. А бедные дуры рады-радешеньки.

Но «Олений парк»* и: «Сир. Какая честь для моего дома» отдавали тухлятиной еще в XVIII веке!

К счастью, *signoroni* обречены на исчезновение. Нынче двери университета открыты для всех. Недалеко то время, когда ученые звания, прежде доступные только детям более или менее обеспеченных родителей, станут доступными представителям всех классов общества. Но еще больше выбьет почву из-под ног этих щеголей аграрная реформа и вытекающее из нее «охлаждение» к вложениям капитала в земельную собственность.

Нам всюду говорили, что Италии угрожают две «опасности» — коммунизм и церковь, самые массовые движения современности с их неизменно острой проблемой вербовки новых адептов.

Оба эти явления характерны, однако, не только для Италии. И все же в Италии конфликт между ними острее. Прежде всего потому, что итальянцев открытая борьба привлекает своей новизной. Кроме того, в Италии резче социальные контрасты. Цели, политика Коммунистической партии всюду одинаковы; во Франции они те же, что в Италии. Но в Италии почва для коммунизма благодатнее, поскольку недовольство борющихся здесь более оправдано. Тщетно отрицать исторические заслуги коммунисти-

* Павильон, служивший Людовику XIV местом свиданий.—
Прим. перев.

ческих партий в Европе. Каким же несчастьем было бы отсутствие такой партии в Италии! Она служила и по сей день служит мощным тормозом для алчности имущих.

... В Италии антипод коммунизма — церковь. О ней в этой книге говорится немало. Однако пусть меня избавят от необходимости высказывать банальные истины: есть хорошие священники; точно так же когда-то говорили: есть хорошие евреи, есть хорошие негры, а в последнее время говорят: есть хорошие немцы. Мы уже не дети. Люди чистосердечные не усомнятся в моей чистосердечности или поедут удостовериться в ней своими глазами. Непримируемость же нечистосердечных все равно не оставляет мне альтернативы обычных компромиссов.

Факт остается фактом: роль религии в повседневной жизни итальянца становится все меньше, а обстоятельства вынудили церковь занять несколько своеобразную позицию в конфликте, о котором говорилось выше. Это породило путаницу в умах: слуга божий оказывается то сладеньким священником, то политическим пропагандистом, врагом других народов, а это для простых душ уже слишком, они и без того склонны путать веру с обрядом. Национальная жизнь Италии разворачивается под знаком двойного парадокса: жалуются на то, что церкви пустуют, и изыскивают средства на строительство новых церквей, жалуются на то, что страна перенаселена, и неустанно производят все новых и новых прихожан.

Мне кажется, что самое надежное средство спастись от этого хаоса с позиции самой церкви — вера. И нельзя не признать, что выход, найденный во Франции, дал благотворные результаты. В доказательство расскажу только о том, как проходит богослужение. Итальянцы слушают мессу стоя, собираются группами, обсуждают свои дела, почти не приглушая голоса. Дамы выставляют напоказ подобранные в тон платье, шляпу, перчатки, туфли. Некоторые выходят из церкви, чтобы продолжить разговор без помех.

Вдруг на паперти появляется какой-нибудь шустрый мальчонка с криком:

— Причащаться!

И, отталкивая один другого, все устремляются в церковь, усиленно крестятся и преклоняют колена.

В республиканской, мирской Франции уважение к богослужению в десять раз больше. Не потому ли, что там церковь отделена от государства?

Религия не может, не должна навязываться, даже под предлогом того, что общество нуждается в ней, потому что от этого вера превращается в обряд.

Конечно, всяк хозяин в своем доме, а следовательно, заступники добродетели всегда найдут возможность обезобразить экспонированные в их музеях произведения искусства, прикрывая пикантные места гипсовыми фиговыми листками, по-видимому, с целью привлечь внимание несовершеннолетних к тому, что под ними скрыто. Церковь всегда умела принаравливать к жизни. Иногда, правда, с отставанием в несколько веков. Но ей всегда это удавалось. Так зачем же теперь она забегает вперед? Зачем порождает сомнение даже у тех, кто предан ей? Известный философ, исправно причащающийся, говорил мне, вздыхая:

— Benedetti preti*. Во все суют свой нос, даже в искусство.

Отделение церкви от государства? Оно состоится. В симптомах недостатка нет. В Кассино дощечка на решетке разрушенного в войну и ныне восстановленного монастыря предупреждает прохожих о том, что женщинам в шортах вход воспрещен. Молодые супруги итальянцы открыто возмущаются:

— И это все, чем они смогли напомнить о минувшей бойне?

В Риме — кто бы подумал? — при появлении рясы нередко можно услышать, как вслед ей несется:

— У-у, таракан!

Ответная реплика не заставляет себя ждать. Ее подает голос кого-то, кто затерялся в толпе:

— Дави его!

Увлечение молодежи джазом тоже показательно, оно всегда свидетельствует о разрыве с традиционными ценностями прошлого.

* Святые попы (итал.).

Наконец, почти везде — в витринах, на стенах, даже в общественных местах, отелях и кафе — можно увидеть статуэтки и гравюры, изображающие монахов и священников в смешном виде. Не похоже, чтобы это кого-нибудь шокировало. Итальянцы привыкли к этому. Еще вчера подобное было бы просто невозможно.

Все чаяния в мире присущи этому народу — живому, веселому, умному, сердечному, деятельному... Вот именно — деятельному. Распространите на Юг Италии профсоюзные *minima* *, которыми бахвалятся почти повсюду, и увидите. А о Севере и говорить нечего.

Конечно, страна все еще распадается на две части. До последнего времени к южной половине относились так, как врач относится к аппендиксу: бесполезен, и в случае воспаления подлежит удалению. Однако теперь уже признали, что на этом географическом аппендиксе живут люди. Первый шаг сделан. Но это решающий шаг, потому что отныне всякий возврат к прошлому невозможен. Из оппозиционности или других, еще менее похвальных побуждений господа с Севера допустили оплошность, позволив мужику узнать вкус груши с сыром. Переиграть уже поздно. Наоборот. Волей-неволей, им придется идти дальше. Мне кажется, этот сдвиг будет иметь для новой Италии самые важные последствия.

Согласен, что все это незрело, плохо подготовлено, беспорядочно, эмпирично и отмечено стигматами коррупции. Согласен. Но, как говорят итальянцы, не в один день Рим выстроили. Диагноз оказался немножко неточным. Это был не аппендицит, а рана, загноившаяся от плохого ухода. И ланцет хирурга взрезал гнойник. Дальше уже просто. Надо залечить его до конца.

Вот что независимо от моей компетентности толкало меня на крепкий спор с моими итальянскими друзьями. Они пессимисты. Они оплакивают непроизводительные израсходованные миллиарды. Они вопят от ужаса, обнаруживая все новые гнойники на

* Минимальные ставки.— *Прим. перев.*

теле больного, с которого только что сняли повязки. Повсеместная нищета и несправедливость рождают в них возмущение и отчаяние... Это естественно. Когда являешься из-за границы проездом, легко умиляться по поводу достигнутого прогресса и быть щедрым на утешения. И тем не менее баланс недефицитен. Стране удалось наконец сдвинуться с мертвой точки. Машина заработала. Пусть финансисты рвут на себе волосы при мысли о брошенных на ветер миллиардах! Пусть экономисты, убежденные в предстоящих катастрофах, кричат SOS. Подрастающему поколению найти работу будет легче, чем его отцам, а избавившись от такого бедствия, как спекуляция жильем, оно будет жить в более приличных условиях.

Труднее опровергнуть главный аргумент пессимистов, считающих, что, несмотря на все тяжелые жертвы и неизбежные несправедливости, несмотря на предстоящие новые отчуждения земель,— аграрная реформа отнюдь не удовлетворила нужды всего крестьянства.

К несчастью, это верно. Но неужели для них так мало значит перспектива увидеть хотя бы часть людей *sistemata**? Не следует упускать из виду одну сторону вопроса. Главная идея — отчуждение земли для передачи тем, кто ее возделывает,— уже сама по себе революция, за которую развитым странам пришлось заплатить кровью. В Италии за нее расплатились деньгами. Деньги? Но на что тратят их в других странах, если не на вооружение, которое становится устарелым, едва сойдя с конвейера, если не на войну — холодную, теплую или горячую?

Мне не хотелось бы создать у читателей впечатление, будто через пятнадцать лет Италия достигнет полного благополучия, выйдя из круговорота американизации или окончательно закружившись в нем. Это было бы предательством по отношению к тем, кто борется за все лучшую и лучшую жизнь. Чтобы пояснить свою мысль, позволю себе привести выдержку из Ветхого завета — на мой взгляд, самого убедительного чело-

* Устроенными (итал.).

веческого документа, книги книг. Вот удивительный диалог между творцом и его творением. Бог решил уничтожить несправедный мир. Человек упорно спорит с ним. Господь говорит:

— Найди мне пятьдесят праведников, и я передумаю.

— Пятьдесят? Не слишком ли это много, господи?

— Ну, скажем, сорок.

— Это тоже многовато.

Торговля продолжается до тех пор, пока бог не восклицает:

— Хорошо, найди одного, одного-единственного!

Вот пример снисходительности и терпимости — образ надежды, помогающей нам жить. Те усилия, которые в настоящее время предпринимают итальянцы, оправдываются сполна. Даже если касаться только спора о южной опухоли. Сравнение может показаться смелым, но, на мой взгляд, Италия по меньшей мере излечилась от заторможенности. Она избавилась от комплекса неполноценности.

Более серьезно другое. На огромных пространствах страны ни обстоятельства, ни прогресс не позволили еще человеку обрести чувство собственного достоинства. Причина кроется в том, что духовное развитие человека отстает от технического прогресса, вместо того чтобы идти с ним нога в ногу и питать его. Промышленник с Севера больше озабочен тем, чтобы продать холодильник крестьянину с Юга, а не тем, чтобы электрифицировать деревню, в которой живет его покупатель. И вот холодильник используется как простой шкаф. И это по социальной причине.

Продавец в своем образовании и умственном развитии обогнал покупателя. По мере роста промышленности и торговли Север стал смотреть на Юг, как на колониальный рынок.

Еще более опасно слепое исполнение народом заповеди: плодитесь и размножайтесь. Этим несчастным и так порядком тесен их сапог. Один отец семейства сказал мне, не без некоторой тревоги:

— Слава богу, детская смертность у нас огромна!

Ни Лилла, ни я не вздрогнули. При всей чудовищности этой фразы он прав.

Будем реалистами и скажем, что, не разбив яйца, омлет не приготовишь. Но будем и гуманистами: яйцам давным-давно надоело их положение. А не то прогресс свелся бы к выведению простого баланса: кто держит ручку, а кто жарится на сковородке, то есть включен в счет расходов.

И, наконец, будем справедливыми: яиц стало меньше. Если я не ошибаюсь, мы современники последнего поколения рабов. Усилиями целой нации границу нищеты со всеми ее атрибутами — грязью, болезнями, невежеством, суевериями — удалось отодвинуть на сотни километров к Югу. Внешний вид детей — очень важный показатель. Мы были поражены, увидев, насколько сократилось число маленьких калек. Но они еще встречаются. Увы.

Я понятия не имею, каким образом итальянское государство будет решать проблемы нехватки полезных ископаемых, перенаселения, удаленности от торговых путей и проблему обездоленного Юга.

Мне показалось, что здесь с большим интересом следят за опытом, проводимым на противоположном берегу Средиземного моря, там, где в каменистой пустыне Израиль создает аграрно-индустриальную экономику.

Но с безграничной надеждой итальянцы смотрят на другую страну. На Францию. В Сардинии мы не успевали опомниться от про- и контрдеголлерских надписей мелом на шоссе. Ни один из наших случайных знакомых не преминул расспросить о том, что происходит по ту сторону Альп, у их латинской сестры.

Сказать, что они наблюдают за нами, как младший брат наблюдает за старшим, желая подражать ему, было бы несерьезно. Они знают лишь то, что географическое положение Франции более удобно, что Италия перестала играть роль в истории в тот час, когда мы начали ее играть; что сегодня мы представляем собой тот естественный выход Западной Европы к Атлантическому океану, который временно лишил престола Средиземное море. Наша страна — центр этого старого мира, преобразавшегося в катаклизмах. Италия расположена на его периферии.

Пьемонт, Ломбардия, Венеция еще довольно хорошо выполняют миссию, возложенную на них природой. Тоскана всегда удерживала и будет удерживать свое положение благодаря искусству. Рим, несмотря ни на что, — Вечный город. Неаполь, бесспорно, относится к тем местам, где выкачивают деньги у европейцев. А все, что южнее, — большой пригород. Пустыня, в которой робко расцвели оазисы, где плешивые горы с потрескавшейся кожей начинают покрываться пушком растительности пиомников. Сколько дела ждет здесь людей! Исключительный пример Матеры очень типичен: десятки тысяч человеческих существ живут там еще в пещерах, но на земле уже возникают кварталы, готовые их приютить.

С какой стороны ни подходи к итальянской действительности — Италия находится на подъеме. На этот счет у меня есть теория. Повторяю, я не специалист, и моя теория стóит не больше того, что она стóит.

С известным опозданием Италия в свою очередь рождает класс буржуазии, переживающий период развития. Забудем на минуту о суровой и совершенно справедливой характеристике, которую дает ей диалектика классово́й борьбы. Но при своем зарождении буржуазия прогрессивна. В прошлом веке именно она способствовала возвеличению Франции, так как предоставляла личности свободу в достижении богатства и почестей. Впервые после монархии и империи сформировался средний класс, который, с одной стороны, пополнялся за счет движимых честолюбием ремесленников и пролетариев, а с другой — был ступенькой на пути к достижению еще более высокого положения. Даже стоя на самых низких ступенях общественной лестницы, человек осознавал, что его рабскому положению пришел конец. Общество признавало его существование; оно признавало право на достойную жизнь.

Нарождающейся буржуазии присущи неуспокоенность, неудовлетворенность, еще не растраченные чутье и жажда предпринимательства. Но стоит той же буржуазии добиться цели и утвердиться в своих роскошных особняках, как она сразу же становится

реакционной и тормозит экономическое развитие. Сидя на своих капиталах, на завоеванных позициях, она, перебродив, теряет былую доблесть, становится паразитической и, закрыв доступ в свои ряды выходцам из низов — ремесленникам, рабочим, крестьянам — то есть тем, кто, пополняя ее ряды, способствовал ее обновлению, — задыхается.

Игрой обстоятельств итальянская буржуазия переживает сейчас активную производственную стадию, чем и объясняется широко раскрытый идеологический веер правящей партии. Об этой по преимуществу буржуазной партии нельзя сказать, что она бездеятельна. Справа в ней заседают непримиримые консерваторы; но у сидящих слева заметны и устремления социалистического толка. Именно освобождением страны от двойного гнета — монархического (аристократия по крови) и фашистского (аристократия по политической принадлежности) объясняется удивляющая смелость позиции той фракции этой партии, которая пока еще лишена власти. Сейчас на нее давят с двух сторон, стесняя ее движения. Но, быть может, она в свою очередь покончит с последним тормозом, препятствующим движению вперед, — с церковью.

В годы войны слово «il contadino» — крестьянин — было бранным. Это означало, что самого большого труженика, земледельца, не уважали, презирали и его труд, и жалкое вознаграждение, которым он довольствовался.

За четыре месяца, пока длилось наше путешествие, мы ни разу не слышали этого ругательства. Крестьянин получил право гражданства. И работу.

К черту ораторские предосторожности — меня это радует. Меня можно упрекнуть в пробелах, упущениях, упрощенности в постановке, а порой и в разрешении некоторых проблем. Но я был искренним.

Я как тот cantastorie* из неаполитанской песенки, который поет:

* Кантастории — уличные певцы. — *Прим. перев.*

Nun dico 'na bugia perche',
Innamorato sun'de te.

Хваля тебя, душой я не кривлю,
И это потому, что я тебя люблю.

Да, вот именно, мы возвращаемся домой влюбленными в Италию.

Мы много говорим об этом с Лиллой по дороге, которая проходит мимо безмятежно спокойных пейзажей Тосканы.

Путешествие по кругу завершилось, и лучшее мы благоразумно оставили себе на закуску. Нигде сочетание творчества природы и творчества человека не было таким удачным, благотворным, гармоничным, как в этих благословенных краях.

Как всегда, мы были восхищены Перуджей и Ассизи; с сердцем, преисполненным успокоения, созерцали Пьяцца ди Пальо в Сиене; два дня кряду неутомимо бегали по Флоренции от колокольни Джотто к Батистерию и оттуда к Палаццо и Понте-Веккьо. В Пизе мы испытали былое волнение, вновь открывая это впечатляющее прошлое, вклинившееся в настоящее.

А потом, прощаясь с Италией, мы приехали в Сан-Джиминьяно. Из бесчисленных башен, некогда спесиво возвышавшихся здесь, осталось всего несколько, но и их достаточно, чтобы город сохранил свой неповторимый облик.

С террасы ресторана можно было не рассматривать спокойные поля, а дать глазам отдохнуть на них. Именно здесь бог должен был бы заключить мир с Человеком, именно здесь он его когда-нибудь и заключит.

Когда враждовавшим семьям этих мест приходилось строить дома рядом, они, не желая возводить общую стену, ставили каждый свою на расстоянии десятка сантиметров, оставляя между домами «трещину злопамятства».

Где оно, злопамятство прошлых лет?

Мы видели не все из того, что стоило повидать. Нам не все понравилось из того, что могло понравиться. Мы не все возненавидели из того, что было

отвратительным. Но если бы каждого из нас спросили: знаешь ли ты страну, где зреют апельсины*? — и Лилла, и я могли бы по совести ответить утвердительно.

Потому что мы ее крепко полюбили.

* Перефразированная строка из романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера». — *Прим. перев.*

Еще одна Италия

Путевые очерки об Италии? Возможно, у читателя, когда он увидел эту книгу, возникло сомнение. Книг на эту тему — читано-перечитано. В последние годы в каком только «толстом» журнале не появлялись записки туристов, побывавших в солнечной средиземноморской стране? Но вот прочитана первая глава записок Ноэля Калефа, вторая, третья... Перевернута последняя страница. Впечатление? Вы побывали еще в одной Италии, в такой, с какой раньше были мало знакомы. Вы еще больше подружились с замечательным итальянским народом, еще больше полюбили его страну.

Правда, на этот раз вы смотрели на нее глазами француза, да к тому же еще человека, со взглядами которого далеко не всегда и далеко не во всем были согласны. Но во время длительного путешествия по Италии вы с ним часто спорили, и от этого путешествие становилось только увлекательнее.

Автору книги было нелегко. Труднее, чем, например, Ганзелке и Зикмунду, которые путешествовали одновременно с ним по далеким, полуневедомым странам. Им, когда они писали свои книги, не приходилось вспоминать древнеримское проклятие: «*Peréant qui ante nos nostra dixerunt!*» («Да погибнет тот, кто сказал раньше нас то, что говорим мы!»)

И все же Ноэль Калеф рискнул снова открыть «латинскую сестру» Франции, страну, из которой в парижских газетах ежедневно печатается столько корреспонденций и репортажей, что вместе они могут составить увесистый том.

Итак, в путь. Главных персонажей трое: Калеф, его жена Лилла и их автомобиль, с которым они

настолько сжились, что зовут его человеческим именем Пафнутий... Автор поставил перед Пафнутием задачу не останавливаться перед общеизвестным; сам же он твердо решил не описывать это общеизвестное и даже не замечать его.

Ноэль Калеф не в первый раз путешествовал по Италии. Поэтому ему нетрудно было стряхнуть с себя груз «общетуристских» впечатлений и прописных сведений. Мудрый Пафнутий небрежно прошмыгнул по асфальту мимо всего, набившего оскомину, и читатель только поблагодарит его за это. Автор же деликатно промолчал даже о Дворце дождей в Венеции, о художественных галереях Флоренции, о римском соборе святого Петра, о Колизее, о Капри...

А ведь, казалось бы, Калеф соблюдал маршрутную схему множества туристов из Франции и других стран. Турин, Милан, Венеция, Болонья, Рим, Сардиния, Сицилия, Калабрия, Неаполь. Словом, Пафнутий проехал по всей Италии, материковой и островной. Больше всего интересовали Калефа итальянцы. Иногда названные, иногда — обозначенные условно: «крестьянин из Сассо», «трактирщик из Болоньи», «высокопоставленный чиновник из Рима»; в книге нет того излишнего стремления к документальности, которое обрекает на преждевременное старение множество путевых заметок.

Но Ноэль Калеф вращался преимущественно в определенной среде, в определенной части итальянского общества, которая в политической литературе именуется «средними слоями». Именно эта часть итальянского народа находится в состоянии непрерывного брожения, подвержена самым различным политическим влияниям — от коммунистических до неонацистских. Главная же сила, воздействующая на психологию итальянского буржуа, — католическая церковь. И если в этой книге Ноэль Калеф весьма старательно избегает акцентировать свои партийно-политические симпатии, то он, бесспорно, выступает принципиальным антиклерикалом.

Калеф понял, что всевластие Ватикана в умах и сердцах миллионов и миллионов «средних итальянцев», и особенно итальянок, — это очень важный

фактор, сдерживающий политический и социальный прогресс в стране. В послевоенной Италии велики успехи Коммунистической партии. Многими муниципалитетами руководят левые силы, большие коммунистическая и социалистическая фракции заседают в парламенте. И кто знает, как далеко бы пошли социальные преобразования в Италии, если бы церковь не вмешивалась ежедневно в политическую жизнь страны, становясь на стражу буржуазных порядков!

Трактирщик из Милана, встретившийся Ноэлю Калефу, рассказывает о том, как обычно проходят выборы в Италии: «Бог-отец стоит перед урной, Иисус протягивает вам бюллетень, а Святой дух ведет пропаганду». Эпизодические персонажи Калефа не раз с шутливой горечью признаются, что если бы не их жены, они голосовали бы против христианских демократов...

Читателя не может не потрясти описание своеобразной политической полиции, созданной в Италии церковью. Местные священники ведут в приходах «картотеки душ». В них отмечаются и политическая приверженность каждого члена общины, и его личные достоинства и недостатки, и особенности взаимоотношений в семье. Переезжает итальянец в другое место — секретная карточка следует за ним и попадает в руки нового духовного пастыря.

А переезжают итальянцы часто. Каждая встреча Калефа в Южной Италии — это рассказ о мечте найти лучшую жизнь или в промышленных городах Севера или за границей. Читатель ясно видит демаркационную линию: от Альп до южных границ Марке — зажиточная страна с довольно высоким средним уровнем жизни. Южнее — другой мир, другой народ, страдающий от безработицы, многочисленных пережитков феодализма, неграмотности, бездетности, низкой культуры земледелия.

В 1913 году — пятьдесят лет тому назад — в Москве вышла книга русского литератора Михаила Оссоргина «Очерки современной Италии». Попробуйте сравнить содержащиеся в ней оценки с выводами Ноэля Калефа, и вы обнаружите, что Югу страны эти полвека принесли очень мало. Вот что писал Оссоргин:

«Есть целые провинции, где ежегодно уменьшается не только относительная, но и абсолютная цифра населения. Но не только страсть к путешествию этому причиной. Население бежит к заработку от безработицы, от дурных порядков, от того жизненного неустройства, которое присуще югу Италии чуть ли не более, чем в былые времена».

То же самое увидели пассажиры Пафнутия на Сицилии и Сардинии конца 50-х годов. Когда Калеф описывает рыбацкий поселок на Сардинии и расположенные рядом нураги — таинственные памятники древней культуры на острове, у читателя невольно рождается вопрос: а не выше ли был жизненный уровень населения острова в ту далекую, не точно еще определенную эпоху?

Автор — бытописатель. Он сторонится не только знаменитых музеев, но и заводов. Рецензент, если бы он придерживался строгих стандартов, еще недавно широко распространенных, должен был отметить, что серьезнейшим упущением Ноэля Калефа является умолчание о росте профсоюзного движения в Италии, о волне забастовок, которая потрясла страну в то время, когда он по ней путешествовал, о массовом протесте итальянских трудящихся против участия Италии в агрессивных военных блоках Запада.

Действительно, если просмотреть газеты, выходявшие в те дни, то можно легко обнаружить, что в это время все было — и протесты, и демонстрации, и забастовки. Но стоит ли критиковать писателя за то, о чем он не писал? Ведь он иными средствами обличает социальную несправедливость буржуазной Италии, показывает несамостоятельность внешней политики ее правящих кругов. Разве не ценнее пространного комментария об итало-американских отношениях замечание, мельком брошенное одним из собеседников Калефа:

— Если Айк (бывший тогда президентом США Дуайт Эйзенхауэр.— В. А.) не даст согласия, мы не будем иметь права поливать наши макароны мясным соусом.

Разве не убедительнее иного экономико-статистического исследования такой лаконичный штрих!

крестьяне деревушки Сассо не в состоянии собрать денег на покупку колокола, и местный священник перед обедней заводит патефонную пластинку с записью колокольного звона...

Об огромных «ножницах» между городской и деревенской культурой рассказывает занятный эпизод — визит к «ясновидящей» Паскуалине. В Италии высокие научные достижения по сей день сосуществуют со средневековым мракобесием. Так, «отец Пий», обладатель чудотворных стигматов, или, по просту говоря, язв на руках, долгое время был притчей во языцех; для него был даже построен особый многоэтажный госпиталь, в который стекались тысячи страждущих не только из итальянских городов и деревень, но и из Франции, и Соединенных Штатов. Популярность отца Пия не слишком пострадала и после того, как при проверке выяснилось, что кровь из его ран — куриная, а стабильность своих язв он поддерживал щелочными растворами.

К сожалению, не устарел и раздел книги Калефа, касающийся знаменитой сицилийской мафии. Возьмите старинный энциклопедический словарь Павленкова, и вы прочтете там, что мафия — это «сицилийское тайное общество, ставящее своей задачей охрану низших слоев населения от несправедливости и притеснений, не стесняющееся в выборе средств и при случае пускающее в ход убийства и грабежи». В нашем веке осталась правильной только та часть этого определения, которая касается методов мафии.

Мафия сегодня, какой ее увидел Ноэль Калеф, превратилась в острейшее оружие реакции на Сицилии, в террористическую организацию, отстаивающую интересы крупных землевладельцев и борющуюся с крестьянскими кооперативными организациями, с профсоюзами, с прогрессивными партиями. Можно вспомнить хотя бы расстрел мафией первоймайской демонстрации трудящихся в Портелла делла Джинестра, убийство активиста-батрака Сальваторе Карнавале и сотни других преступлений, оставшихся по сути дела безнаказанными.

В 1962 году на всю Италию прошумел процесс связанных с мафией монахов из местечка Мадзарино. Хотя на суде было раскрыто много случаев вымога-

тельства, шантажа и покушений на убийство, монахи были оправданы, а «мафиозо», с которыми они действовали сообща, так и не были найдены...

Но Ноэль Калеф явно преувеличивает, говоря, будто народ Сицилии настолько смирился с мафией, что принимает ее как неизбежное бедствие — вроде града, налогов, болезней, бури. В действительности политическая сознательность сицилийских трудящихся намного выше, чем это показалось французскому путешественнику. В городах — да и не только в городах — действуют сплоченные боевые местные организации демократических профсоюзов; угрозы мафии не мешают росту числа голосов, которые на выборах в областное собрание и муниципалитеты подаются за кандидатов рабочих партий.

Впрочем, не только в этом случае читателю книги Ноэля Калефа придется столкнуться с неточными или неверными политическими оценками. Вряд ли, например, можно согласиться с утверждением Калефа, что «за редким исключением рабочий с фабрики Ферреро в Альбе не связан ни с кем из своих товарищей по классу из Сицилии, Калабрии, Рима. В лучшем случае он сознает свою принадлежность к туринской провинции, но даже Кунео — а это ведь недалеко — для него уже заграница!» На наш взгляд, уже сам факт существования в Италии монолитной Коммунистической партии, одной из сильнейших в капиталистических странах, достаточно убедительно опровергает такое суждение Калефа.

Автор на основании впечатлений, полученных в средних слоях, где живуча тяга к режиму личной власти, переоценивает количество итальянцев, тоскующих по фашизму. Нет-нет да промелькнет у Калефа отголосок давно разоблаченной «теории», согласно которой фашистский режим временно улучшил положение итальянской средней буржуазии. Ведь известно, что при дуче процветали только крупные, наживающиеся на военных авантюрах монополии. Переоценивает Калеф и «революционную» роль далеко не последовательных аграрных мероприятий Христианско-демократической партии и тем более прогрессивность современной итальянской буржуазии; итальянский капитализм давно уже достиг мо-

нополистической стадии со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Иногда создается впечатление, что автор склонен верить широко распространенным в Италии, как и в других странах Запада, мифам о «капиталистах-благодетелях», «патерналистах», якобы заботящихся о нуждах своих рабочих. Те уступки трудящимся, которые делали «народные капиталисты» типа Марцотто или Оливетти, были либо вынужденными, либо направленными на создание «лучших условий» для эксплуатации рабочего класса и получения наивысшей прибыли.

Ноэль Калеф, справедливо изобличая многие недуги современной Италии, не прочь «на всякий случай» лишний раз отмежеваться от «коммунистических взглядов». Во время путешествия по Италии автор книги почти не общался с коммунистами. Из поля его зрения выпала и эта очень важная для понимания современной Италии сторона ее социальной жизни. И все же, несмотря на это, он не мог не почувствовать, сколь благотворно влияние компартии — передового отряда итальянских трудящихся — на их борьбу за хлеб, за труд и за мир. Ноэль Калеф пишет: «Тщетно отрицать исторические заслуги коммунистических партий в Европе. Каким же несчастьем было бы отсутствие такой партии в Италии! Она служила и по сей день служит мощным тормозом для алчности имущих».

Нельзя не согласиться с этим выводом. Нельзя не согласиться и со словами Ноэля Калефа о том, что его книга «посвящена всем тем, кто любит человека». Сам он во всех главах продемонстрировал свою любовь к человеку, к простым людям, ко всем пятидесяти миллионам итальянцев. За вычетом тех, кто и сами не любят свой народ.

В. Ардатовский

Оглавление

Пьемонт	11
Ломбардия	32
Семь коммун	53
Венецианский карнавал	65
Эмилия и другие земли	74
Марке	86
Адриатическая интермедия	94
Горы	105
Вечный город	113
Пульс Италии	127
Государство в государстве	146
Сардиния	153
Сицилия	190
По дороге в Неаполь	225
Il conto — заключение	266
<i>В. Ардатовский. Еще одна Италия</i>	<i>279</i>

Нозль Калеф

Я ВИДЕЛ, КАК ЖИВЕТ ИТАЛИЯ



Редакторы *М. А. Каролик* и *В. П. Нефедьев*

Младший редактор *Н. С. Шаповалова*

Художественный редактор *В. Д. Карандашов*

Технический редактор *Н. П. Арданова*

Корректор *П. И. Чивикина*



Сдано в производство 13/II 1963 г. Подписано в печать 4/IV 1963 г. Формат 84×108^{1/32}. Печ. л. 9. Усл. л. 14,76. Изд. л. 15,24. Тираж 70 000 экз. Цена 76 коп., переплет 15 коп.

Москва, В-71, Ленинский проспект, 15, Географгиз
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Московского городского совнархоза.
Москва, Ж-54, Валуевая, 28. Заказ № 170

„ВОПРОСЫ ГЕОГРАФИИ“

сборники Московского филиала
Географического общества СССР

Рассчитаны на географов самых разных профилей, землеустроителей, агрономов, экономистов, строителей и других работников народного хозяйства, краеведов.

Поступили в продажу в 1963 году

ГЕОХИМИЯ СТЕПЕЙ И ПУСТЫНЬ
(Поиски полезных ископаемых),
сб. 59. Географгиз, ц. 77 коп.

Геохимия ландшафтов — новое научное направление в ландшафтоведении, изучающее перемещение химических элементов как проявление взаимосвязей между отдельными частями ландшафта, между организмами, атмосферой, водами, горными породами.

Издание посвящено геохимическим методам поисков полезных ископаемых в степных и пустынных районах СССР. В статьях рассматриваются как теоретические вопросы, например: принципы классификации ландшафтов, так и практические — методика геохимических поисков, оценка условий, в которых они проводились в засушливой зоне СССР.

ЛЕС И ВОДЫ,

сб. 60. Географгиз, ц. 78. коп.

Сборник посвящен лесной гидрологии — своеобразной географической отрасли знания, стоящей на стыке гидрологии и биогеографии.

В сборнике публикуются результаты исследований влияния леса на сток в различных географических условиях, что позволяет точнее оценивать этот фактор при гидрологических и водохозяйственных расчетах и проектах.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ТРАНСПОРТ,

сб. 61. Географгиз, ц. 77 коп.

В статьях сборника, написанных научными и практическими работниками, рассматриваются перспективы развития межрайонных транспортно-экономических связей СССР в ближайшие 15—20 лет. Характеризуются транспортно-географические проблемы крупных экономических районов страны.

Налеф Новэль

Я видел, как живет Италия.

М., Географгиз,
1963.

286 стр. с илл. (Путешествия. Приключения. Фантастика).